Виктор Іванів



Чумной Покемарь



Αίλουρος

Виктор Іванів

Чумной Покемарь

Собрание прозы

Ailuros Publishing
New York
2012

Victor Ivaniv
Awake Dreamer

Ailuros Publishing
New York
USA

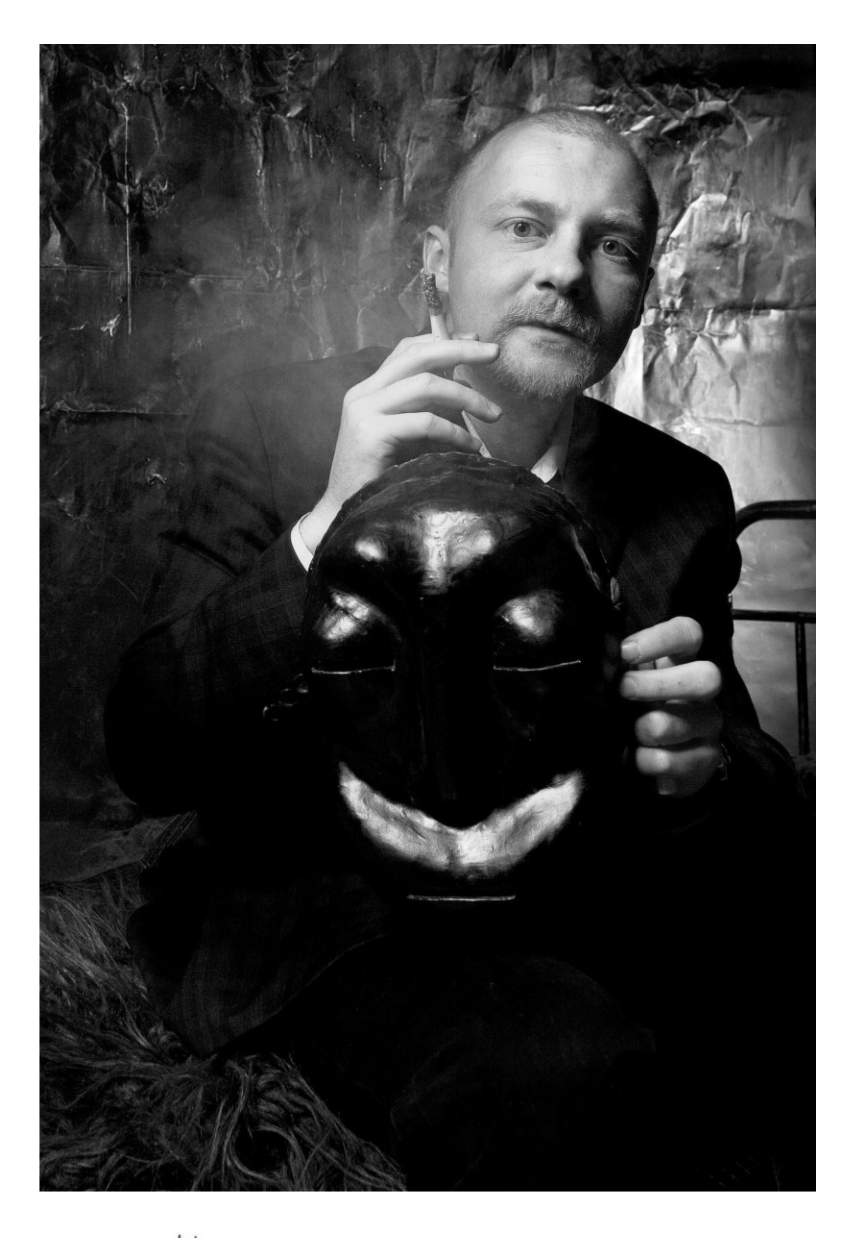
Подписано в печать 9 апреля 2012 г.

Фотопортрет Виктора Іваніва: Иван (Ос) Ивашин
Редактирование, верстка, дизайн обложки: Елена Сунцова

Прочитать и купить книги издательства Елены Сунцовой «Айлурос» можно на его официальном сайте: **www.elenasuntsova.com**

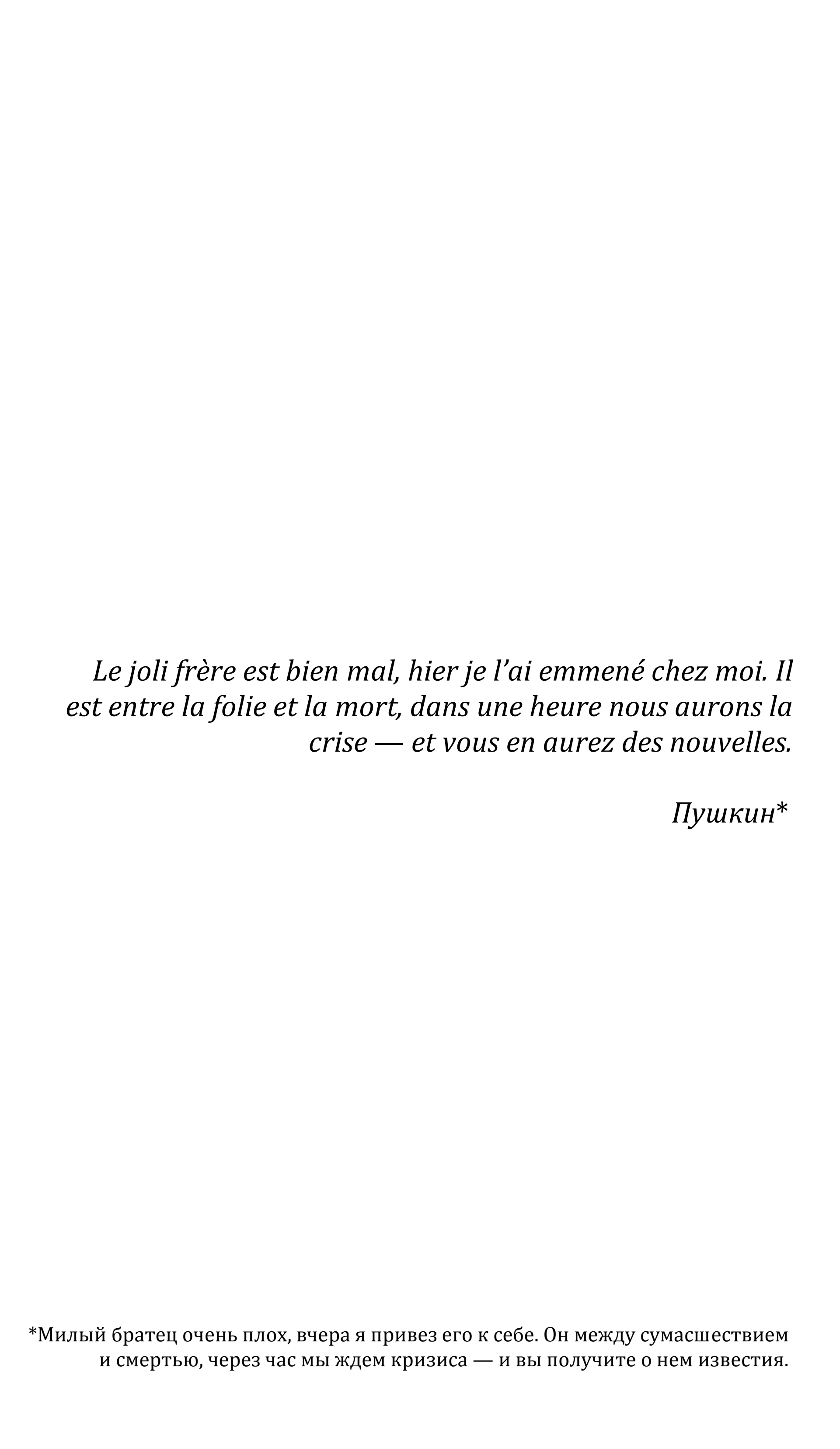
© 2012 Victor Ivaniv. All rights reserved.

ISBN 978-0-9838762-6-7



Но мы уехали за полярный круг
и не видели того затмения, лишь блик
золотистого с виду каучукового мячика.

Вавилов



Le joli frère est bien mal, hier je l'ai emmené chez moi. Il est entre la folie et la mort, dans une heure nous aurons la crise — et vous en aurez des nouvelles.

*Пушкин**

*Милый братец очень плох, вчера я привез его к себе. Он между сумасшествием и смертью, через час мы ждем кризиса — и вы получите о нем известия.

Володя Москвин

Тетралогия

Книга первая

Город Виноград

в трех частях

FBI WARNING:
Вы имеете право хранить молчание… Все, что Вы скажете, может быть использовано против Вас в суде.

Дядю Мулле я знал только по фотокарточке,
но дядя Леопольд погиб еще не скоро.

Ян Сатуновский

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Детская, запуганная, ограниченная душа вдруг возмужала, просветлела и увидала новые, обширные, светлые горизонты. Много еще передумал и перечувствовал он в то короткое время, пока продолжалось это чувство, но заснул скоро покойно и беспечно под звуки продолжавшегося гула бомбардирования и дрожания стекол.

Л. Н. Толстой

Первый раз я приехал в город Виноград в 1984 году. Тогда, если мне не изменяет память, произошло солнечное затмение. Комната сделалась вдруг темной, как стакан чаю. Тьма Египетская. Я вышел по лестнице, разумеется, черной. Сел во дворе на маленькую скамеечку, закурил, стал смотреть в землю, потемневшую быстро, как юшка. У людей выцвели глаза. С этим надо было как-то мириться. А кошки ходят неслышно, можно не заметить, как они уже приближаются. Голуби — те нет, знают, а может, догадываются. Никогда не подходят. А то как им показать, чтоб оставили меня побыть одного. Придется мириться еще и с кошками. Даже когда у них экзема или гепатит. Желтушные лица, так говорят ведь. Предрасположен к кишечным заболеваниям еще. Это от слова *кишеть*. А еще здесь полно солдат. Те вообще могут подойти, стрельнуть сигарет. Им выдают «Приму» вместе с пайком. Поди докажи. У них есть такая команда «смирно». Она такая сильная, как хук в челюсть, но нужно, наверное, чтобы дыхание утихло в горле, как сквознячок, вдруг пригретый сквозь облако, сердце чтоб не кровило, а руки по швам. Как будто на них очень точная выкройка есть. Перед таким строем и кошка может пробежать, и попробуй ее сморгни. Жаль, что мне не удалось так проскочить, чтоб без кошек. А то птицы, кошки, солдаты без конца. Как будто все хотят мне принести какую-то анонимку. Скабрезного содержания. А вообще небосвод в точках. Или это карабкаются по стене. Там их маленькие квартирки. Живут как скарабеи себе. Сбоку набок. А я-то вытянусь, так что у меня в теле водяные знаки. И мысли, словно акриловые. И со Духом твоим. Деньги их, я такие и сам в два счета вам нарисую. И дикий мед. Это как два пальца

обоссать. Что и случилось. Что же дальше-то будет. Смех меня разобрал. Отчего это у Вас фамилия такая — Гниломедов. Простите. Отчего это, говорю, у вас брюки со штрипками. Их хи-хи. А им хоть бы хны. Я, говорит, парень хоть куда. А тебе, гаденыш, здесь не место. Тебе надо в Гиндукуш. Я с кондуктором поговорю. Помнишь Сашу Ненашего? Он тебя если встретит, покормишься кровью, пьявец. Помочишься кровью, пидар. Попомнишь меня...

Так я приехал в город Виноград.

Моя фамилия. А зачем вам моя фамилия. Вот то ли дело фамилия — Полуектов! Полуектов, Гниломедов, Ненашев, Насонов — ученики моего класса Б и параллельного А-класса. Они вымирали из классов, как динозавры. Как чертовы диплодоки. С небольшим опозданием. Как если бы наяву происходила жизнь моллюска, прямо перед глазами, включая процесс пищеварения и разложения, примерно так в классе ощущалось округление малых величин, с их уходом. Была еще Света Блынская. Была. Описать их внешность. Братья Классены, Силитирский, Босак по прозвищу Бич. Классный журнал начинался с фамилии Былым. Слова спекаются в горле. Во рту все время была пыль.

Я все время здесь живу. Теперь, когда они опять начали приходить, у времени помутилось. Как будто вдруг сделалась кровь. Когда ночью идешь по пустырю и двору, на кусты садятся сумерки, и часто кажется до пульса, а иногда и до сердцебиения, что за кустом кто-то есть, и что, скорее всего, сейчас выйдет. А когда подходишь ближе, понимаешь, что чужой Ангел-хранитель уже отошел. Но ведь знаешь про себя, что никого нет. А бывает, пахнет, пахнёт... Сейчас, как взбаламученный ил, они скользят под ногой. Снова спускаться в подъезде сквозь строй. Когда-нибудь они, полузасвеченные, проступят на лице моей возлюбленной.

Они тебе только-только. Форма школьная. Мальчуковая. Цена десять руб. Новая она словно с искрой, а потом заглаживается. Я киваю ей в знак согласия. Хочу укрыться ею, поднять до глаз воротник. Я чувствую себя на примерке. На ее цвета можно положиться. Как если б я поморщился, но продолжаю смотреть. Можно опустить глаза. Когда все так счастливо осуществлялось, я вникал в курс дела свободно, как в лес, я входил в дело, как поезд в депо. Просто смотрел вниз, на ботинки. В лес, бывает,

заходит туча, тогда кажется, что в глазу раньше была соринка. А теперь я с таким умным видом, будто рассматриваю серое вещество. Что день и не думал начинаться, а я все гулял, делая большие кругаля, делая большие глаза. Что я всегда поворачивал за угол, здесь, и попадал в молоко, в милицию, в монахи, в могилу, на мыловарню, в морг, в моржатник, к маклакам, к малярам, к младограмматикам. Много было возможностей. Возможность была. А они думали про себя: а мы на тебя посмотрим. Молодой и, так сказать, малодушный. Все проморгал. Родители в разговоре с подругой своей очень задумчивы станут, одну только чтобы фразу сказать, и она зазвучит, постепенно стихая, как звон ключей: не могу поверить, что он, Митя, Петя, упущен... Так бы подошел, незаметно чтобы, и кашлянул бы негромко, чтобы вдруг показалось: я здесь... Про второгодника говорят: он отстал, про пьяницу: он опустился. Про физрука говорят: он садист. Про женщину в черном: у нее муж умер. Про женщину в магазине, если она стоит в одиночку, как будто всем постыла: у нее сына посадили. Можно будет обо всем догадаться. Число велико, конечно. Но проблему универсалий, я думаю, можно решить. С небольшой погрешностью. Кто из них не без греха. Уменьшительные имена: не выпил я ну ни граммулечки, кровинушка моя, Додик, прожил светлую жизнь. И неминуемо утром, как рассвет на скатерти. Мой дядя — антисемит, как правильно, или антесимит, антелюцем — каждый сентиментально антисемит.

Помню одноклассника, это как камни в почках. По прозвищу Белый. Он походил на обезьянку, вернее, маленький обезьянин походил бы на него, если бы был такой на свете. Он показывал такой фокус: зажимал себе шею руками, и при этом не дышал, и начинал на глазах краснеть. Казалось, что сейчас краснота прорвется. Представляю многих певцов с его лицом. А если глубоко дышать, можно, наверное, и побледнеть.

Когда я думаю о футболе, то вспоминаю Володю Пинигина. Высокого, как закладка для книг, нос с тонкой перегородкой, глаза в больших впадинах, будто подведенные. Его длинные белые ноги казались отражением в воде. Он носил ультракороткие шорты кухóнной расцветки, как у спортсменов 70-х годов. Он, казалось, все время вас поджидал у служебного входа в диспáнсер. Когда он начинал говорить, то речь его замедлялась, и было наблюдаемо странное размежевание собственно мышцы и рта: последний был уже открыт, а язык еще лишь начинал шевелиться. Зато потом возникал шепоток, подобный

жужжанью пчелы, когда она, кажется, уже совсем улетела, но нет, возвращается, посетив самый дальний цветок. Временами он останавливался, как будто наскакивал словами на неизвестный предмет: недавно построенный дом, речку или башенные часы, а может быть, все время на один и тот же предмет. Может быть, у него и были собственные вытоптанные тропинки, но они были шумом деревьев, в новом ракурсе терялись в траве. Когда он вдруг замолкал, откуда-то появлялась его фигурка, и на ней почему-то сосредотачивалось все ваше внимание, словно больше и не было ничего, между вами замирала пушинка, и хотелось плакать и броситься на нее с кулаками.

Много ли ты забил сегодня голов? — так почему-то не принято спрашивать касательно рогатого скота у возвратившегося домой с работы мясника. Когда чуть-чуть приморозило в безветренную погоду, подымите глаза, словно потеряв место на странице, и вам неожиданно придут на ум слова любви, произнесенные словно над ухом, возле куста жимолости, в отчаянной тишине, словно тень прошумевшей машины, за которой хвостиком пыль.

Володя ничего не показывал мне. Из-за перегородки стеганые разговоры, треск вермишели на сковороде. Различилось следующее.

Во осветленном лесу сладкое слышалось пение
голос Лемешева сам доносился откуда-то
ветра порыв слова доносил перевернуто кенарь
сам себе вторил как бы из-под плиты
стук равномерный от ударов мяча раздавался
рядом с пением сливаясь как будто
как будто бы в горле одном
это вперед безоглядно бежали пернатые дети
или к рамке назад свои отводили полки
каждый из них а не только володя пинигин
словно не знал что стоит он на илистом дне
быстро змея пробежала в рядах замерших мальчиков
так ведь могло показаться
если б в замочную скважину кто-то за ними глядел
стук же мяча прекратился на миг словно кукушки
краткого плача на дни томительный счет
те лишь поймут меня однажды кому приходилось
видеть и слышать в полете сдавленный камеры вой
взоры свои обратили к земле тесно сгрудившись дети

вниз где пораженный страшной икотой володя
встав на четвереньки полз словно умерший из земли
утра другого я шел сквозь аляповатые блики
когда Володи и Владика два имени вспомнились мне
в шествии участвовал я когда и провожал взглядом
пионеров что пионы несли в траурной рамке вождю

Женька Классен и брат его Серега Классен. Маленький старичок с желтоватым лицом и дылда брат его, годом раньше меня, похожий на немецкого солдата на военной дороге. Щербатый, рябой, рот в центре головы. Пожирающий всегда вторую порцию. Есть приносили нам в никелированной посуде. Паутинка лампы накаливания трепетала в зрачке. Поэтому любой предмет показывался в кругу, обведенный желтой полосой, с черной тенью темноты в глазах. На окнах цвели ноготки. Другие цветы, словно вывернутые наизнанку, — петунии и бегонии — в перемычках между окон. Ж. Классен на синем крашеном стуле мусолит сигаретку во рту. Брат его С. Классен рядом, у него впалая одышливая грудь, рот источает газы. Бородавки и сыпь выступили на лице. Каждые двадцать шесть секунд, пока кровь обегает все, даже самые дальние донные сосуды, на его лице появляются признаки новой болезни: скарлатина — под видом карлицы с бутылкой, дном поднятой к потолку, с разрезами язв вместо глаз; корь с молочницей, а может, и с птичницей, которая птицам принесла ко́рма, на подушках, на траурных подушках пальцев прозрачных виноградных, покачиваясь, туфли неподвижно расположив на земле чуть врозь, остановится, как будто это уже корма́, а дальше мо́ря мертвей обернется и чернеется в венах портвейн; это — корма, а за носом следом приходит Голландка, от тела которой идет холодок, а пар ее дыхания каждую ночь падает как белый налет на улицы амстердама.

Слава Гербер и брат его Серега Гербер. Двойняшки. Слава — пастушок, спящий до утра на лугу, а брат его — овчарка, что забывает его там каждую шестую луну. Женщина встает с кровати, берет Славину голову, чтобы ее нянчить. Слава вырывается и уползает между ножками венских стульев, ножки которых становились всё толще... Слава оказался в крапиве. Было тихо. Крапива была высокой и сверху прикрыта небом, только небом, в котором не было ни одной точки для того, чтобы упереть в нее глаз, в котором было столько воздуха, что казалось, что вот-вот станет нечем дышать. Близко подходят друг

другу лица этих близнецов, но один из них остается неподвижным, а другой убирает прядь волос со лба. Я как будто перед двумя иконами, одна из которых косится на другую. Ровный взгляд Святого с иконы падает на любого человека перед ней, на любой предмет в самом дальнем и темном коридоре, под лестницу каждого подъезда, его тень ложится на дно могил. Зачем же Славе Серега? Затем что оба они угодны Богу. Слава и Серега, Серега и Слава. Ну а нам-то что, скажете, какое дело, Слава, Серега; Серега, Слава. Ваше подобие кому надо? А его Преподобие, который крестил, сколько крестников позвал? А сколько наперсников? Первое слово, что сказал Слава, было: мама. А Серега добавил: аминь.

Трегуб боролся с двенадцатою лихорадкой. Хоть ему и недоставало двух пальцев, все равно он был хитрым как Как. Потом он даже выколол ее себе на левом плече. Трегуб страдал ночным удушьем, пока Ангел не прикоснулся к нему. Пока ему не прокололи легкое. Когда его развернули, оно оказалось размером с волейбольную площадку, как пишут в учебниках.

Пришел Виноградов с острой лыжной палкой, отобранной у меня. На палке наткнуты пробитые жизни. Виноградов — капитан, правоверный черносотенец, величайший убиватель, величайший искалечиватель, сын землетрясения и молнии, родственник смерти и закадычный друг Великого Адского Діавола. На нем желтая рубаха, ворот расстегнут, кое-где видать коричневатые подтеки, черное пальто до колен, также расстегнутое, драповое. Белобрысый, ростом ниже среднего, но выше меня. Глаза карие, зрачки мелкие. Сейчас предложил мне к обеду три мясных блюда: первое — из мяса евреев, второе — из мяса турок и третье — из мяса лютеран. Ешь и смейся, пей и веселись. Он убил Клару Зеркаль, может быть, я на кладбище видел могилу. За ним всего три убийства — вот уж это-то я знаю точно, или еще три... Спал ли он в большом овраге, залитый уливой. Я был внизу только один раз. Все начинает мокнуть на солнце, жар разглаживает листья деревьев, что можно видеть с виадука, на одной стороне оврага. На другой его стороне за дамбой, по которой проходит дорога, над гнилою сточной рекой, слепые кустарники, их очень много, преющие лопухи. Кажется, что все время идет слепой дождь, под черными от дождя крышами дощатого дома зажились муравьи в его дешевых комнатах. Видимо, здесь добывали гранит, дорога пришлепнута рыжей глиной, видна до тополя и черной трубы. Не ходи дальше. Лучше стой на дороге, а тело свое спрячь, оно, набравшее воз-

духу, как прокушенный мяч, и как тонкая ветка, воткнутая в землю возле чужой ноги. Не ходи туда, смотри, в траве то сякнут, то синеют, зализанные зеленым приближаются или переступают жиром светящиеся изнутри с желваками и бородавками петухи. Не ходи туда, потому что убийцы сидят над убитыми, не дыша, а то померкнет стекло, пройди мимо «торгафии», не делай добра им и нырни, чтоб захлопнулся слух, встань правее, смотри, как ограбили их и теперь тащат баграми под помиральным солнцем до последних домов, сходящихся и тошнотствующих, с каждым шагом выгибая углы под брюхом хромого ледокола, давящего сотни крокодилов, ступающего с пением в хромовых венцах мертвых педрил.

И вот вы зашли в «фотографию», где вас усадили на валком стуле, подчиняясь воле фотографа, отвели подбородок чуть вправо, потом будет просветляться лицо, это тоже как-то повлияло, это будет лишь потом с него, чайной ложкой углеводорода, снятой на документальное фото, и разложенные, как в лото, шесть карточек, из которых одну или две потом можно будет осторожно отрезать и дотошно исследовать после, допотопное и бесплотное лицо, достоверность которого подлинна, но коротка и дается на пять лет, и по ней вас узнают в толпе, но со стороны однополой: да, это он в его рубахе, она будет неплохо смотреться, но пока лишь бежит таракан.

Когда я встретился с одним человеком, и мы стали обсуждать мой первый приезд и нашу прежнюю жизнь, я боюсь повториться, вольготную ее половину, то он сказал мне, глядя на всю испачканную кровью луну и расстегнув тугую пуговицу на воротнике: это было так давно, словно не было никогда.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Мой троюродный дед с материнской стороны работал в Чеке. Когда он отвозил поляков в Польску, на перроне они подарили ему двухрядную губную гармонику немецкой марки. Сейчас она лежит у меня на столе, внутренние перегородки в ней подкосились, а отверстия забились пылью, которую я не решаюсь выколачивать. Иногда я играю на ней, и она издает два или три звука, берет одну или две ноты. Получается нечто похожее на «На прекрасном голубом Дунае» или «Тайны Венского леса».

Однажды утром в комнату, где жили Ява и его сосед, вошли два человека. Избив соседа, который был пьян с похмелья, они стали продавать его книги, две из которых и купил Ява. И сейчас они лежат у меня на полке. Это Томмазо Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов «Индоевропейский язык и индоевропейцы», с предисловием покойного Романа Якобсона.

Мой родной дед с материнской стороны был офицером, а точнее майором, воевавшим на Волховском фронте. Они с бабушкой недолгое время жили в городе Советская Гавань, после чего перебрались к нам поближе. Он умер в 1963 году, в возрасте 47-ми лет, утром того дня моя тетя, тогда десятиклассница, отправилась с классом в театр, который был далеко от деревни, где мы тогда жили.

Существуют люди, которые называют себя Денисами Александровичами или Владимирами Григорьевичами, но это, что называется, их второе имя. Видимо, именно в этом смысле Танечка Волосова, похожая на поседевшую овцу или на Премудрого Пескаря, говорит: «я — билингва».

Могила моего прадеда по маме была потеряна. В 1970 году ее уже не нашли, по-видимому, ее срыли. И сейчас еще можно встретить черные таблички, на которых желтыми буквами написано: «Могила подлежит сносу до 9 мая с. г.».

Человеческая душа способна представлять отсутствующие предметы. При помешательстве к ним прибавляются химерические черты.

Три моих деда: Степан Никифорович, Александр Васильевич Клюшин и деда Витя умерли в один день: 6 января. По-моему, это называется «Ночь перед Рождеством». Того же числа родился один из двух моих дядьев, тот, который больше походит на обезьянку, дальтоник, с большими оттопыренными ушами, но все это в разные годы.

Сегодня утром Николай Зайков видел, как из троллейбуса, проезжавшего по мосту, на полном ходу выпал человек и что-то сломал себе. Коля был одет в красную куртку, купленную со вторых рук в г. С.-Петербурге прошлым летом. Он считает, что она немного броская, хотя чуть-чуть уже потускнела. Николай родился в городе Камень-на-Оби, где известный космонавт Кондратюк построил элеватор из одних щепок. Там же родился кинорежиссер Пырьев, поставивший картину «Свинарка и пастух», в которой актриса Целиковская нянчит поросят как собственных сыновей. Николай недавно женился и показал мне кольцо. Кажется, в его семье что-то случилось непоправимое.

Вениамин Алексеевич, мой прадед, был мелким чиновником. Уже в двадцатые годы он, прежде чем сесть в тогдашний трамвай, пропускал вперед дамочек, стариков и детей, так что оказывался на подножке.

Наш город называется Акацк, рядом находится Шумерск, можно именовать его также Гданьском или еще Лбищенском, большой разницы нет.

Раньше мы ездили и на курорт Цхалтубо, и на озеро Балатон. Раньше мы танцевать умели «ти-та дри-та Маргарита».

Мама сказала, что сегодня прошло 9 дней со дня моего рождения.

Мне стало интересно, кто живет в красных и зеленых полногабаритных домах, построенных сорок лет назад, в стены которых врезаны квадратные гипсовые плиты с изображением блюдец и красными рубчиками под окнами. Потом мне стало интересно и то, кто живет в домах побеленных в аляповатую клетку: фиолетовую, желтую, синенькую. Такие дома называются почему-то панельными, хотя панелей перед ними нет, не всегда в них есть и перильца. Такие же зеленые, синенькие, желтые, но однотонные дома, собственно, не являются таковыми — это корпуса общежитий. Впрочем, блюдца размером не больше, чем глаза у Собаки из сказки Г. Х. Андерсена.

Один из моих дядьев курит сигареты «Прима», а другой — папиросы «Беломор».

Когда же они выпьют, то нос у первого становится красным, а у второго сизым.

Рассказывают, что в средневековой Италии помои выливались прямо из окон.

Теперь я понимаю, почему нельзя стоять в дверном проеме.

Моя двоюродная прабабка умирала дважды на 96-м году жизни. В первый раз она не узнавала окружающих, путала свою

внучатую племянницу Таню, мою тетку, со своей племянницей Верой, жаловалась на боли, звала свою дочь Галю. Она потеряла целый таз крови при внутреннем кровотечении. После чего еще два месяца она пролежала под тонкими простынями, сухая, как душистый табак. Я провел ночь у ее одра и в соседней комнате. В августе шторы занавесили на ночь, уже не слышалось голосов со двора. В комнате, на стенах, покрытых малиновой водоэмульсионкой, с плавными закруглениями у потолка, была мебель из красного дерева, две статуэтки на подставках, изображавшие гимнасток в коротких костюмах, ножки которых почти отделялись от земли, а у одной за чуть запрокинутой назад головкой поместился в руке розовый фарфоровый мяч.

В правом верхнем углу стены напротив было спрятано изображение Джиоконды, это была репродукция или копия на дереве, на него иногда отсвечивало от большого окна. Под сводом потолка была подвешена люстра в форме хризантемы или ириса, три стебля которой были закручены вправо. В большом гарнитуре, занимавшем всю стену, со стеклянными дверками и створками, находились японские и китайские блюда с изображением трех Граций, нимф и сатиров, впрочем, одних только нимф. Рядом стояла посуда производства фабрики Дулево. Она не звенела, когда мы проходили по ковру. Под стеклом были также молочник, прибор для питья нарзана, розетки, окрашенные густой и блестящей краской, напоминающей темное небо, с золотым ободком. В нижних ящиках, с ручками, как у сундуков, лежало белье и перины. В боковом отделении, таком же, как и посудное, в два ряда стояли книги: Собрания сочинений Сервантеса, Бальзака, Теодор Драйзер, книги, выходившие по подписке. Туалет и ванная находились в коридоре, у них были шарнирные задвижки, в них пахло таким мылом, запах которого сейчас уже не услышишь. Ковры были сотканы татарками: одну из них звали Венерой. Они были покрыты растительным орнаментом в форме звезд, цветов разной формы, завитков, напоминавших хвосты змей. В соседней комнате была тахта с покрывалом из розоватого шелка, тумбочка с тремя маленькими будильниками, ножная швейная машинка. В прихожей стояли два кресла, с округлыми спинками с хрустом, не такие, как в гостиной, где кресла квадратные. В детстве этих предметов мне не дозволялось касаться. Особенно меня привлекала чайная коробка, в виде индуистского храма, на стенках которой были нарисованы индусы, ведущие слона, женщины с голой грудью и похожие на них мужчины, с усами в стороны и в чал-

мах. Оранжевая. Теперь, когда мы перевезли все это в один из клетчатых домов и расставили в прежнем порядке, я могу знать, в каком ящике что лежит, только мертвенный запах и звук лопающихся чашек заставляет меня вздрогнуть, передергиваться. Дочь моей прабабки, тетя Галя умерла после этого переезда через три года вслед за своей матерью, предварительно оставив надпись на памятнике: любимой мамуле. Ей помогала ее подруга Эрра Николаевна. Тетя Галя окончила водное училище в 19.. году, работала сначала прорабом, затем ГИПом, т.е. строила речные порты Игарка и Дудинка. Два ее брата умерли от несчастного случая: старший, Сергей, попал под поезд, а второй, младший и любимый сын Эриксон, утонул. Средний брат, Владлен, умер от рака, по-моему, печени или поджелудочной железы. Галина Сергеевна была властной женщиной, большим начальником, синим чулком, страдающей от полноты. К 60-ти годам с нею произошло несколько падений на тонком льду, после чего она перенесла еще и два инсульта, в то время она страшно кричала на всех. Потом у нее началось слабоумие вследствие опухоли мозга. Сперва ее раздуло, зато после она стала истончаться, как соломка, кожа отпадала кусками. Даже в это время она еще могла назвать меня по имени, потом еще узнавала, но потом все чаще плакала, словно отводила глаза, смотрела в пустоту. Я не навещал ее около двух лет, а потом пришел только к ее гробу. От былой полноты не осталось и следа. Казалось, что в нем лежит ее покойная мать. Ее рот открылся, и зубы поблескивали на солнце. Она умерла 1 апреля, надо ж было так случиться.

Тетя Нюра, мать Галины Сергевны, до девяноста лет курила «Беломор» дома и возле молочного «Снежок», носила волосы шишечкой, была сухощава, готовила, мыла посуду, была домработницей при своей дочери. Она была ростом с бушмена. У нее была привычка разламывать переплеты книжек, особенно Жорж Занд. Они долго путали Тихона Хренникова с Хлебниковым. Не могу сказать, что они нами пренебрегали, нет, но мы не могли их не уважить.

Боюсь, что все началось с того, как появились цыгане. Постучали в квартиру. Дверь еще была обита кожей. Пока одна из цыганок отвлекала внимание девяностолетней старушки, другая, сведя вместе указательный и средний палец, заворожила и, возможно, сглазила ее. Цыгане украли несколько золотых вещиц, возможно, какую-то личную вещь ее покойного мужа.

Светлана Исаковна была караимом.

У Виталия Львовича двое сыновей. Одного я видел только на фотографии — это молодой человек лет 30-40, с красивыми, видимо, голубыми глазами, поскольку фотография черно-белая. Однажды я мог ехать с ним в одном автобусе. Второй сын Виталия Львовича — мальчик-переросток Алеша, ему также около 30-ти — он умеет говорить: «привет! как дела?!?». Знает несколько матерщинных слов, и еще различает «Беломор» и «Приму», но не так, как мои дядья. Об остальном он разговаривает только со своей матерью, которую я видел раза два или три, а может быть, не видел ни разу.

Недавно в нашей семье появилась Ия Петровна. Уроженка Киева, в Московском университете она танцевала на балах с М. С. Горбачевым, который приходил к естественникам, или с Н. Дроздовым, ведущим телепередачи «В мире животных». Теперь она седая и почти забыла, какого цвета были у нее волосы. Но и сейчас, выпив кагору, она сильно молодеет в лице. День-деньской она в церкви, расхаживает по дворам и перелескам в легком сицевом платье, иногда на босу ногу. Она высокая, нос с птичьей перегородкой. Ей не чужда своеобразная лукавая логика, особенно когда она легкомысленными и богобоязненными речами травит свою сноху, а мою сестру Иру, понуждая ее к посту или к почитанию мужа. Теперь у них у обеих одна и та же фамилия: Драчковы, через букву «а».

В прежние времена людей хоронили с жалкими похоронными оркестрами. Теперь почти всех отпевают, и певчие подпевают.

Раньше Вознесенская церковь была другой. Она вся словно состояла из мелких подогнанных одна к другой сухоньких дощечек, напоминавших тропинки, по которым можно взбежать до неба. От нее пахло хвоей, и она радовала и покоила глаз. Прихожане ездили тогда туда со всего города. Теперь на Рождество и на Пасху электричество горит всю ночь, верно, ожидая крестного хода. Католик жаловался, что, когда он хотел помолиться в соборе Александра Невскаго, откуда-то выскочил высокий худой человек с черной бородой, всклокоченными волосами и немного косящим глазом и прогнал его вон. Может быть, это был Журавель, здешний ворон, или церковный сторож, или старший конюх.

Цирк в нашем городе построен в 40-ка шагах от вышеупомянутой церкви. Сегодня там идет программа «Веселые слоны». (Дальше приписать про поход с дядей Владиком.)

Саша Пиоаов, сын священника, организовал хэви-мэтал группу «Кожаные рясы».

Когда мне не исполнилось еще 14-ти лет и на моем лбу выступили угри, с ужасом я понял, что они начали складываться в клеймо Зверя.

Когда у моей тети перевернулась коляска и опрокинулась на нее, младенец тоже упал в снег. От ужаса несколько мгновений моя т. не могла пошевелиться и видела несколько фигур медленно проходящих мимо людей.

В войсках, ожидая приезда генерала, весной приклеивают листочки к веткам деревьев, а зимой придают сугробам форму кубов.

С определенного возраста я начал рисовать женщин в тетрадках, в полный рост, как в книге Платена «Новый способ лечения» или с картинки «Адам и Ева», до шести на одну страницу. Они выходили с мужскими плечами и лицами. Алеша Кичигин в таком рисовании больше преуспел. Путем соединения точек он изобразил лежащую женщину, с огромной вульвой, ягодицами и сосцами, как во времена промискуитета, но, кажется, без головы, на весь разворот тетрадки в клетку.

Книга Платенъ осталась после пожара в доме на Каменке. Дом полностью выгорел. Осталось еще два альбома фотографий. Остальное выкрал мой дядя Владик.

Бабушка рассказывала, что когда-то давно в старом зоопарке был индийский слон. Она помнила, как его вели по улице. Теперь нет уже и зоопарка. Он помещался в простенке между домами, но был глубиной в целый квартал. Одноэтажное здание, беленое синькой, с одним прокоптившимся окошком, с тройным стеклом. В зоопарке был полумрак. Вольеры находились вдоль стен с внутренней стороны. И одна в середине, вроде фонтана. В ней плавал бегемот.

Обезьянник и террариум помещались в двух соседних комнатах. Там горела масляная лампочка. Звери сидели в клетках, размером с коробку, как в шкапу. Они верещали, орали, они скрежетали, словно кляузы и ябеды. В темном столе, размером с биллиардный, ползали змеи. Кажется, там же сидели куропатки и индюки. Водоплавающие с клювами красными, как огарки, плавали в клетке на улице, в глубине. Рядом сидели грифы, бородавки которых напоминали пизду. Казалось, что у пеликана во рту полно серебра. Клетки располагались не на цементе, а как бы на пепле. Кажется, было еще колесо фонтана, на дне ле-

жали разные монетки, как в вечном огне. Росло несколько кленов, таких же, как в городских парковых аллеях.

Мои дядья носили костюмы туберкулезного цвета, купленные еще после войны.

Они надевались на похороны, девять, сорок дней и на полгода. Застегивались на все пуговицы. Рубашки были обязательно белые, с крахмальными воротами. Такие же пуговицы были на подушках.

Слово «Царствие небесное» можно было услышать только на по́минках. Обычно поминки происходили в теплые дни, когда солнце жарит через стекла. Свет падал на тарелки, была видна каждая рисина, каждая изюмина. Вино было сжато в банках с толстыми стеклами, как ячмень в глазу была боль, как имбирь. Сравнение «земля будет пухом» было непонятно вплотную. Вроде бы никто не верил в Бога. Уж точно, никто не поминал его всуе. Он был втуне. Тогда еще помнили слово Царствие. Его не нужно было **понимать**.

Перегородки между ушными протоками поколений были перегорелыми. Каждое сознание было отдельной изоляцией. Но общий провод бил током так, что дневные впечатления, облака, поцелуи и прочее, короче — ощипанная курица-жизнь вскакивала, как ошпаренная.

Я думаю, что Бог тогда еще не умер. Как не помер и цветок померанца. Он еще жив. И он **будет** сидеть как **финка** в *Вашей* глотке.

На старых географических картах, которые полуобвисали на стенах, как когда-то георгиевские кресты на теперь истлевших лентах, вокруг земных полушарий были впечатаны смешные схемки животных. Так фенек смотрит гречневым зернышком зряче на феникса. У моего друга Антона недавно была такая, но он скоро снимет ее, а потолок его комнаты, где будут жить его дети, покроют новые смешные грибочки на обоях.

Берите камень, нож или бомбу. Это надо повторить еще раз, еще раз.

Восстание сумасшедших домов. Восстание пятых школ, восстание калек, восстание Силезских ткачей, восстание новых луддитов против людей. Восстание мельничных колес, печатных машинок, «Побед», горбатых «москвичей», Як-3 от тонкой пластинки жиллетта по павлиньему пищеводу. Избивайте бом-

жей! Убивайте фарцовщиков, перворазрядники, убивайте мастеров! Готовальни, хулахупы, паяльники в ход. **Берите камень, нож или бомбу.**

Восстание потустороннего мира против скользкой суки-жизни.

Лапландка и финка.

Лариска Тарасова и мой брат Максик были очкариками. Для мальчиков на четвертом этаже школы был «вытрезвитель». «Вытрезвитель» находился в туалете. Очкариков волокли туда всем классом, так что их головы болтались между плеч школьного пиджака. Там их, вероятно, били; не издав ни звука, они претерпевали издевательства и поругание. Когда я учился в третьем классе, а мой брат в четвертом, ему уже выдали пионерский галстук и значок. Потом «вытрезвитель» исчез.

В свою очередь, в нашем классе была игра в «фотографов»: 20-ть человек на переменах носились в разные стороны по коридору, делая друг над другом «чик-чик» пальцами. Эта игра продолжалась тоже только один день.

Большее распространение получил «конный бой». Более слабые садились на спину самым упитанным и сильным и стремились свалить всадника наземь. Обычно побеждал «двойной конь» — крепыш на спине крепыша. Либо вариант «малыша» на «быке». Малышей в нашем классе было двое: Классен и Белый.

В школьной библиотеке Тамара Сергеевна, библиотекарь: женщина, больше напоминающая скалку, с несколько щучьей, огромной головой, Женщина-утюг, разжигаемый огнем, в зеленом платье морской волны, проводила «чтение». Один раз нам читалась книга против «баптистов», творящих непотребные зверства, вплоть до распинания детей. Кто-то убрал у меня стул, когда я отвечал, после чего я под общий смех больно ударился копчиком, «сев на пол».

Другая Тамара Сергеевна была медсестрой, похожей на Пчелу и на Пасечника. Помню ее глаза, как будто через сетку для общения с пчелами, улей глаз, сетка от прокаженных.

Сугатов, Золотов, Селенков, Бryндин, два Пономарева, Орсич, Таборкин, Таранков, Бахолдин, Вовчик Жилин по прозвищу Булик, зэк Третьяков, Коровина, Столярова, Смахтина, Рябцева, Грачева, Зарина Макиян, Тонин, братья Моисеевы, братья Вольфы.

Я помню, как однажды на базаре увидел двух азербайджанцев. Когда они сняли пиджаки в крапинку, оказалось, что у сорочек отрезаны рукава и от плеч видны красно-черные руки. Кажется, это называлось манишками. Один из азербайджанцев снял с шеи бумажный воротник и выбросил в черную трапециевидную урну.

Грузчиков почему-то называют «грузинами». Грузином также называл Т. Тонин (а за ним и весь класс), вздорный, кудрявый, нахальный хохлянчик, галстук «бздыньк», моего соседа и друга Даню Соколова. Они кричали: эй, Грузин! И от бешенства на смуглом Данином лице веснушки становились белыми, а в углах глаз и рта показывались мелкие морщинки. Я хотел сказать младшеклассникам на год, что он никакой не грузин. Хорошо, что не сказал.

Урны были следующих видов: в форме цветочной чашечки, крашенная серебрянкой, такая же в форме колокола; перевернутым буём; на ножке, напоминавшей начищенный сапог или галифе, урны-пушечки. Потом появились мусорницы из жести, синие и зеленые, такие видно издалека.

Лампы: белые круглые, словно луны по нескольку в ряд, такие же поменьше, лампа теллурия, наводимая на глобус, «синяя» лампа, лампа «лампацон».

Когда-то над нашим подъездом горел ночной фонарь, как черная шапочка тайца. На улицах, через каждые двадцать шагов — фонарные столбы из алюминия, днем похожие на мертвый рыбий глаз, а ночью на нимб, на одуванчик.

В солонках, в буфете большой библиотеки, сделанных из донца пластиковых бутылочек из-под воды, завелись нереиды.

Библиотека соседит с котельной: еженощно часть тиражей сжигается в топке.

Три фамильные рюмки из мельхиора, позолоченные изнутри: первая — стопка, пунсон с золотящимися, как дождинки сквозь тучу, виноградною кистью, лимонами, сливами, язычками пламени, размером с гульку, на треугольнике ветки, как птичий след на снегу, в хрусталике вспышки, сильвер, гельб. Вторая — как оловянный солдатик, или канонир, не больше канарейки, — на ней земляника. Третья — с шишечкой возле подставки, с тонкой талией, на высокой ножке, сама размером с адамово яблоко. Что если потереть их содой. Сейчас — кое-где они гладкие совсем, померкшие пунцовые, словно повенчанные с безуханными нарциссами и гвоздиками, не первый год стоящими в них.

Мой прадед Яков Семенович и баба Саша жили в городе Троицке, в своем доме. Мать бабы Саши совершала пешком паломничество ко Гробу Господню. Нина Яковлевна, сестра моей бабушки, говорит, что дразнила ее, называя сумасшедшей. Когда начинался дождь, четверо детей, деда Вася, баба Зоя из Риги, баба Нина и бабушка Мария Яковлевна выбегали на улицу и кричали: «дождик, дождик, перестань, мы поедем в Берестань!»

У дедушки Виктора Вениаминовича была такая игра: за обедом если подавалась курица и кому-то попадала ключичная косточка, то такой человек говорил: «давай поломаемся». Каждый из двух игроков брался одной рукой за ответвление кости и тянул на себя. Кость преломлялась, но никогда посередине, и тот, у кого оставалась меньшая часть, говорил: «бери и помни. тебе на память, мне на камень». Косточку нужно было носить с собой и в тот же день подойти к игравшему и показать ее со словами: «бери и помни». Если он пребывал в задумчивости, или по рассеянности, или от неожиданности не находился, что сказать, а именно: «беру и помню», и не показывал косточки, то считался проигравшим.

Когда Януса спрашивают: «как дела?» — то она отвечает: «как сажа бела».

В 1906 году мать Моисея Иосифовича Рижского принесла домой две монетки с парковой скамейки, говоря, что их послала голубица.

Вспоминаю чудесную игрушку: она была размером с икону, в плоской коробке под стеклом, по бокам были приставлены биллиардные жерла, которые катали железный шар, сглаживая его. Нужно было попасть им в лузу, с циферкой и картинкой сверху. Лузы располагались по своду или как в пирамиде. На картинках были изображены птицы, звери, короны, мантии, щеголи, черепа.

В седьмом классе появилось новое слово «щегол». Надо было сказать: «ну ты щегол», — и потрепать по щеке. Потом «щеглом» стал называться какой-то один человек, кажется, Сережа Огоренко.

Про его мать учительница Алла Владимировна говорила: посмотрите, какой толщины коса у Сережиной мамы. Еще она рассказывала, что раньше женщины, чтобы быть красивыми, купались в парном молоке.

В третьем классе сказали на «Чтение» принести свою любимую книжку. Я принес «Зверобой» и сказал, что моя самая лучшая. Лена Кокушкина, та самая, которой я в детском саду подарил зеркальце с белым ободком, ответила мне, назвав по фамилии: ты, Иванов…

Дома говорили, что девочек надо защищать. В школе сказали: «бабий заступник».

Лет до шестнадцати я ни разу не сматерился.

В третьем классе я боролся на льду с самым популярным героем: Пономаревым. Он и тогда уже казался седым. Начиная с четвертого класса, у него пошли двойки, двойки и двойки. Но учителя его жалели, и его мать жалели тоже. Не оставили на второй год. Так вот я боролся с ним возле забора, и он должен был одолеть, вестимо. Так вот, Сережа Огоренко дал мне сзади подножку. А Пономарев положил меня на лопатки и не давал пошевелиться. «Сдавайся», — он сказал. От детского гнева и бессильной жалости я плюнул ему в лицо, как поступил бы на моем месте Пушкин. Ответ последовал незамедлительно. Ну чё, всё. Встав, побежал к «предателю» Огоренко, сшиб его с ног. Никто ничего не понял.

Вадик Мошкин, Дюша Панов, которого Леша Кичигин стал позже звать «панкой», Ваня Былым и Вадик Иванов жили на улице Железнодорожной. Их, похоже, не взяли ни в 9-ю, ни в 33-ю школу. Они ходили через эту самую ул. Железнодорожную, потом еще под тоннелем из фиолетового углевидного гранита, потом через саму железную дорогу, где был тот же гранит и пахло гарью. Потом им надо было перейти через пару небезопасных дворов, в одном из которых жил Илья Третьяков, на класс старше, и второй Пономарев, Пономарь из А-класса. В их доме Железнодорожная 20, багровой девятиэтажке, жили еще две девочки: Наташа Коноплева, которую после стали звать Коконопелью, и Оля Смирнова — мои две подружки по «площадке».

Вадик Иванов стал моим другом — вероятно, из-за фамилии. Однажды ему хотели поставить два за неподготовленное «Письмо», а он отказался показывать дневник. Весь класс стал вырывать его у Вадика, а он уперся локтями и ногами в парту, страшно покраснел и дневник не отдавал. Я как заслуживающий «примерной» оценки за поведение сказал ему как друг: «Вадик, ты должен отдать дневник». У него дома была страшная книга «рассказов в картинках» — «Большой Тиль», где

главного героя в конце убивают тремя белыми мечами в грудь, а кровь непохожа на кровь, она малинового цвета.

Босак, которого я знал еще по детскому саду, где воспитательница, Ирина Грибельная, девятнадцати лет от роду, пеленала его в зеленое с белым, маркое одеяло, нашел в нашем классе своего друга Силитирского — Селитру, Славяна — и свое прозвище «Бичуня». Селитра не звучит для меня как Синатра.

Появление Усочки.

В четвертом классе, который тогда был промежуточным между начальной и средней школой, на годовом вечере нас учили «делать комплименты». Вова Золотов сделал комплимент мне. Он сказал: «Витя, какой ты хороший, какой ты красивый, ля-ля-ля-ля-ля!»

Родственники обступают больного плотно, как марля. Его кладут в больницу, расположенную где-нибудь незаметно там, где была окраина сороковых годов. Подозревают, что он может сгореть от рака. Его вроде бы подлечили: например, печень, где была опухоль, выздоравливает. То есть теперь вместо печени у него просто дырка. Каждый день он обнаруживает у себя новые болезни и одновременно как бы не знает о них. Как и не узнаёт своего тела. Он не хочет, чтобы его видели **в таком виде**. Ему-то говорят, что его положили для дальнейшего обследования, посадили в поезд дальнего следования. Семейный врач, если есть такой, сообщает по секрету, что ему остается жить один, два месяца. Можно ошибиться минимум на неделю. Но нет ему срока и на три часа.

Возле бойни Мясокомбината домá с непропорциональными лестничными пролетами, со стоптанными ступенями, точно наледь. Стены там как из пемзы, они уже даже не мажутся. На окнах — цветочные горшки кирпичного цвета. В таких домах живут одни старики.

Отказался пойти с классом на экскурсию в Дом престарелых. Учительница после рассказывала, всплеснув руками, словно бальзам для сердца.

Сперва рисовали план местности, с помощью значков.

‘’’ ‘’ ‘’
‘’ “” “” — обозначало болото.
“”””

Потом отправились в поход в бор.

Помню лесные туалеты с дырками между отделениями.

Сережа Огоренко сказал, что видел Коноплеву.

Самые старые дома, из потного кирпича, — мыловарня, бойня и казармы, 1908 г. Не считая того, что было вокруг ЖД.

Когда на мыловарне варили мыло, было слышно всем, в зависимости от Розы Ветров. Собачники разъезжали на синем фургоне, чтоб он им встал горбом, кость в горле, и горлом кровь.

На площади был Цветочный магазин. Он был на первом этаже в угловом парадном подъезде гигантского шершавого здания. Была только наружная дверь. Над пятью ступеньками в высокой комнате сразу начинались цветы в горшках. Был полумрак оранжевой пыли, запекшейся крови. Продавались: аспарагусы, гортензии, петунии, бегонии, розовые, фиолетовые, белые фиалки.

Когда в наш город приезжают французы, первым делом бегут к памятнику Паровозу, восклицая: так вот он, Трранссибберрианн!

У Гавриила Асклепиевича Темишоарова, 1914 г. рождения, появился двойничок: сын священника, молодой В. Треморов, 14-ти лет поступивший в университет. Юношеский сколиоз в его исполнении точно соответствовал поклону высокого, сгорбленного благородного старика, с широкой костью и взглядом, от которого зимой влет падали птицы.

Дед моей кузины Иры был краснодеревщиком. Мебель его изготовления все еще стоит в каких-нибудь тайных домах. Его жена, Нина Андриановна дала детям имена по тогдашней моде: Альберт и Эдуард. Похоже, в нашем роду все же не было немцев. Альберт в 14 лет изготовил из системы ящичков и стекол фотоаппарат, потом работал оптиком на НЭВЗе. Дядя Эдик был в прежние времена штурманом на кораблях дальнего плавания в Тихом океане, побывал в Сингапуре, на всех островах Желтого моря и Малайского архипелага. Выйдя в отставку, с семьей перебрался в Судак.

В Судаке есть татарский квартал. Татары там все черные, как черти в Преисподней, живут в мазанках, а дороги мостят галькой. Один из них, когда хотел познакомиться с горожанкой, спросил ее, умеет ли она готовить, прясть и доить козу. Веселая болтунья, она недовольно примолкла и покосилась на него. Говорят, что в прошлом или позапрошлом году там была поднята какая-то буча, ночью была громкая перестрелка, но потом все утихло. Залив Судака очень большой и красивый, тянется миль на 40 и весь изрезан бухтами. Похоже, Хлебников наврал, что переплыл его.

Когда-то я сидел у Януса, в дверь позвонил Музыкантов, но она ему не открыла, уж очень он словоохотлив, рассказал бы, как участвовал в конном пробеге, рассказал бы, что слышал настоящий кларнет, что против него воздвигают небо и землю, да не открыто, а тайно, как он сблизился с коронованными алхимистами.

Вспомнить как можно больше, и при этом как можно меньше выдумать.

Беднейшие деньки, воспоминания — тоскливые, словно восковые фигурки, speculum mordacis, Sancta simplicitas, carnifex longitudinis, ad hoc tua messis in herba est, словно оправившись от тяжкой болезни, буду глядеть в тебя, пока твоя жатва еще в цвету, страж долготы, павшая тень, Фрол Флор, кроличья лапка, узловатое зеркало, мертвая зыбь.

— Мышка-норушка,
Где же ты была?
— В часовенке.
— И что делала?
— Ткала
Кружева.
— Для кого?
— Для дамы из дворца.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Их лета, имена потщившись начертать...

Жуковский

Предисловие

Любезный читатель! Ты начнешь читать сей однолетний труд с третьей его части. То есть, фактически, с конца, хотя и слева направо. И то, что автор здесь черным по белому выведет перед тобой, запомни, подобно лишь третьей склянке винной дремы. Первые две части не то чтобы быстро разошлись, скорее они затонули где-то, хотя и не пропали бесследно.

Перед тобой — история об анонимке, которую автор долго ждал получить, и получил. Более того, теперь им раскрыта и цель злоумышленника, и самое имя его. То, чего он больше всего на свете боялся узнать о себе, лежит теперь перед ним как на ладони, а тебе предлагается заглянуть в кулачок. Он-то не имеет больше на счет на свой никаких сомнений, он разложил всё по полочкам, и зубов у него тридцать два. Лишись сомнений и ты. Автор — мужчина — в самом расцвете, в полном смысле слова. Хотя ему много в свое время насолили, много попортили крови. Но нужно быть выше этого.

Это история, вернее, хроника об анонимке, об обмане чувств. Факты автор предпочел изложить здесь в том порядке, как вспоминалось ему. Он, словно птичка, клевал их по зернышку, а то и по два. Все глотательные движения зоба он сохранил перед тобой, но во главу угла поставил все же око голубицыно, око недреманное. Так что ног на воздух не мечи, следуй за ним. Но не в пучину болезней, которые живот его терзали, — лакуны сии огибай, и прибудешь в тихую гавань. Ежели где найдешь опечатки, знай — то лишь следы неправильно приобретенных автором некогда представлений, он оставляет сии монструозные знаки в том виде, как были они впервые услышаны им.

А тем же, кто будет выдергивать слова и буквицы из этой тетради, это выйдет боком. Тому, кто поспеет нашить имя автора на свою фуражку, сделает его вымпелом или жупелом своих черных и позорных чаяний — несдобровать, ибо все припомнится. Это я говорю, прежде всего вам, нехристи-сатанисты и вурдалаки-фашисты, всех цветов волос, глаз и кожи! Лучше и не заглядывайте в книжечку эту, коли бревна в своем глазе не чувствуете.

Тот же читатель, кто верно диагноз автору выдаст, следуя чутью и жизненному опыту своему, не славу, но добродетель пожнет. Ибо книжечка — это, повторюсь, — история болезни, хроника — но не человека, а множества. Это сборище горших страстей, мучительной боли зубовной, легкомыслия, скудоумия, нетерпимости, возникших вдруг в голове десятилетнего мальчика. Откуда бы им взяться? Отчего впечатленья младенчества связались в один пучок розог и начали сечь несчастное тело, даже не дав уму единой о себе картины? Автор не дает ответа, не знает он даже, отчего сидит он на дрогах и куда едет, отчего пухнет как на дрожжах и что варит. Помоги ему, любезный читатель, и поможешь себе сам. Все, что может автор, — дать имена, которые суть nomina и суть odiosa, и слепок глаголов, из склепа склеротической памяти его извлеченных. Когда глаза твои встретят сии непонятные крючки, ты вряд ли узнаешь кого, а если и узнаешь, то будь уверен, сие есть одно совпадение. Случай — глаза твои набредут на знакомое, но забытое имя. Не обманывайся — перед тобой не возникнет образ любимого человека, никто не качнет приветно тебе головой. Все это лишь греза, обман. Чуждайся обманов, скреби тело скребницей ума. Не то вместо любимого, милого имени, взятого из глубокого сна, выскочит перед тобой глумливая рожа моя!

Vale.

Если говорить о старинных часах, то вспоминаются одни — величиной они с трехэтажный дом, у них несколько башен и циферблатов. Сверху донизу больший из них покрыт золоченой резьбой, деревянными цветами и звездами. Стрелки их показывают не только часы и минуты, но и дни недели, месяцы и даже годы. Под главным циферблатом есть маленький планетарий — шар, изображающий небо, каким оно видно в тех местах. Здесь можно увидеть движение звезд и планет, затмение Солнца, как на настоящем небе! В первую четверть каждого часа около главного циферблата появляется бронзовый мальчик с погремушкой и бьет в колокол. Когда стрелки показывают полчаса, выходит и бьет в колокол юноша со стрелой. Еще через четверть часа показывается бородатый воин с мечом. Година обозначается медленным движением фигурки старика с посохом. За ним неотступно следует Смерть со своей косою. Она-то и отбивает полный час.

Человек слышит бой часов на отдаленной станции. При каждом ударе он повторяет: один, один, один, — и не может сосчитать, сколько. У него нет представления о времени. Он не имеет никакого понятия и о числе. Знает ли он о смерти? Задачники были, один да один. Такой человек не различил бы свистка постового, не понимал бы ни жалоб, ни угроз. О таком, наверное, говорят гадалки: «и сердце успокоится».

Когда моя мама в 1958 году возвращалась в город Советская Гавань, два морячка, соседи по купе, что ехали в Новый Свет, сказали ей, что смогут вдвоем залезть в багажный ящик под нижней полкой. И точно, засели там и захлопнули крышку. Тогда мама подумала, что они, верно, какие-то жулики, ведь в одном гробу даже похожих людей не хоронят.

Посредине церемонии сей траурной сделал себе забаву: нарочно отстанет от везущего тело одра, пустя оного вперед сажень тридцать, потом изо всей силы добежит; старшие камергеры, носящие шлейф епанчи его черной, паче же обер-камергер, носящий конец епанчи, не могши бежать за ним, принуждены были епанчу пустить, и как ветром ее раздувало, то сие ему еще пуще забавно стало. Он повторял несколько раз сию шутку, от чего сделалось, что я и все за мною идущие отстали от гроба и наконец принуждены были послать остановить всю церемонию.

Видел фотокарточку еще царских времен. — Похороны ребенка. На край могилы взвален гроб, обклеенный белыми крестами. За отверстой могилой видны мать, отец, дядья, братья и сестры покойного. Смерть, изображенная на этой фотокарточке, двойственна: для нас умерли и те, кто шли за гробом. На лицах не заметно следов скорби. Никто из сопровождающих не горбится. Гроб уже закрыт. Видимо, и в этой церемонии произошла остановка, только ранее предусмотренная. Из-за долгих выдержек при съемке не сохраняется «выражение лица», как теперь, отпечаток передает скорее «внешний облик человека» за 20-30 секунд, соответственно схватывая его медленнее и длиннее. Вряд ли на снимке изображена сцена восстания мертвых или Смерти Второй. От белых фигур с серебряным налетом черт лица зрителя отделяет яма. За последние годы и без того тупоносые края рамочки совсем закруглились, как у фетровой шляпы, если по ним провести пальцем.

Во время первого же молебна в придворной церкви и присяги поведение его превзошло всякое вероятие. Сей был вне себя от радости и оной нимало не скрывал и имел совершенно по-

зорное поведение, кривляясь всячески и не произнося, окроме вздорных речей, не соответствующих ни сану, ни обстоятельствам, представляя более смешного арлекина, нежели иного чего, требуя, однако, всякого почтения.

В некоторых придворных комедиях маска Арлекин должна была представлять земного Духа, или младшего чертика, убегающего препонов, чинимых ему, благодаря способности становиться видимым, будучи же бесплотным, что не мешало ему, между прочим, бить смертным боем прочих персонажей. Когда его пытаются изловить в мешок, то оказывается, что там один из цани.

Часто глядишься в старые ложки как в зеркало. Хотя чаще там отражается небо. Они немного помутнели. На них проступили своеобразные синяки. Они хранят воспоминания о супах, облачках пара. Они подобны пересохшим рекам. По их гладкому дну проходили лучи соломенного сулемного воскового скоромного солнца. Разница только в том, что рыба, плававшая по этой реке, была размером с огромный целковый. Как на старинных монетах, сквозь вмятины можно определить дату и закатившиеся царства желудков. Бороздки ядов и струение газов. Ложки вкладывались в горло, когда пациент говорил «А», это был глубокий бурлящий звук. «О» вдувалось в «А». Скорее, это был даже дифтонг «ОА». Краешком глаза можно было углядеть животного духа. Но позднейшие врачи придавали этому не большее значение, чем велосипедист стрекоту кузнечиков в траве. Иногда ложки прикладывали к синякам. В некоторых домах ими пользовались в качестве обувных.

Мама и бабушка прятали от меня разные сюрпризы и подарки ко дню рождения и к Новому году в шкафах рижской мебели: серванте и секретере, а также в стенном шкафу. Там также лежали всякие интересные вещи: портупея деды Вити, его мундир, складная опасная бритва, трубка. В особом месте хранились медали. Они были на траурной атласной подушке, с одной стороны красной, с другой черной: два ордена Красной звезды, медаль за победу над Германией и другие. За год до смерти дедушки они с бабушкой ездили в Ригу.

Гладкие выступы шкафов пустовали редко. Иногда они полностью заполнялись предметами. Предметами — камнями, оловянными солдатиками и свечами. Что-нибудь обязательно терялось. Дверцы и ящички манили. Круглые железные коробки из-под монпансье с изображением цветов были наполнены причудливыми пуговицами, казалось бы, с платьев со всего све-

та, трудно было подобрать две одинаковые: пуговицы от детских распашонок, от лифов, наволочек, старомодных платьев и пальто. Пуговица с французской лилией, пластмассовые, похожие на ягоды, и металлические — в форме монет. Они гремели и позвякивали, как колокольчик на шее коровы, как отдаленный смех и голоса женщин, что некогда их пришивали.

Все мы пуговицы здесь и иголки
Сколько платьев будет пошито?

И т.д.

Так я нашел набор лезвий «Балтика» пятидесятых годов, медный нож, который считал золотым, футляры для очков и сами женские плюсовые пенсне.

В тот день мы с кем-то сидели в комнате, затемняя ее одеялом в красно-черный квадрат, и печатали, и печатали под красным фонарем фотографии, фотографии, которые потом выходили серыми и косоглазыми; а увеличитель был до потолка, как будто на нем сидела ворона, мы запирались в квартире, где в ящиках серванта под вилками и ножами лежали запрещенные фотографии, на которых семья убивалась то над одним гробом, то над другим, которые попадались всегда там, где искал спрятанные подарки, а натыкался на эти черные рогатые воздушные мины.

В стенном шкафу до сих пор стоят старые чемоданы, один из них — в человеческий рост, вернее, в рост ребенка. В нем лежат дедушкины рубашки, во внутренних полотняных карманах есть вырезки из тогдатошних газет. Некоторые предметы оставлены так, словно в предыдущий раз их касались лет сорок назад. Возможно, это иллюзия, ведь в день совершается столько мимолетных движений. Но я точно знаю, что трубку никто после дедушки не раскуривал, никто и не раскрывал бритвы. Я как бы зеркально, гадательно повторяю его жесты. На страницах книги можно найти его пряди и следы ногтя. Он словно бы оставил шелковую закладку, но она уползает, как ящерка. На некоторых вещах словно сидела чайная кукла.

Под пальцами моего брата поют бокалы. Он тоже связался с некоторыми из «учеников» Христа, как и многие, кто были с ним. Стал носить с собой псалтирь. Молились они, по-моему, по-английски. По-анге́лски, как говорят в пресловутой Польше.

«Ученики» собирались в актовом зале, или на «ячейке». Мама сказала, что там их «зомбируют». Ездил еще в старообрядческую церковь. Ездить туда было раньше далеко. Братец стал носить дорогие запонки и дешевые воротнички, подумывал заняться бизнесом. В морозный день, когда лопаются трубы, он встретился со мной и напугал меня тем, что и гондоны разрываются. «Представь себе», — сказал он. Вы знаете, я каждую минуту готов был захохотать. Однажды, когда пошли сдавать кровь, сказал, что не взяли, что, де, где-то состоял на учете. Он как будто гудел в нос различные мелодийки. Стал распространителем.

У Алексея Ивановича — дети в четырех городах. А могли бы все жить на одной лестничной площадке. Речи ведет сладчайшие, поглаживая бороду, глядя как-то выпукло, всё одно как будто увидал акробатку под куполом. Потом состарился, и теперь каждое утро достает гармонику и наигрывает «Вот кто-то с горочки спустился», потом едет к старообрядцам.

Мама с тетей тогда ходили на кладбище, а мы с сестрой остались дома и завесили окна, как во время того затмения в 1984 году. На прямой стояли белые памятники под солнцем, которое доходило до пяток, но не могло найти покорной души, белые дома, как сургучные печати во время долгой дороги мимо стен чужого города с очкастыми портретами в пятнах.

Мне попалась картинка, из велосипедной серии, называлась «бициклет». Бициклет был на спичечном коробке, он стоял на облаке, как печать на треугольном едком синем и емком небе, из которого выступал на один шаг, казалось, остановившийся ездок; коробок пролежал на подоконнике несколько лет и стал от этого пепельным. Так я начал собирать спичечные коробки.

Позже попробовал коллекционировать и монеты. Соседский мальчик Коля свел меня с менялами, очень важными польскими мальчиками. Они говорили, что у них есть злотые, стотинки, кроны, пфенниги, гульдены, но не показывали мне. Мне же в поезде монгол подарил 2 мэнге — очень крупную монету, но она не стоила ничего. Я хотел уже было отдать им царские копейки, но мама не позволила мне. Менялы были возмутительны, их голоса звенели, как медяки. Они показывали, как пробовать монету на зуб, изображая, что делают пробу.

Изданная в Киеве книжка Сведенборга, с картинками в малороссийском духе, с ангелочками, как на пасхальных открыт-

ках, на обложке, оставленная в комнате незадолго до прихода Ии Петровны, куда-то исчезла, видимо, была брошена в печку.

Когда солнце падает сквозь стекло, Ия Петровна напоминает одну из мамушек Павла I. Лицо ее светится как лучина, когда она склоняется над Цесаревичем, и в глазах ее видно то лукавство, без которого смышленому православному не войти в Царствие Небесное.

Моей сестре, когда она как тень пробежала по дворам, окрестные дети кричат вслед: «тетенька смерть».

Умер Музыкантов. Повесился в каком-то институте, где он работал. Владела ли им мания бегства, не знаю, я даже имени его не назову. Музыкантов был математиком, в Московский университет его приняли без экзаменов, он был математиком, пока не свихнулся. Потом и на самом деле увлекся музыкой. Он ходил в гости к незнакомым людям, просил попить и поесть. Если ему не отказывали, то он садился за стол и начинал рассказывать. О чем? Однажды мне показалось, что он идет за мною. Может быть, это был не именно он, не совсем он, так, длинные волосы, из которых проступала плешь, так что голова выглядела круглее, нос с горбинкой, очки. По-моему, этого еще недостаточно, чтобы кто-то меня преследовал. Так, показалось. Садилась пыль сумерек, вороны кашляли на липовых ветках, оцепенелых, как хвосты дохлых кошек, он подошел ко мне на остановке, фонарь показал мне его лицо со шнобелем, он на миг воззрился на меня, но тотчас отвернулся, словно увидел человека, которого только что обокрал, его брови были точно подкрашены суриком, а свет ровно падал на бледное лицо, в котором что-то мерещилось и таращилось. Он не смотрел на меня, от меня он только отворачивался. Этот человек не был Музыкантовым.

Николай Иванович Тышкевич стал в один день очень осторожным: говорил, что ему гадят даже соседи, всё ему как-то мешает. А больше всего то, чего он сам уже не помнит или боится назвать. Все это с ним с тех пор, как он начал разрабатывать новую теорию электродинамики. Он говорит: а какие они, гауссовы дела, Гаусс-то все видел, только то были очень дальние пути, а то, что они сейчас не по-гауссову пошли, так во! они увидят в конце. Парализованный наполовину, каждый день в восемь утра он идет в большую библиотеку, но только теперь не по улице Сакко и Ванцетти, нет, теперь у него свои, другие пути. У него украли шесть толстых тетрадок, испещренных расчетами, которые он никому, нет, никому, никогда не хотел показать.

Шляпы. Я донашиваю чужие шляпы. Одна принадлежала Зельману Львовичу, другая — Владиславу Ивановичу, а третьего не помню, как его звали. Мне говорят об уважении к сединам. Что ж, и старцы оставляют следы. В каждой шляпе есть подкладка. Я внимательно ее рассматриваю. Там обычно видна марка, печать и надпись вроде маде ин Чекословакиа. В некоторых подкладках следы перхоти, бумажная труха, домашняя моль, подсохшие разводы пота с лысин. Пыль человека. По краям он невидимым образом превращается в подобие порошка. Старики — как известняк. Я вырываю подкладку. Теперь шляпу можно носить. Ее мягкая ткань льнет к волосам.

Туфли. Не помню когда точно, где-то между семнадцатью и двадцатью, я начал ходить в уличных туфлях по квартире, как делают одни евреи и старики. Туфли были с пряжками, они гремели, а пряжки блестели. Окна квартиры выходили на солнечную сторону. Тени рабочих колебались, как стрелки часов, утопая в молоке. Рабочие ходили по стропилам на уровне моего окна. Когда солнце било в стекло, они превращались в синеватую, просвечивающую, говорящую тень. Их голоса были слышны со двора, даже когда тени стелются по земле.

От меня их отделяла лишь тонкая преграда двойного стекла. Вздрагивая при пробуждении, я просыпался от толчка, словно лапа какого-то зверя ступала в мое слабое тело, как в топленое масло. Словно раскрывались створки стеклянного саркофага, словно расступалась толпа людей при виде ужасного безобразного тела диктатора Муссолини, к которому устремлялись тысячи мух, когда последняя нотка сна меркла, как нить накаливания, а душа казалась не более колебательного контура, когда явь обретала тяжесть, подобно выпадающему из облаков слону, выделывающему в воздухе нелепые коленца и непрестанно трубящему…

Но рабочие появились намного позже, а тогда не начала еще ходить мусорная машина и уже перестала ходить молочная, половицы скрипели, как две половины яблока, капали краны, ночью в голубом двустворчатом кухонном шкафу начинала дрожать вся посуда, каждая тарелка и чашка стучала то глухо, то звонко, но мы жили тогда высоко и не слышали шума трамвая, да, тогда трамвай еще ходил по улицам, это был 1985 год…

1.

Что же будет, если перекреститься слева направо, последовательно прочесть клятву на американской конституции, поймать в кулак жука, изобразить козу, взять в руки палку, сложить кисть, как у Иоанна Крестителя, положить руку на срамное место, выставить только безымянный палец и мизинец отдельно, для чего требуется большая гибкость и подвижность суставов, и напоследок еще раз перекреститься, на этот раз справа налево? Меньше усилия надо хирургу для удаления вредной кисты, и гораздо меньше надо вору для отдирания виноградной грозди. Поэтому горе глухонемому, у которого недостает еще и пальца. Педро Понс никого не сживал со света, не жег на кострах, не показывал кастратов островитянам, он перекрестил их двуперстным крестом и, вложив два пальца в рот, заставил чревовещать! Понс был изобретатель азбуки для глухонемых. И это было для них как новое Евангелие, как мне тогда казалось, как мне тогда хотелось. Меж тем я ставил в этом слове неправильное ударение. Однажды, когда я еще не вышел из университета, мне довелось наблюдать довольно странную сцену, впрочем, судите сами: я вышел покурить на черной лестнице, поднимался на верхнюю площадку, увидал собрание глухонемых уборщиц. Их было пять или шесть, все в одинаковых фиолетовых халатах, но разного роста и возраста... Кажется, они были еще и в чепцах. Я проснулся от легкого щелчка, как будто кто-то включил телевизор. Они заговорили всем телом, словно их мышцы превратились в машинку для схватывания и размежевания знаков. В книжках иногда изображают буквы в виде человеческих фигур — здесь же эти женщины сами казались буквами. Но они только казались. Они показывали свой разговор и одновременно скрывали его смысл. Это немного напоминало судороги, помехи. Они явно намекали на что-то, косвенно относящееся и ко мне. Речь мешала жизни тела и подтрунивала над ней. Впрочем, и мы можем говорить как бы в полусне, отдаляясь от одного ряда предметов, как волна, которая не находит второго берега, и мы вдруг замолкаем, словно заупокойную в молчанку играем. Еще говорят «тихий ангел пролетел». Хотя вряд ли соловей мог бы лучше щекотать воздух. Уборщиц можно было принять и за богомольных вдов, за нищенок, ведьм, за старушку со спицами и ее дочь, парок и аллегорию семи возрастов женщины.

По телевизору на девятое и первое мая обычно показывали новости с сурдопереводом. Казалось, что и женщина-переводчик носит по ком-то траур. В эти дни часто выпадал снег. Было очень холодно, дороги все темнели. Именно первого мая началась у меня эта ипохондрия. Правда, перед этим было еще «письмо счастья»...

Умбрашко рассказал, что однажды он три дня пребывал в полном одиночестве и три дня молчал. Когда на четвертый день он захотел заговорить, у него пропал голос. Он онемел. Когда кукует кукушка, первое ку — как бы вблизи, а второе доносится издали. Она качается, как маятник. Когда же кричит дергач, неизвестно, где он, словно его и нет. Но иногда бой этих ходиков совпадает. Один из примеров можно назвать — люди говорят: у меня дежавю, имея в виду болезнь. Только еще не помнишь когда. Запомнить можно, а вот попробуй вспомни. Год, день, число. Тогда говорят, что Бим видит Бома. Возможно, что глухие слышат лишь отдаленный шум, словно кто-то хрустит по песку, словно жук ползет по спичечному коробку.

А Хотин всегда видит и того и другого, и наматывает звуки на свою бобину. Он никогда не вспоминает. Он знает каждый день и час, когда что произошло, кто был, и кто что сказал. Может быть, солнце всегда стоит для него в зените. Стоит один и тот же день, только кто-то напоминает ему, что пора отойти ко сну. Но день не тот. Этот кто-то напоминает ему... вопрос «кто там?», когда кто-то долго не отвечает. И тогда уже пора тревожно спросить «кто здесь?»

Всё же о Хотине не скажешь, что он не знает времени. Поскольку он помнит, то никогда ничего не помнет. Он может каждый раз вставлять в свою новую прозу рассказ об Издревой, ему совершенно не нужно говорить о чем-либо еще. Нужно сказать еще раз об Издревой. И неважно, пишет он о Ноге или оНазоне. Еще одна осень без Тебя, еще одна Олимпиада без Тебя... Неважно, апельсин это или крепдешин. Поскольку существуют синхронные люди. Эта Олимпиада и осень всегда «еще одна». Он всегда прибавляет единицу, нет, он всегда отнимает единицу, единица всегда выпадает. Говорят, у Хотина болезнь бычьего сердца, он в каждую секунду может умереть.

Хотин напоминает тех деревянных мужика и медведя, которые бьют молоточками по пустой наковаленке. Sin и cos, которые косятся друг на друга.

Наши встречи с ним длятся всегда всего несколько секунд. Он одинаково улыбается и коротко протягивает руку, и привет-

ливо произносит слово или два длиною в несколько слогов. Затем следует заминка, после чего Хотин просит сигаретку (если у него нет, и если он курит), если же Хотин сигаретки не просит, тогда я спрашиваю, не видел ли он Игоря Евгеньевича. Хотя нам есть о чем поговорить, например, о стрекательных клетках, о том, что есть стрекало.

Однажды мы ехали на электричке, по-моему, на бердской. И.Е. и Хотин намеревались посетить Ботанический сад и новую деревянную церковь. Хотин сказал тогда: Пушкин и Лев Толстой.

Для работников Картинной галереи посетителей не существует, они все на одно лицо, вернее, у них даже нет лица. Служащие галереи совершенно слепы, они никого не узнают, вероятно, с ними интересно было бы сыграть в жмурки. Не таков Хотин. Он один все видит, он один за всем следит, он — недреманное око, он — пятая вигилия.

Недавно мне пришла, наконец-таки, эта анонимка оскорбительного, скабрезного содержания. В ней значилось: «кот насрал на барабан». Пришла из Картинной. Подписи не было, но я сразу понял, что это Хотин. Как-то я выяснил, что я записан в отделе у Хотина, а ведет меня и заказы дает Назон. Хорошие жмурки! Как если вас водит шут с завязанными глазами, а за вами следит смерть.

Как Вийон считает повешенных. Он говорит: нас повешено здесь пять, шесть. Он словно считает, качаясь. Сперва он говорит пять и забывает одного, себя.

Мне приснилось, что я король негров. Тело у меня золоченое, потемневшее, как мед. Выкрашено золотой краской, но только до щиколоток. Стопы же белые, мои. На голове кудри, а на носу — квадратные очки. Вылитый Карим Абдул Джабар. Меня высылают откуда-то, кажется, из Соединенных Штатов, вместе с супругой. Я прибываю куда-то, кажется, в СССР. Я спускаюсь по трапу. Условие такое — мне нужно просто молча уйти в степь. Но я говорю: я король негров. И меня тут же берут под стражу.

2.

Спальня и опочивальня, рукомойник и умывальник. У тебя золотушный вид, ты слушаешь? Тетя Тая, Таисия Прокопьевна сказала о ком-то: он был польщен, и покраснела яблочно. Ты у меня будешь как шелковый, говорила баба Зоя, что живет в Риге. «Польщен» — непонятно, и потому «польщен» было яблоч-

ным румянцем, ясочками тети Таи. И хитрым лицом дяденьки, выглядывающим из-под светлой шляпы, надвинутой на глаза. А тетя Таня говорила: ну что, друг ситный! По-моему, я тогда еще не видел названного шелка. Но уже знал о «сице». Показалось только, что тетя не мне, не со мной говорит. Что за друг такой? Друг ситный и Сицев Вражек. Но шелковый уже был тесно стянут со словом «ремня» и с гладкой спиной ласковой собаки. Шелковые треугольники я увидел позже — они оставались от маминых платьев. На эти лоскутки было глядеть грустно, как на кого-то, кто недавно подстригся, немного щипало в горле, как у волка, которому перековали язык. Помню себя в белом балахоне, восседающим на высоком стуле, наблюдающим в зеркале, как состригают колкие волосы, а голова начинает золотиться. Помню женщин, которые садятся на стул и кладут головы в страшные зеленые турбины. Когда стриглись дома, всегда потом сохраняли волосы и прятали их в разные глубокие ящики.

Утром иногда глаза не открывались. Конъюнктивит. Постоянно тер их. Мама сказала, что будет отек Квинке. Было холодно, стучал зубами морзянку. Потом приснились немцы Квинке и Морзе. Квинке был в кепи военного, он кивал нам. Морзе был в кителе и похож на маму.

Утром, сощурив глаза, видел жилки солнца, которые, как стрелка, качались в разные углы, в зависимости от прищура. Видел в воздухе пузырьки, точки. Принимал за молекулы. Звезды считал размером с себя растопыренного, как на разминке на физкультуре, когда делали упражнения солнышко и ласточка. Спрашивал у сестры. Однажды, еще не заснув, испугался, вдруг я умру. Спросил у сестры, та — подтвердила.

А пока исчезало облачко, и острился взгляд, и падали пьяные, и садились пушинки, и зэковские ножи истончались выемками, и почтальонши лаялись, и в колокола звонили, и деньги позвякивали и доктора слуша́ли, и похоронные оркестры тужились и в ножички резались, и бедрами покачивали, и всех затушали, и грешники томились, и праведники возликовали.

У нас была тряпичная кукла Витя с овальной головой из белого полотна и всегда подновленными чернильными глазами. Потом вышили глаза, нос и рот из ниток. Кукла была на двадцать раз залатанная, перешитая. Были у Эммы Моисеевны Шалиной, крестной бабы Зои, музыкантши. Видел у мальчика, ее внука, такую же куклу, она называлась Дод, или Бе́да.

Эмма Моисеевна подарила мне книжку Кабалевского. Мы с ней разучивали Гедике. Еще были Майкопар, Минкус, Покрасс.

Приходил настройщик Герман, плотный старичок в тельняшке и в брюках на подтяжках, немного похожий на Св. Федорова, получал чето́к «Русской водки» из рук мамы, бабушка ворчала. Помню «Слезную жалобу», «Болезнь куклы» и страшные «Похороны куклы». Макс, мой двоюродный брат, больше преуспел в музыке — до сих пор играет то «Турецкий марш», то «К Элизе», хоть пальцы разбарабанило, не слушаются, не входят в клавишу. А мне выучиться музыке помешал мальчик Петя — он корчил рожи и словно показывал нам пальчик. Да и мама говорила, что у меня есть «вслух».

Последний раз мы сами ходили к Герману просить, чтоб он настроил фортепиано, уже много позже, когда я почти окончил школу. Он жил на пятом этаже в однокомнатной квартире вдвоем с сыном, баянистом. На стене висела афиша о выступлении сына, тут же была его фотография. Герман жаловался — горе мое, сорок лет, все не хочет жениться. Печальный сын смотрел с фотографии, склонив главу над полураскрытым баяном, словно пытаясь обхватить его, как рассыпающуюся горсть серебра, и поджав губы. В лакированных волосах на бочок светился пробор.

Мальчик Миша напоминал немного Иоанна Златоуста, календарь которого висел на стене, он не выговаривал букву «р», и у него, по-моему, была заячья губа. Эмма Моисеевна устраивала нам настоящие семейные концерты, в Доме офицеров. Мы любили ее и побаивались. У нее были кудрявые волосы и лучистый взгляд. Она облизывала палец, когда перелистывала ноты. Мне более всего нравились названия. Эмма Моисеевна теперь умерла, так и не сказав нам о болезни. Мишка пропал для нас. Мама ходила на похороны. Я остался. Мне было почему-то стыдно перед покойной, как и перед многими, кого я так и не навестил, не проведал, не «застал живыми». Интересно, как это — «застать живыми»? Как если бы думал пойти к старичку, которому уже исполнилось 86 лет, но тут какой-то паренек увлек меня куда, послюнявил сигаретку, потер кепкой по затылку, поманил, а потом обманул. Вот пробежала птичка с гузочкой, и закончилась музычка. Девочка бежала, красные сапожки. Отдай мое сердце.

Мальчик золотистый кудрявый
Улыбается розовой губкой
И у меня была ступка
Я толок в ней сухарик ржавый

В моем шкафике финики
Были бездновы шкафиком
А тротуары к поликлинике
Я выстирывал в кафели

Небо болело карее
И у меня была бабушка
Но обычное зарево
Вернулось желтым оладушком

Ю. Н. Чумаков идет мимо консерватории, мимо улицы Революции, мимо «Водника», мимо статуи «Ленина, играющего в свайку», словно кланяясь низко, похожий на Наполеона в старости, не подмигнет, не узна́ет, идет, как семь стариков.

Польскому языку учил меня старый инженер Бронислав Студинский. Иногда он поправлял, Брони́слав Студжиньски. Он был глуховат, и тогда Лех Валенса и Кароль Войтыла, посовещавшись, прислали ему слуховой аппарат по линии Дома Польскего. Бронислав Степанович всё пока отдавал предпочтение старому, новый же берег как сокровище. Росту его было 190 сантиметров. Мы занимались по книге Каролак, с перечеркнутым «L». Мне приходилось по несколько раз, повышая голос, повторять ту или иную фразу, пугаясь собственного голоса, а потом он повторял ее еще громче. Так мы читали наперебой, и я сам понемногу стал глохнуть. Продвигались медленно. После урока беседовали о костеле, Богородице и Папе Римском, о жизни Бронислава Ст. на Украине, в Литве с отцом и братом, об эвакуации, о женщинах, о его родственнике Лещинском, который и теперь ещё играет на барабанах в джаз-банде. Он всегда приглашал меня откушать с ним, но я соглашался только на чай. Я, что называется, зачастил, и вдруг все оборвалось. Виной тому — нелепый казус. Раз я пришел на занятие голодным. Он предложил мне отведать картошки со свининой. Скажу, что я с детства на дух не переношу вареного лука. И чая с сахаром. И свинины. В тарелке было столько лука, сколько я не видел еще за всю мою жизнь. Я все съел, но на занятия больше не являлся. Поляк часто обо мне вспоминал и всегда передавал мне привет. Я не смел признаться ему, что не хожу, лишь опасаясь новых мучительных кушаний. В его обществе я провел одни из самых лучших, забавных и горестных минут в моей жизни. Он до последнего сторожил дачу и сидел со своим 30-летним парализованным внуком, который вырос в кровати, парализованным.

Бронислав Степанович помирал тяжело, от водянки. На похороны пришла дама из костела, восьмидесятилетняя Ирэна, ксендз, сын с женою и друзья, да музыкант Лещинский.

К Гавриле Асклепиевичу Темишоарову я перестал ходить потому только, что он держал меня за руку, когда мы вместе молились, мне привиделось вдруг, что он вампир, глядящий сквозь толстые стекла старинных очков, тоскующий о своей жене, чья небольшая карточка висит на стене. Ява перестал навещать его по той же причине. А Жемжа с восторгом отзывался об этом, как о радении.

Мне сказали, что некто В. Т., изобретатель типографского способа тиснения, охотно принимает мальчиков под сенью своей. Я решил сыграть шутку: когда он выступал на книжной ярмарке с речью о Гутенберге, я нарочно сел во втором ряду, стал то пристально, то томно поглядывать на него, изображая, что весь превратился в слух. Он говорил о том, что не до́лжно оборваться волоконцу мыслимой кудельки, что парка не смеет прекратить прядение, и вдруг раздухарился, в карих глазах засверкал огнь, и он продолжал свою речь с живостию, ловя восторженные взгляды мои. Я потупил взор, весь залился краской, стал как пунцовый. Сосед мой обратил на это внимание, но вскоре забава прискучила нам, и мы прекратили игру.

На той же ярмонке произошло у В. Т. столкновение лбами. Некто Мурыгин, представляющий издательство «Мафия» (Моя жена Анна Федоровна и я), выложил свои книжки, одну из которых приобрел и я. На титуле значилось: «Мои встречи с Николаем Вторым». Первая строка была: «Впервые я встретился с государем, когда он еще цесаревичем проезжал через Уральск». Книга была иллюстрирована ксерокопиями произвольно разрезанных портретов августейшего монарха, сделанных, по признанию автора брошюры, в Швеции. Подошел В. Т., член дворянского собрания, и объявил, что он де не седьмая вода на киселе, а родственник Романовых по материнской линии. Заспорили. Мурыгин стоял на своем. В. Т. надменно замолчал и отошел в сторону. У Мурыгина тут же висел на продажу портрет молодого человека в желто-синих тонах, а также порнографические книжки шестидесятых годов, как выставочный экземпляр.

Пришли жнецы слов и унесли с собой снопы в стог.

3.

В пятом классе, помню, начал читать книжку Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Мама говорила — повернись к свету. Отогнутая как воротник страница, скрип ногтя и трение под подушечкой пальца, словно обвязанной ниткой. Незнакомые, неузнаваемые слова были такие же, как румянец тети Таи, как полька и вальс. Такие же, как фамилия Ани Идельс.

Гоголь и плохое слово. Я читал книжку Гоголя «Тарас Бульба» и нашел там непонятное слово. Я спросил маму, что оно значит. Мама сказала, что это плохое слово. Я думал, как же Гоголь мог написать плохое слово... Это слово было «жид».

Тогда из Алма-Аты к нам приезжала тетя Рема. Тетя Рема была еврейкой. Она привезла яблоки апорт. Мы любили евреев. На третьем этаже жил Даня Соколов. В юности отец его был боксером, в шкафу под стеклом стояло фото: на нем был дядя Юра, голый по пояс, в боксерских перчатках, веселый. Там я узнал слово «капа». Капа вкладывалась в рот, меня стало тошнить. Тальк напоминал крахмал и был приятен на ощупь, в отличие от капы. Мы с Даней все время боксировали, потом показывали каратэ и ушу. На трюмо у них я видел старинную пудреницу — бронзовый гробик на ножках. Я представил себе красивое женское лицо, похожее на лицо Ани Идельс.

Тогда показывали страшный фильм, видимо, польский. В замке жил граф. К нему приехал в гости молодой по́ляк. Жена графа приходилась ему дальней родственницей, он влюбился в нее по фотографии. Он видел ее лицо в окне, и она разговаривала с ним певучим ангельским голосом. В фильме играла печальная и даже мрачная музыка. Пан молоденек хочет познакомиться с графинею. Граф всеми способами уклоняется. Следует решающее объяснение. Граф уступает. Они проходят роскошные, но мрачные комнаты. Наконец, они входят в последнюю дверь. Посреди алькова под балдахином лежит графиня. Она мертва, она забальзамирована специальным составом, сохраняющим ее красоту, и ею движет черный автомат. Встроенная трещотка извлекает звуки. Граф один затворяется в комнате и так проводит свои дни в беседах с покойницей. В ее очах померк свет, она мертва, она — как медуза. Граф торжествует, юноша бежит. Замок мрачный стоит в темноте. Коляска медленно отъезжает. Мне вспомнилась фотография Ани Идельс в виньетке — среди других — в подготовительной группе. Фильм шел как детский. Именно с него началась у меня эта ипохондрия.

У Дани был большой календарь с Чернымнегром. Мы перефотографировали его и хотели резать на маленькие календарики, чтобы потом продавать. Однажды мы боролись с Данею, катаясь по полу и бия друг друга головой об пол. Позже в одной книжке я прочитал, что примерно так боролся Амалек с Исраэлем.

В третьем классе фотографировались. Всех сделали в кружочках-виньетках с каллиграфическими подписями. Оказалось, что в классе два Иванова — я и Вадик, сделали также Тимофееву Лену и Тимофееву Таню — сестер-близняшек. В фотографии ошиблись — никакой Тани не было, получилась самая темная виньетка, самое белое, неузнаваемое лицо.

Однажды к нам пришли Лена Тимофеева с мамой, но почему-то остались у нас ночевать, хотя жили через дом. Лена вечером страшным шепотом зашептала: в полночь черти придут. Я сперва засмеялся, потом — забоялся.

В седьмом классе Лена вдруг стала Изаурой. Как раз тогда прошел телефильм. Она была красива, бледна, взгляд с поволокой. Но этого никто не замечал. Она была рабыней класса. Ей подыскивали Леонсио. Каждый норовил так назвать Лену, имитируя интонации поварихи. Убогая, жестокая игра. Но она требовала общего участия. Все должны были ругаться над именем Лены. Наверное, и сейчас девицы иногда вздыхают и вспоминают — Изаура.

У Януса также была такая игра. Только играли в нее на столе, различными фигурками, два или три человека, целый день и круглый год. Изаурой была глиняная бутылочка с грудками. Был и Тобиас-солдатик, и Леонсио — злобный слон с зубами. Действие происходило в загробном мире.

Даня все время что-то взрывал, ставил опыты. Он понимал в химии и физике. А в школе ему почему-то ставили три. Даня болел пневмонией, Даня занимался легкой атлетикой. Даня любил песню Канатоходец. Я тоже ходил на секцию легкой атлетики с элементами большого тенниса.

Все радовались тете Реме. У нее было черное платье с яркими цветами, доброе и загорелое лицо. Она была как темное облачко. Еще приезжал ее брат, дядя Марик. Потом я сочинил стишок о его посещении нас. Тетя Рема умерла от рака. В школе я написал стишок о торте-поленнице, нашем старом будильнике, шторах с бутылками и лимонами, о затылке бабушки и о посещении дяди Марика. Дядя Марик раскрыл чемодан. У него были подтяжки. Он напоминал полуостров. И все же он был муж-

чиной в нашей квартире. Его лиловые сосуды. Его тучность. Горе его было безутешно. Он брился. Он уже не был тем веселым дядей Мариком.

Будильник — поленница,
С каймой услоновленный
Времени пленница —
Жизнь остановлена
Шторы с лимонами
В синих бутылках,
Волосы — вороны
В складке затылка
В гости приехавший
Глиняным вечером
В стекла эхнувши
Солнце отсвечивает.

Лезвия «Балтика» радужка дужка
Темное время стало как юшка

4.

Мама сказала, что ее прозвали Гоголем, после того как она играла Гоголя в выпускном спектакле в Совгавани.

Я почти не помню бабушкиного голоса, а мамин голос, какой у нее был тогда, помню хорошо, потому что мама пела. Мама пела мне перед сном «Спи, младенец мой прекрасный» и «Спи, моя радость, усни».

Когда мне было пять или шесть, мама сказала, что Таня мне тетя, мамина родная сестра, а есть еще двоюродные и троюродные сестры и братья, а четвероюродных нет. Потом тетю стали звать просто Таня — так имя казалось больше и важно звучало. Потом все стали называться — мама Надя, тетя Таня, баба Маня, мамина мама. С нами был и деда Витя, он был на фотографии в военной картонной рамке — в черном кителе и с черными глазами, с белым лбом, лицом и блестящими пуговицами — он выглядывал из маленького окошка с Ладожского озера, темного, как чернильница «Царь-колокол» на мраморной подставке с позолоченной дужкой. На ней было написано МОСКВА — если приподнять колокол-крышку, то отделялся золотистый зубец, а на самом колоколе показывалась выбитая черная пещерка.

Вместе с дедой Витей появился и снова исчез деда Вена, мой прадед, — они были точно вставлены в один мнимый снимок — и оба они высекались об меня. Я вспоминаю бабушкины руки — их тонкую просвечивающую и смуглую кожу и темно-синие вены, как ленточки моряка и его татуировка, как темное небо, — о существовании артерий я узнал только классе в шестом. Я кусался. После этого кожа становилась пунцовой, багровой. Я кусался специально, чтобы посмотреть на следы зубов. Бабушка говорила: ты вспомнишь об этом, когда меня не будет. Позже я узнал, что Вена — город. Мой деда Вена.

Деда Витя, деда Вена и я — словно матросики — мужья матрешек.

Впервые я понял, что мама и тетя похожи, пусть не как две капли воды, — когда они вышли из дома в одинаковых сицевых костюмчиках — они их только что купили, надели в первый раз, — женские брюки и кофточки с поясами в мелкую клетку — как на вафлях, — у мамы — в синюю, у тети — красную, как кровяные тельца. У мамы — серые глаза, а у тети — карие, и волосы темно-русые. Это было в мае, еще до черемух и сирени, когда на время тонут все запахи, не слышны птичьи голоса, когда почки еще налиты, когда земля дает тук и бьет, как барабан, когда часы тают, как кусок сахара в стакане чая, это было через год после бабушкиной смерти, через год и один месяц. Мама и тетя похожи, как утро и вечер, как последний месяц зимы и первый месяц лета, как слониха и мамонтица, как Омь и Томь, как здесь и там, как сень и тень. У мамы — голубые глаза, а у тети — карие. В тот день мы печатали с сестрой фотографии двадцатилетней давности, на них получился старинный пикник, где тетя Галя отдыхает в лесу в компании веселых друзей и подруг.

Раз я проснулся ночью, была гроза. Синела и неслась туча. Луна была полная. «Большая» комната освещалась, когда пробегал автомобиль, словно шаркал. Я пошел по коридору. Мама и бабушка боролись в «маленькой» комнате, в ночных рубашках, как лунатики. Потом я заснул. Утром, а точнее вечером следующего дня я сказал маме: зачем ты бьешь бабушку? Мама возмущенно сказала-возразила, что мне это все приснилось.

Мама говорила, что у нее меццо-сопрано. Она и теперь поет очень высоко, тоненьким, ломающимся голоском. Когда она подражает певице, у меня сжимается сердце. Она тогда поет,

как маленькая девочка, которую позвали выступать перед гостями. Иногда голос словно пропадает. Мама любит петь «Темно-вишневую шаль». В детстве мы все пели «Крутится-вертится шар голубой» — мама, бабушка, тетя и я. Я представлял шар, размером с меня, небесного цвета. Мы подхватывали «что я влюблен!» и шли гулять. Я хотел петь басом. Хвастался, у меня баритон. Нам надо было бы выступать вместе. Только никто бы не узнавал песен, если бы не слова. Поешь так всем знакомую песню, а никто не понимает, о чем это ты поешь. И вдруг догадался, и давай смеяться.

От мамы я узнал про бас и баритон, от тети — про брасс и баттерфляй. В школе узнал, что бывает классическая и вольная борьба, в которой можно бить ниже пояса. Был такой борец, Понс, не тот, кто придумал азбуку. Но пловцы и борцы — те же глухонемые. Они глубоко дышат, особенно в па́ртере, и совершают головокружительные и сотрясательные броски. Пловцы ныряют с вышки. Тетя говорит, что у некоторых лопаются от этого барабанные перепонки и спинномозговой канал. Есть еще болевые приемы. Один раз мне показали такой. Я думал, буду терпеть. Пошли звездочки перед глазами, голова закружилась. У пловца только голова торчит из воды. Борцы же показывают свои телеса, под названием торс, один обязательно в красном, другой в синем комбинезоне. Еще смешно, что они выходят на маты в халатах. Только тапочек им не хватает. Я несколько туг на ухо, легок как перышко, а плаваю плохо.

В бабушкин день рожденья, 14 августа, солнце было темное, словно светило через кожицу яблока, сквозь бутылочное стеклышко. Бабушка надевала свое китайское платье, на котором были разноцветные камушки. Все ходили томные, словно после купания, поздравляли бабушку.

Окна Таниной квартиры казались маленькими из глубины комнаты. В них две сосны, стволы которых были торжественными и оранжевыми утром. На шкафу стояло прямоугольное зеркало. В нем — на верхней полке — морские звезды, кораллы, раковины и морские ежи, присланные дядей Эдиком. В стеклянном ларце, на четырех ножках, напоминавшем царский трон, с бархатной подушечкой внизу, хранились сломанные часы и украшения. Одна, две пары — за каждые десять лет. На нижней полке — стояла большая книга «Cicatrix optima». На ней рука со скальпелем рассекала рану, в форме ласточки. Еще стояли «Ортопедия и травматология», «Атлас анатомии человека», Большая медицинская энциклопедия и «Канон врачебной нау-

ки». В стеллаже, который дядя Алик сделал лесенкой, были книги «Дюрер и его эпоха», «Tout Paris» и «Борьба за моря». В этих книжках, на темных репродукциях я впервые увидал нагих Адама и Еву, Давида, Куроса, Венеру перед зеркалом, скелеты, нищих, дьявола, смерть и всадника, инфанту Маргариту, брак в Кане, союз земли и воды и распятие. Девочка Рената объясняла. Мы увидали Святого Себастьяна, который был привязан к дереву в повязке, деревянные стрелы пронзали ноги, руки и живот, из-под них сочилась кровь — были нарисованы кровоподтеки. Вокруг были изображены лучники и сумрачные бородатые мужчины в шапках. Себастьян выкатил глаза и почему-то странно улыбался, как женщина. «Ишь, смешно ему, лыбится...» — сказала Рената. Увидев картинку «Оплакивание Христа», я спросил: «а кто такой Христ?». Рената засмеялась и сказала: «не Христ, а Христос», — и показала свой крестик. Потом мне сказали, что это человек, которого не было, которого выдумали. Потом я увидел страшные картины: «Христос во гробе», эта длинная и узкая, и «Мертвый Христос», эта высокая. У него были страшно проколоты кисти рук и ступни. Они были прибиты к доскам гвоздьми. Себастьян не казался страшным, был даже веселым. В картинках этих что-то маячило, сейчас я даже сказал бы, что на меня кто-то глядел, не с них, а неизвестно откуда-то сбоку. А тут я сейчас же представил, как это — пробить руки и ступни гвоздем. Потом на Пасху красили яйца луковой шелухой, говорили Христос Воскресе, но я не думал, что это тот же Христос, из альбомов, и не понимал, что значит «воскресе». Через несколько лет представился случай — я бежал по забору хоккейной коробки, прыгнул и пробил гвоздем ступню, прямо в самом центре, но не насквозь. Это было в День радио, 7 мая в злосчастном для меня 1989 году.

Вскоре после польского фильма зеркало разбилось. Стали говорить о плохих приметах: о падении ножа и вилки — придут гость или гостья, черная кошка перебежала дорожку. Не ешь с ножа, злой будешь. Плохо было рассыпать соль. Но хуже всего было зеркало. С ужасом стал ждать несчастья, пытался высчитать, чтобы бабушке было больше лет. Затем добавились и другие приметы.

Рассказ о тетином парикмахерском искусстве. Однажды тетя решила постричь бабушку. И случайно отстригла ей кусочек уха. А потом сама пришивала. У всех Марусиных очень длинные, как вареники, уши причудливых цветов — пунцовые, виноградные, древесные, твердые, как пемза, и даже напоминаю-

щие медяные пяточки, перепончатые. В них слышался шум ночных летучих мышей и их писк. Они казались как древние материковые части суши, выплывшие из моря. У бабушки Мани были черные, как крыло ворона, волосы, а на затылке ямка — уступ. Когда я впервые обрил голову, выяснилось, что такая же есть и у меня. Деда Витя был совершенно лысым, как многие люди сороковых годов. На нескольких фотографиях он курит папиросу. Кажется, он умел перекидывать ее из одного угла рта в другой.

Когда дядя Боря был во Франции на празднике самолетов, на воздушном параде, ночью ему в гостинице приснилась мама его. Они были с ней в каком-то магазине. На ней было новое пальто, по-моему, синее, какое она носила раньше, когда дядя Боря был еще маленьким, в пятидесятые годы. Она позвала его по имени и вышла на улицу. Он выбежал за ней, но никого уже не было, темная ночь. Он проснулся, оттого, что зазвонил телефон. Баба Валя умерла той ночью, в Красноярске, на руках у его сестры, тети Наташи.

Дядя Боря говорит, что его тайком крестила бабушка, пока родители были на работе, а скорее всего, решили закрыть на это глаза. У каждого человека есть ангел-хранитель, говорит дядя Боря. Вот два случая его вмешательства. Дядя Боря шел по мосту через Енисей, который тогда был на ремонте. Он смотрел вперед на сопки, на острова и на Чертов палец, который видно было с моста. Он мечтательно смотрел на амфитеатр, в котором расположен город. Вдруг внезапно он остановился, как вкопанный, словно кто-то упредил его. Оказалось, что он был в шаге от провала, где еще не положили бетон. В квадратной впадине была видна вода, плотная как плащаница, светлая от близкого дна. Глубина здесь была два метра, а высота — все сорок.

Второй случай произошел с ним еще в школе. Времена тогда были не те, что потом, у каждого мальчика был ножик, из тех, что делали зэки. Дядя Боря вбегал в класс. И вдруг остановился. У самого уха просвистела финка и воткнулась прямо в центр черной доски, спружинив. Ведь я сам не знал, почему я остановился, говорит дядя Боря. Эта минута, как солнце, падающая сквозь стекла в зимний пребывающий день и затопляющая вмиг всю комнату своим белым, как масло, светом, замерла, так, уже неслышное, бьется сердце, и словно кто-то ласковое ему говорит, и слова повисают на волоске.

Баба Валя — сестра деды Вити. В молодости, говорят, она была красавицей, как великопольская княжна. Хотя в нашем

роду и не было пóляков. Я и сам это видел, даже старушкой она была красивой, с голубыми глазами и родинкой. Сохранился ее портрет, нарисованный карандашом уличным художником в Баку, куда она ездила на встречу с дедой Алешей, которого гнали тогда этапом. Она была красива, как Севастополь.

У дяди Бори Трофимова есть две племянницы, Женя и Маша. Все они не выговаривают «эр», картавят как три китайских поразному западающих колокольчика. Женя — рыжая, с веснушками и синеглазая. Маша, несмотря на теперешние моды, выглядит как польская ее величество королева. Ее красота спокойная, она живет как будто во сне, как в фильме «Волшебная лампа Аладдина». Женя — врач, ЛОР. Когда они собираются в кружок и к ним присоединяется Янус, Женя очень забавно рассказывает: «у нас в больнице г`аботают ог`ни евг`еи», так, что «д» также превращается в соседнюю «г`». Еще многие жители Красноярска говорят почему-то «асвальд». Вспоминается при этом портрет Освальда, убийцы JFK, он глядит немного похоже на деду Алешу, также лысого, кареглазого, как будто на эфиопской закоптившейся иконе, похоже на Роберта из фильма «Прощай, шпана замоскворецкая». Дядя Боря любит рассказывать о чудесах мира. Он говорит о них как о научно установленных фактах. Например, в семидесятые годы жила женщина, которая в пятьдесят лет неожиданно помолодела и стала выглядеть моложе своей дочери, подобно тому, как пробуждается румянец на щеках Ии Петровны, когда она выпьет кагору. Врачи стали наблюдать эту женщину, и вскоре она опять постарела, и быстро после этого скоропостижно скончалась. Еще дядя Боря рассказывает, что в случае приближающегося землетрясения термитная матка телепортируется в другую нору. Когда дядя Боря упал в расщелину одного из диких Столбов, после того как оборвался ненадежный «карман», его крик услышал только юноша по имени Катя-Митя, так его звали, странный он был, позвал помощь, и дядю Борю вытащили из расщелины, когда ноги его уже затекли и посинели.

В детстве два слова особенно пугали меня: скрупулезно и скропостижно. Рядом с ними стояли слова близорукость и дальнозоркость. Еще была песенка у Чайковского: «Слезная жалоба». Мне казалось, что бабушка скрупулезно перебирает манную крупу; похоже, я понимал это несколько скропостижно. У бабушки Мани была близорукость минус четырнадцать. Тогда же я узнал о глаукоме и катаракте, то были страшные слова, они как пауки и пиявки нависали над жизнию бабушки. Скро-

постижно звучало по телевизору «Рекорд», когда диктор восклицал о кончине Константина Устиновича Черненко. Помню, в Доме офицеров висел огромный портрет в черной рамке, было днем очень темно, как ночью. Мы томились, было страшно.

Тетя любит петь песню «Летят перелетные птицы». Когда она доходит до места «не нужен мне берег турецкий», то сама напоминает маленького турчонка. Когда она говорила «не нужно мне солнце чужое, и Африка мне не нужна», то я уже не мог думать ни о чем, кроме Африки, а сама тетя превращалась в эфиопку. Мы узнавали об Африке из доктора Айболита. Туда можно было только лететь. Или вернуться с Голодного Мыса. Потом оказалось, что и Пушкин был африканцем. Мне представлялось затмение солнца, шаровая молния и баба Аня, которая курила табак.

5.

Теперь, вспоминая о человеке, идут и ставят о нем свечку. Я же, когда закуриваю старую или высохшую сигарету, то вспоминаю и слабый запах маминых духов, и гвоздики, что по полгода стояли в нашем шкафу, темнея, как кровь на солнце, в своих красных чалмах, превращаясь в маленького турецкого мука, и тетю Нюру (бабу Аню), которая была ростом с бушмена, тонкую, как папиросная бумага, и тетю Галю, и моего друга Филиппа. Он немного походит на мою тетю смуглым своим лицом, томностью и скорбным взглядом. И у него и у меня были бабушки, которых мы звали тетя Галя, а у него даже — тетя Галли. Филипп говорит, что он по происхождению своему итальянец, а прадед его, Перозио, сотрудничал в журнале с Лесковым. В другом рассказе сей фантаст возводил свой род к маршалу Даву. Бабушка и покойный дед его, как и мои, — по профессии геологи, и работали в свое время в СНИИГИМСе, похожем на эскимо, что возле магазина «Снежок».

Тетя Галли жила недалеко от стоквартирного дома, в нем еще был старинный с дверцами лифт, как и в доме на Коммунистической. В ее квартире узнал я и наш холодильник «Мир», белый, как ванна, как хата, и похожий на космический скафандр, с длинным рычагом; и плиту «Лысьва», и старинный телевизор, кинескоп которого напоминал негатив. Только книги у нее были другие: она знала по-французски и по-немецки, выписывала «Монд», пользовалась старинной грамматикой и читала Гете — маленькую книжицу, где буквы были с булавочную головку,

набраны готическим шрифтом. Сама тетя Галли немного напомнила мне Вуди Аллена в старости. У нее на носу были роговые очки с толстыми минусовыми стеклами. Она сама была маленькая, как в телевизоре, который мы с Филиппом и его отцом тогда выносили во двор. Филипп часто ходил к ней, и они беседовали, над «Русскою мыслью», на разные философические предметы. Уже после ее смерти мы часто собирались с Филиппом, Умбрашкой и Пашей Розановым, сидели за круглым столом, играли в карты на перфокарты вместо денег, пили водку и вино, как будто прислушиваясь, словно холод бряцал по ушам, что вкруг влюбленных ночью ходит, смотрели на старые мучнистые перины. Квартира промерзала до мозга и костей, в ней возвышался белый холодильник и треугольные подушки, она напоминала пожелтевшую страницу какой-то кожистой и когтистой книги, наш зрачок бегал, как негатив сиамского кота Дыма. Казалось, что кто-то дует хладно, меряя взглядом ровность нашего стола. Казалось, что кто-то просеивает в нас вкрапления золота и металлов. Казалось, что это не мы, а наши предки отправились делать рентген.

Филипп в действительности напоминал еврейского принца, итальянского купца, но без всякой мартышечьей жестикуляции. Всегда, как я его вижу, мне кажется, что отец Александров начал мушиную беготню и танец. Казалось, он преуспел в разного рода спекуляциях, так что относился ко мне как зеркало к солнечному зайцу. Его бабушку зовут R., она известный геолог и работала еще с Канторовичем. Дедушка утонул в конце сороковых годов, но вспоминали об этом, намекая, словно его убили, словно он пал от рук уголовников или наемников царской охранки. На темном портрете он напоминает шахматиста и музыканта Чеховера. От него осталось два трофейных мелкокалиберных ружья, из которых хотел застрелиться Филипп. В детстве я очень любил рассказ Толстого, потому, когда я однажды увидел Филиппа, огромного, высокого, как Маяковский, и нелюдимого, я захотел познакомиться с ним. Я был на класс старше; возможно, от этого мне и удалось завязать с ним знакомство. Все шарахались от меня, считалось, что я не в себе, что у меня не все дома, или что я не от мира сего, уж не знаю. Я был одинок до последней степени в новой школе, и походил на нервозного петуха, и дрожал куриной побежкой. Обо мне потом говорили — реликтовый мальчик. Узнав, что я пишу стихи, прикрываясь псевдонимом Семен Нелыжник, Филипп протянул мне руку, шагнул и сказал — Филипп. Филипп был черноголов,

у него были иссиня-черные волосы, как у Жиля де Реца, из тех, что режет Танат. Еще Филипп напоминал несколько Жанку из соседнего дома, цыганскую девочку, но только был при этом красив. У Жанки была болонка, которая меня укусила, и мне хотели делать сорок уколов. У Филиппа — белый кот Рамзес, но он появился позднее. Мне и в девятнадцать лет давали тринадцать. У меня тогда были густые волосы до плеч. Это потом они стали выпадать, как у Леши Чернинского, который все больше напоминает Ленина, но об этом в своем месте. Оба мы были девственниками, во всяком случае, тогда. Наша дружба была жалостной и яростной, как португальские письма, написанные птичьей лапкой. Филипп тогда уже читал Макьявелли и писал роман о жизни Наполеона. У него была своя пери — прекрасная татарочка, достойная имени Венеры, хмель и полумесяц. Филипп носил тогда католический крест, свинцовый. Ему мнилось, что в случае прегрешения у него заболит голова. Он был крещен и по православному обряду. Наши окна словно находились в разных крылах интерната. Если бы мы пели в церковном хоре, меня бы ставили наверх, где темнее.

На любой из классных фотокарточек можно найти мальчика или девочку, что смотрят несколько вбок, словно передернутые, и, кажется, готовы соскользнуть со своего места еще до того, как «вылетит птичка». Вместе с тем их поза — сама неподвижность, само постоянство и даже оцепенение, — что-то словно приковывает их к своему месту, как дудочка змей. Нечто спектакулярное, что не может ускользнуть от внимательного зрителя. Нечто, что вдруг померещится при беглом кошачьем взгляде. Нечто воровское, бегающие глазки всеобщей фотографии. Взгляд невольно падает на страницу, и вы смотрите на былинку, и вдруг клавиша, которую ловишь пальцем, западает, и в зрачок попадает уже на десять раз прочитанная непонятная буква «а» или «я». Вы в ловушке, и не видите уже ни одного лица, только их спинки, только их булавочные коготки и крупу, и некоторое время не можете вернуть зрение, ловя четыре предмета, по два на каждое око. Этот ребенок неизбежно себя выдает. Такой мальчик или девочка, с полузакрытыми глазами — либо самый красивый, либо увечный. Красивый — лишь среди тупоносых, длинноухих, лобастых, зубатых, с раздвоенной губой, которые только похожи на мальчиков и девочек, болезных и сердобольно комических, красивый — пожалуй, но все же косенький, но с неприметным лицом. Увечный уродец, да — но одной лишь маленькой черточкой, шрамом длиной в стежок,

некрасивый, страшный мальчик, печальный среди ангельских детей, как на пасхальных открытках. Мальчик-зимородок. Два таких мальчика, Филипп и я, подружились.

6.

В девятом классе все вдруг стали чинно здороваться, курить. В восемь утра перед химией. Химию вела тогда молодая женщина, видимо, из студенток, рыжеволосая, бледная, тонкогубая, беременная. Ее живот приходился как раз над кафедрой, продолговатой и с синими знаками таблицы Менделеева. Прямо на уроке пели: «химия, химия, вся залупа синяя». На рассвете крашеные, но изрезанные парты особенно синелись. Из ручек сочились медленно чернила. Ручки сохли, текли, замерзали. Мы их грели, потерев и подув. Учительница ходила словно с термометром под мышкой. В памяти запечатлелись только ее лицо и живот под легким платьем. На задних партах сидели в кепках, лущили семячко, бросали лакомые и полусонные взоры. Однажды у нее начался легочный кашель с кровью, как на лакмусовой бумажке. Фамилия ее была Заволынкова.

Алгебру и геометрию вела Тамара Валентиновна. У нее на голове были кудряшки, черты лица тонкие, взгляд острился, небольшая морщинка меж бровей. Она глядела несколько холодно. Маленькая женщина, горбатенька. Но через несколько недель о горбе забывали. Горб, вкупе с пронзительным голосом, внушал страх всем, даже дебильные погодки как-то опасливо смотрели на нее. Она ввела новые методы, и так мы стали заниматься по системе Плашке. Был начертан график плашки. Класс не справлялся. На первом уроке попытались с А. Кичигиным сыграть в «виселицу», но были пойманы с поличным. Тамара Валентиновна познакомилась с мамой. Они оказались похожи, как две сестры, вернее, она напоминала молодую маму с отглянцованных и несколько кареватых «сиамских» снимков. Только у Тамары Валентиновны был горб. У нее оказался мелодичный голос, и она посвятилась в тайну моего непочтения с мамой. Меня вызывали к доске, чтобы я решал задачу. Пока я отворачивался, чтобы писать, начинали смеяться. Я оборачивался и, никого не видя, говорил, чувствуя, что краснею, как луковая шелуха на Пасху. Смеялись надо мной. Все взгляды сосредоточивались на мне. В один из таких разов я увидал друга ситного. И сам засмеялся. Позднее я научился «вызывать» смех. Тамара Валентиновна не выдала меня с мамой. Друг Ситный по-

являлся, когда все видели меня, а я — всех и никого в отдельности, только золотистый песочек, то ли на дне глаза, то ли на дальней стене. Тамара Валентиновна была ростом почти с меня. Я был немножко влюблен в нее.

Литературу и русский язык вела Галина Александровна, статная, как поп, дама, напоминавшая Лейбница. Но звали ее все «болонкой». Она носила платье, темно-синее, как шторы, которыми завешивали окна для просмотра диафильмов. Фамилия ее была Вдовина. С ней мы вслух читали «Мертвые души», в глазах казался песок, потом пересказывали вслед. Во рту также была сухость. Иногда платье ее напоминало звездное небо. Именно у нее на уроках я начал смотреть в темное зимнее окно, задумывался, — а о чем — не смог бы вспомнить и повторить, словно спал наяву, и на вопросы отвечать отказывался. В связи с ней вспоминается фотография на могилке Сироты Розы, где она словно под вуалью, с мушкой на щеке, и больше похожа не на розу, а на жабу. Морщинки в углах глаз поблекли, глядит печально, как на завядшие цветы. Она преподавала русский язык и литературу. Нужно было постоянно смотреть на нее, причем рассмотреть всю Галину Александровну сразу было нельзя.

Перминова Т. И. вела физкультуру, была добрая и напоминала паренька. Научила бегать: среднюю дистанцию я пробегал лучше всех. Я обычно начинал еле-еле, но к середине обгонял. Первого боялся обгонять, потом можно получить, а все равно обгонял. Бегали вокруг своего жилмассива. Я поразился однажды быстроте ног Панки. Я мелкими шажками, как моросящий дождик, обошел сторонкой всех, и Панку — на семь подъездов. Оставалось шагов двадцать. Побежал, как будто ноги в подоле. Вдруг вздрагиваю, неожиданно обернувшись — Панка здесь, кожа красная с белыми пятнами, рот открыт, руками машет. Я — от него. Пришли ровно, в один шаг. Убежал, спасся. Панов носил красную рубашку, на которой галстука было почти не видно. После каждого урока проверял на мне свои кулачищи. Ограничивалось одним ударом, в урочный час. До Т. И. был другой физрук, со спины похожий на Пьера Ришара, только черный, кудлатый, как Артемон, и словно не волосы, а парик, и лицо как у собаки-алкоголика. Сперва зимой катался с нами на горке, которая уходила в овраг. Я съехал на санках, наскочил грудью на камень, размером с горб, думал, пробил грудную клетку. Бичуня разъезжал на самодельных, финских, зековских санках, падал вниз головой по склону над трамплинами, мимо торчащих камней. Овраг падал от школы тремя ямами, последнюю не бы-

ло даже видно, как в сильный туман. Физрук подбежал, поднял меня, отвел в школу. Через месяц перестал таиться. Ставил всех по росту, говорил, на первый-второй. Каждого, кто выходил из строя, пинал по жопе, стоя лицом к нему, словно клюшкой. Разок пнул и меня. Получилось что-то вроде шлепка. В глазах заблестело, как от стыдного, воздуху набрал — оскорбление. На втором занятии мальчики стали пинать его. Водили к директору. Поняли — садист. Выгнали из школы. Ушел работать то ли на стадион, то ли в зоосад. Раз на Мичурина, где трамвай, видал его — черная фигура, смотрит исподлобья, голову в плечи втянул, думаю, меня ищет. Бежал, кажется, не заметил или только взглядом меня проводил. Помню его: тонкие ноги в черном трико, черный дым волос, нелепая голова, телосложения никакого, одно вычитание, лицо — лисий скальп, «взгляд убийцы». Он был не похож ни на Даню, ни на тетю Рему, жалкий, нищий, кривой, о таких говорят, горбатого могила исправит, словно вышедший из местечка в Катовицах.

а в нашей школе тогда был спортзал
в него пять мышей забилось
а наш физрук все время икал
и склонность одна разви́лась

у нашего с тобой физрука
или это только казалось
что наш физрук все время икал
или таскал нас за волосы

Трудовики. Кабинет труда — большой, на первом этаже — там — токарный и фрезерный станки 40-х годов. Сергей Дмитриевич, кудрявый, с усиками, хитрый, сделал новые столы, стал заниматься, учил делать подсвечники. Под его руководством выдолбил деревянную чернильницу, как у Ленина, когда тот писал молоком. Сделал подсвечник с двумя подставками, больше похожий на песочные часы. Сергея Дмитриевича все любили, жаловались ему. Сергей Дмитриевич недолго у нас пробыл. Пришел на смену Эдуард Юльевич, рыжий, весь в веснушках, толстенький. С ним — что-то клеили. За ним — Али Абдулкадирович, узбекского племени, злой. Про него говорили — в школе вон какой смелый, а в магазине, на улице — шуганый. На труде был такой эпизод. Сидим. Былым обращается ко мне: что ты потеешь? Я говорю — я не потею. Кисель повторяет вопрос. От-

вечаю. Усочка повторяет вопрос. Вопрос задается до бесконечности. Наконец отвечаю: не знаю, ибо вопроса не понимаю. Смех. Не знает, что потеет. Что ты потеешь, ты не потей!

Немка Галина Степановна, бывшая директор детского сада «Серебряное копытце». Глухой, сдавленный, как из репродуктора, голос, рыжие волосы и веснушки, острый нос. В маленьком кабинете немецкого были сломанные, закрашенные лингафонные аппараты, карточки с буквами. В учебнике на маленьких фотографиях были фото рта, осклабленного или с губами в ниточку. Казалось, что с листа бумаги с вами пытается говорить мертвец. Нужно было за ним повторять, как обезьяна, а кричать при этом по-петушьи вслед за немкой. Английский больше напоминал птичник, клетку с попугаями. Продолжение рта можно было встретить в кабинете биологии, на схемах человека.

Однажды на биологии речь зашла о внутренних кровотечениях. Была духота, парты недавно покрасили. Я взглянул на фиолетовые жилки. Мне вдруг показалось, что кровотечение открылось и у меня. Внутренности свело, я повалился, кажется, на левый бок. Очнулся лежащим под партой. До меня донесся голос: Витька потерялся! Все были очень удивлены. Я живо почувствовал ход крови по сосудам и ровное дыхание. Слепое тело, спокойное, как солнечная лужайка, только без головы. Затем перед глазами замелькали жилки, пузырьки. Ходил потом с фиолетовым ухом. Это был уже второй обморок.

Вскоре заболел. Началось с температуры. Наутро попытался оторвать голову от подушки. Потолок закрутился, тело словно перевернулось и начало переливаться свинцом. Пространство стало сплошным, как жидкая ртуть, оказалось, что в нем нет переходов. Лег на подушку. Пролежал так две недели.

Директриса Любовь Дементьевна. Отчество ее означает «безумный». Все были ужасно запуганы ею. Говорили, что перед ней нужно было стоять на коленях. Угроза вызова в кабинет заставляла детей замолкнуть и проглотить языки. Возле этой страшной двери стояла поилка-фонтанчик. Он пересох даже. Позже, когда Любовь Дементьевну разжаловали в учителя истории, все ужасно над ней издевались.

Я пишу правой рукой, а могу и левой. Только не знаю, какая рука у меня правая, а какая левая, поскольку меня переучивали.

Школа — огромное четырехэтажное здание, землистое и шероховатое, покрытое красным кровельным железом. Она была построена задолго до всех домов, которые окружали ее, как раболепные пятилетки. Здание напоминало замок. Две парадные

лестницы, высокие портики подъездов, садик, окруженный булавочным заборчиком. В боковом ответвлении на первом этаже жила семья сторожа и уборщицы-алкоголички, ее цыганистые дети бегали подле. Окно сторожа горело в иссиня-темные морозные ночи. Прежде в здании располагался военный госпиталь. На койках стонали, кричали, умирали раненые. В белых балахонах и колпаках ходили врачи. Нянечки носили судна. Дух спиртуоза и юшки витал еще долго в лаборантских, где в застекленных шкафах стояли разнообразные вертушки, котлы, секстанты, приборы, о которых можно прочесть в «Занимательной физике» и «Живой математике» Перельмана. Лягушки, пролежавшие в формалине не один десяток лет, живо напоминали маринованные отрубленные пальцы и сердечные сумки. На четвертом этаже штукатурка осыпалась метровыми лоскутами, видна была деревянная сетка. По чердаку ходить было опасно — можно было провалиться и упасть на стол неизвестно какого класса. Накатанные дощатые полы, широкие перила, кое-где разобранные, так что можно было набить себе копчик, соскользнув по гладкой их поверхности. Холодные туалеты с красным полом и белыми отдельными чашами унитазов, без кабинок и перегородок. Их блеск наводил на меня дремотное оцепенение и долгую задумчивость, а после того, как неловким и поспешным движением наконец удавалось расстегнуть ширинку, меня охватывал панический страх, бежать, пока не застали, пока кто-то одетый не увидал меня нагого. Страх, не совсем лишенный основания: уборная часто становилась местом мщения. В ней мечтательность и опасность впивались друг в друга, спаивались в одном воображаемом онемевшем бритом наголо теле, а любое произнесенное слово заставляло подернуться нервным тиком. До школы было ходу 27 секунд, чуть дольше, чем крови обежать все сосуды.

В соседнем подъезде жил Костя-скрыпач, мать его работала аптекарем тут же. Костя был смирным, и милым, и замкнутым мальчиком, он перенес перелом позвоночника, и все его жалели. Он был на десять лет меня старше, и когда я поступил в первый класс, он учился уже в последнем. В школе с ним произошла разительная перемена. Он страшно меня мучил, угрожая булавкой, и заставлял каяться в грехах. Он вырастал передо мной, и напоминал качающийся скелет, костяшки его скрипели и пели, а насмешливые глаза фосфоресцировали. Он монотонно повторял одну и ту же фразу, бывшую поводом для битья и иглоукалывания. Он будто не видел меня, разговаривая сам с собой.

7.

Все помоет, все потрет,
Любит чистоту Енот.
А когда работу кончит,
Про улыбку нам споет,
Он во сне увидит кончик
Носа, если кто помрет,
А когда глаза протрет
И посмотрит на портрет.

Л. Манилова

Стихи с детской открытки, на ней — разноцветный енот с тряпочкой и двумя слезинками, как будто плакал, а потом умолк.

Вася Енот — сын Моти Енота. Горбоносый и, как говорят чревовещатели, хитрожопый. Когда он говорил, то немного побрызгивал слюною и подхихикивал. Казалось, что у него западал язычок, пропадал голосок. Высокоумие и надменность меж тем не сходили с его чела. На солнце его лицо казалось пропитанным одеколоном. В Риме он был бы греческим рабом. Его намеки были удивительно наукоемкими. По его словам, он в один день шесть раз рисковал жизнью, шагая по горной осыпи выше тропы, выше гольцов, и в голове его играл домбайский вальс. Помню его колыхающееся от ветра синее тело, медленно уходящее по склону вверх, полыхающее, как парус, вздутое. Позже он сделался скалолазом, так что мы не успели и моргнуть глазом. В среде украинцев мало верили его словам, как будто бы он рассказывал под сурдинку, думая про себя: мы с тобой одной крови, но я очень умный, а ты — маленький брат. Впрочем, Трехглазый заикался еще больше, даже после того, как сменил фамилию на Красивова-Копперштифа.

Некогда на улице Перышковой чуть далее ул. Правды
жил в полуподвале кудрявый колючий такой
синеглазый Вася Енот
влюбленный в москвичку Юлию
стройненькую как греческая буква лямбда
с талией круглой и ножками-ножиками быстрыми как домино
А она бегала от него и смотрела как негр на белого
Васе не понравилось это до того по его мнению офигела она

Вася Енот никак не поймет
что зря он стоит на вокзале
Вася Енот ботинок ой жмет
словно бы звук назальный

Вася Енот машинка поет
он по кайме шьет глазами
мысль обоймет словно киот
блазнится даль в бальзаме

Вася Енот станцуем гавот
ты как печенье миндальный
Цедит поет мушиный народ
Юлия ты моя пальма

За стенкой тетиной квартиры жил сосед, и однажды тетя очень удивилась, гуляя зимним утром с собачкой, увидев его в одних трусах. Раньше из-за ковра раздавались хоралы, и все это напоминало черную мессу. Но потом стало по-другому:

раз из-за стенки слышится ночью тоненький голосок окуджавы
наверное самую лучшую... звук тонет пока я дремлю на крова... стороне
стою я и песенку слушаю... вдруг грохот тела упавшего на пол удары ботинок и глоточный рев словно язык из резины для замыкания мыка и гул проводов ты пидорас...
она шевельнулась во мне... ты пидорас... все поет и поет окуджава
подушечка пальцев иголку осторожно с пластинки снимает
и словно со мною говорит

Кричал один из сынов ученого математика, или оба сразу. Математик еще помнит таблицу и ходит утром читать лекцию. Младшего сына зовут Мотею, и раз сосед даже принял меня за него, глядя в свои очки на резиночке с толстыми стеклами. Мотя носит длиннополые пальто, плащи и белый шарф. Лицо его кругло и в детстве всегда мне напоминало кого-то, хотя и было уж больно спокойным. Теперь я отчетливо вижу, что он женоподобен, и белизна его лица в обрамлении длинных черных прямых волос выдает признаки дебилизма. Он одевается как франт, работает грузчиком в «мебельном», хотя в больнице, где он лежал со сломанной ключицей, всем рассказывал, что играл в джаз-банде у Толкачева.

С заливистым ржаньем по лугу скакать
Любил озорной жеребенок.
Хотели того жеребенка взнуздать,
Но видят, что он же ребенок!

Филипп родился 19 июля. В этот день я взбирался к красноярской часовне, которую изображают на пятирублевках, напившись, чтобы отметить, как следует, день рождения Маяковского. Когда я взобрался, то с удивлением и ужасом обнаружил, что это часовня Пятницы Параскевы. Только этот образок я согласился бы носить на груди.

Один раз я пришел в гости к его отцу и сразу понял, что здесь находятся диссиденты. Отец — с бородой как у Буонарроти — сидел на диване в одних трусах и ел салат. Филипп рассказывал о нем как о большом мудреце. Потом мы слушали его по радио, где он выступал с ответами на вопросы радиослушателей о размене квартир и различных тяжбах.

Филиппу постоянно мнились потусторонние предметы. Он смотрел могилою, дышал болотными испарениями и любовался болотными огоньками, как в ночь накануне Ивана Купала, он готов был принять одеколон «Ландыш» за знак того, что он уже дышит на ладан. У его отца была привычка спать на спине, натягивать простынь до подбородка и складывать руки на груди, не подозревая, что все это напоминает кому-то возду́х и саван. Филипп поступал согласно пифагорейской заповеди, разглаживая утром каждую складочку на своей постеле. Когда он просовывал голову сквозь спинку стула, то ему грезился нож гильотины. Он писал:

И гильотины нож сорвется
И голова моя сорвется
И будет схвачена рукой
И кровь моя помост омоет
И труп подхваченный толпою
Падет под неумолчный вой
Падет раздавленный толпой.

Размышляя о государе, о монархической системе правления и о зрелище казни, в котором царь также грезит об усекновении главы, Филипп (красивый) думал и о своем любимом теле, и о забальзамированном теле вождя, спящего, как кроткий ребенок. В нем шла борьба смерти и смерда, разговор о плодах смерти и ядах:

Смерд во мне свердящий запах тлена
Сон некрепкий прекратит
Смерд — неведомы потери
Смерть — твой плод меня крепит
Ну куда мне без ее закваски
...
вождь не изгнан загнал в у-гол
наг.

Его тело, темное, как кормление кровью голубки, новое подвенечное платье короля, составленное из дорогих квасцов и чудодейственных микстур, — вот настоящий бальзам для моего сердца. Позже я вспомнил о глаголе «крепит» в медицинском смысле и рассмеялся, история о великом короле-копрофаге, который смотрит сквозь пальцы и играет в жмурки, пришла мне на ум.

Маленький шрам над верхней губой казался ему божьей отметиной, клеймом, черной меткой. Он ходил тогда и повторял вслух стихотворение Лермонтова: «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою», и в разреженном мыслимом пространстве два этих факта вошли в резонанс и поймались на крючок любовного увлечения, сочетавшись браком. Филипп записал стихотворение:

Нам холод бряцал по ушам
Что вкруг влюбленных ночью ходит
И только досаждал мне шрам
Я знал он мне лицо уродит
...
Нож вверх взлетал и падал вниз
А снизу раздавались стоны
Твой труп в моих руках повис
А сквозь туман сквозил холодный лик Мадонны.

Маленький квазимодо-мошенник, он думал, что Богородица хочет человеческого жертвоприношения!

Где бы мне найти тихонькое-спокойненькое место
Где я мог бы тихонечко примоститься
Где бы я сделал такое-такое
В замечательных тишине и покое
И страдания и огорчения где бы
Я мог бы обоснованно успокоить

Ибо к чему все такие страданья
Когда есть песни и небо
К чему оправданье покою

И в небо невод я мог бы закинуть-закинуть
Закинуть и вытянуть рыбку
Такими всякими золотыми штучками блестящую на солнце
И тихо я рад был бы чуду
Ребенок не знающий Бога отдал бы свободу
Три дня бы скитался я в море в плохую погоду
И волю и волю отдал бы к чему оправданье покою

Это прекрасное стихотворение было однажды прочитано Филиппом на публике. Оно было записано в двух углах листка и называлось «визуальным». Зрители сощурились, но и сквозь пенсне было трудно что-либо разглядеть, все равно, что смотреть на солнце. Частые бессонницы, трудное употребление пищи вскользь сыграли на первом четверостишии, это может кого-нибудь насмешить, но и смех в некотором роде возникает от трения легких о желудок и пищевод. Получилось настоящее чревовещательное стихотворение, в котором слышен писк пищи и небесные коловращения. Обращение к Пушкину между тем не дает до конца отвлечься от страданий собственного тела. Еще не произошло встречи между больным и врачевателем, которые говорят друг с другом, как вечерня разнится с заутреней. Тело короля города Винограда будет другим, оно будет пасхальным, прозрачным, благоухающим, сомлевшим, оно будет праздным, таким, как впервые привиделось мне в чертоге чертова колеса, тело друга Ситного, к которому меня приведут «гусиные лапки», «раковые шейки», «дамские пальчики», воротник из «чернобурки», «чернослив» и флоксы.

Впервые я испытал опьянение флоксами так. Я решил их курить. Сделал себе трубочку из маминых бигуди и крюка от плечиков, куда набил эти цветочки и ими дышал. В голове закружилось, небо стало сперва ярким, а потом померкло. Я стал цветошным, и меня можно было сорвать.

Филипп долгое время был моим исповедником, сотрапезником, собутыльником и конфидентом. Его страсть к Жилю де Рецу была тем более заразительной, что позже мы познакомились с человеком по фамилии Рец, и я все больше думал о себе как о Жанне, только несколько скукоженно — как о старой деве, выступающей на публике. Знакомая рассказала мне по телефону о том, как один девятиклассник посвятил другому стихо-

творение, в котором воспел синие зеркальные ногти своего друга и писал о том, что его волосы вдруг сделались ломкими, как ноготки. Ей, словно старухе какой, такие рассказы напоминают о тех петушках, что некогда ее щекотали. Я и Филипп были довольно далеки от этого. Вдвоем мы пытались прогнать печальные мысли, ловили длинную паутинку, никогда не заглядывали в ладони друг другу, никогда друг другу в рот не смотрели, даже ни разу не поцеловались.

Однажды Филиппа, черноголового, одетого в белые одежды, вынесли ученики одиннадцатого класса, вынесли на руках около 12-го часа. Это было настоящее торжество — в школе, где некогда директор Ничман брил волосатиков в туалетах, прижимая их головой к полу. Неужели я буду старой девой, что вечно ждет тебя, жиголо и обманщик? Неужели я опять буду читать тебе португальские письма?

Долгий взгляд близорукой девушки повергал меня в трепет и превращал ее в искусительницу другой воображаемой страсти. Я влюблен был в отличницу, шахматистку Макоревич, у нее были синие глаза, которые немного косили, так что на фото взгляд всегда падал мимо вас. И вот появилась Ребер, дочь немецкого композитора-фабриканта. Я написал ей письмо длиной в 13 страниц, где поведал о своей страсти и просил выколоть мне бельма, чтобы только ее не видеть. Она, разумеется, не знала о том, что может влюбить в себя на расстоянии. Филипп ездил с ней в поезде, но она оказалась холодной. Потом вышла замуж за некоего Арльева и некоторое время воплощала наши фантазии в амплуа диктора новостей. Арльев напоминал молодого члена политбюро, золотая медаль горела у него во лбу, все десять лет. Действительно, от ее тела шел холодок. К тому моменту я забыл уже о своей мнительности с угадыванием по приметам. Я был влюблен в девочку, больную лейкемией, С. Сонину. У нас была переписка. Она оборвалась, потому что у С. появился другой паренек.

В некоторых придворных комедиях маска Арлекин должна была представлять земного Духа, или младшего чертика, убегающего препонов, чинимых ему, благодаря способности становиться видимым, будучи же бесплотным, что не мешало ему, между прочим, бить смертным боем прочих персонажей. Когда его пытаются изловить в мешок, то оказывается, что там один из цани.

Здесь прилагается одно из писем к Филиппу:

БОРЬБА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ В ЛЮБОВНОМ ТРУДЕ.

Как-то Филипп, называемый теперь всеми Филосшадом, сказал мне, что должен назвать своего сына Александром, и точка. Многие говорили мне о его коварстве, о том, что любезный друг мой готов пойти на любую каверзу, только лишь бы заполучить себе трон и двор в придачу. Жены уверяли своих мужей в том, что он не красив, а уродлив и похож на жалкого индусика. Разные жеманные умники находили его недалеким и никак не желали оказывать ему снисхождения. Еще бы, ведь он обладал всеми женщинами, о которых им приходилось всего лишь мечтать. Я думаю, что и многие жены переоценивали свою красоту.

Иные шли дальше, они рассуждали о том, каким прекрасным бывает иногда лицо скучающего буржуа. Сколь высоки наслаждения, доставляемые его обществом для проницательного ума. Из самых лучших побуждений иные дамы, а речь именно о них, склонялись к мысли о дружестве с опасными людьми, которые, однако, не могли бы запятнать их чести. Разве не милее по вечерам, оставив закладку на странице Розария, вспоминать со вздохом милого демона, похожего и на еврейского принца, и на итальянского купца, но совершенно лишенного подобострастия, быстрого говора, мартышьей жестикуляции. Что если бы он явился подобной вдовствующей монахине и показал ей маленького чертика, который видится всем Ганнибалом, однако его следует всего лишь накрыть шляпой, и он исчезнет.

Возможно, мне не хватает общества моих ровесников, поэтому приходит на ум лишь поцелуй церковной мышки со взглядом голубки, пойманной на сенокосе, взглядом, обращенным ко мне, когда она трепещет в воздухе, а вокруг падают обгоревшие балки, в каком-то лесу; нежных рук еврейской девушки, втайне похожей на мальчика, старой школьной любви, портрет которой красуется в пионерской комнате, которой в уборной мальчишеская рука пририсовывает грудь, предвидя тот возраст, когда ее роскошное тело вступит в свои права. Девушка должна беречься от нежелательной беременности, пусть юноша бережется взглядов мужчин...

Когда-то нами овладело отчаяние, сомнение в собственной подлинности, мы брались за все, что попадало нам под руку, а солому бросали в огонь. Любовь к шару — такая мания нами овладела в один из жарких и бездумных летних дней 1998 года. Вытеснив все наши прежние впечатления, мы предались игре в

мяч скорее от отваги, чем из удовольствия. Мы не знали, что нельзя и волоса сделать один белым, другой черным.

8.

Иногда мне напоминает о нем Миша Глот, но разве что чернотой своих глаз, разве что своим подобострастием, вкрадчивостью, сменяемой неожиданной гневливостью, яростью, молитвенностью жестов, иконописностью лика, своим огромным носом-гудком и, повторю, черными, как махаоны, очами. Миша Глот, он постоянно во взвинченном состоянии, гримасы на его лице сменяют одна другую. Он то смеется, то плачет... Он не похож на меня. Я был мономан. Мелочи страшно меня занимали. Былинки, черточки. Я их считал, подолгу останавливаясь на одной, на самом деле, считаю до одного, можно сказать и так. Я двадцать раз подряд застегивал одну и ту же пуговицу, так же и причесывался, крутил на голове кепку. Каждое действие растягивалось минут на́ пять. Я не мог просто так оторваться ни от одного предмета. Такой подсчет непрерывно меня занимал. Настолько, что однажды, читая стихотворение Пушкина, я обнаружил, что не только не понимаю, но и не помню ни слова только что прочитанного. Я вновь начал сии онанистические повторы, на этот раз уже с чтением, пока не уморился. Эти «занятия» никогда не приносили мне радости. Стихотворение заканчивалось словами: «как тяжко я страдаю». Эти когти впивались мне в сердце. Я не был мономан.

Не то чтобы я начал свои подсчеты невзначай. Тому предшествовали несколько событий. Вскоре после того, как моя сестра подтвердила мою догадку о неизбежности смерти, идея эта основательно забылась. В марте-месяце еще лежит снег, но солнце пригревает. Однажды я снял шапку и дал голове охладиться. Вскоре у меня началась животная резь, чайная кукла-цыганка поплыла на красных шторах вокруг татарского дивана, доставшегося нам от прабабки. Я лежал на этом диване, и в зрачке моем отражалось пыльное темное облачко, словно след от того затмения, и мешало мне смотреть. Я оказался в больнице с подозрением на аппендицит. Но это была разновидность желудочного гриппа с менингиальными осложнениями. Меня поместили в бокс, и там я получил глубокий нокаут. 1 мая я вышел из больницы, и все пошло опять по-старому.

Некоторое время спустя я заметил, что спящий на спине напоминает покойника. Когда я долго не мог уснуть, мама говори-

ла мне: спи, а то завтра не встанешь. Это невинное предположение было мной совершенно превратно истолковано. Потом был польский фильм.

1 мая 1989 года ближе к полудню небо все потемнело. Из черной тучи повалил снег. Мы не пошли на демонстрацию. Сидели у окна и смотрели на бурю. Меня так и подмывало заплакать. Но я не мог. В горле болело, на том месте, где потом образовался кадык. Мне показалось, что у меня начинает ломаться голос. Я не мог никому поведать свою жалобу. В темноте начал читать. Это была глава Remember, в которой Атос и Мордаунт тонут. Я погрузился в меланхолию. К пяти часам тучи рассеялись, выпавший было снег начал таять. Мы отправились в город. Из окон автобуса мне виделась башня мелькомбината, напоминающая небесный паровоз. Я вышел на двор поиграть в футбол. Почему-то вспомнилось «леса вдали виднее». Возле решетки «Огнеопасно, газ» и под деревьями был полумрак. Было тихо, как в келье. Солнце падало сквозь ветки в траурной кайме. Школа возвышалась в отдалении. Прибежал какой-то мальчик, на класс младше. Он сказал: «парня задавило». Рыли пещеру в овраге, свежая земля задавила его.

Похороны были назначены на 4 мая. Портрет юноши висел на первом этаже, недалеко от гардероба. Фон был предельно черный, на нем проступало серенькое лицо с огромными мешками под глазами. Значилось имя погибшего: «Иван Мыльников. Трагически погиб». Лицо его отпечаталось у меня в памяти и многократно потом виделось мне перед сном. Физрук Т. И., скорбная, сообщила подробности. Смерть наступила мгновенно, в результате перелома позвоночника и шейных позвонков в трех местах. Мы, потрясенные, подавленные, молчали.

Вынос тела был назначен на 12 часов дня. Одноклассники покойного сами несли гроб на плечах от дома до школы. Подъехал С. Владимиров, сказал, что хочет позыреть на труп. Полюбопытствовать. А девчонки сказали: он тебе потом приснится. Бросали гвоздики. Я смотрел в землю, только чтобы не на тело, просеменил вокруг гроба, которого также не видел, и скрылся в толпе. Но уйти я не мог. Что-то останавливало меня. Я совершенно утратил волю, готов был сказать — «слушаю и повинуюсь» властному голосу смерти, голосу классной дамы, Аделины Павловны. Все должны были присутствовать на этом торжестве, все должны были внимать похоронному оркестру, сиплым трубам, сизым носам. Мыльникову не было еще 14 лет. Лицо его, во всяком случае, на фото, напоминало Вильгельма Нот-

тернберга. Я запомнил лишь одно его движение, из тех, что он совершал еще при жизни: в черной рубахе делает резкий выпад в мою сторону, я вздрагиваю и пячусь.

С тех пор я обходил то место, где стоял катафалк, и двор погибшего юноши. В тот вечер мне действительно привиделся во сне его большой черный портрет. И после я поминутно вспоминал о портрете. Начал высчитывать, сколько лет мне осталось жить, считать кукушек, прибавляя и округляя, прибавляя и округляя. У меня развились новые, вполне определенные жесты: провести пальцем по лбу, поставить черточку, чтоб не клонилась набок, сделать шажок, стежок, и т. д. Все они в комплексе должны были отвратить грядущую смерть. В словесной форме этот комплекс выразился в заклинании, которое я произносил, прежде чем отойти ко сну: «мама, я уши вымыл!». Это было необходимым условием для завтрашнего пробуждения. Каждый вечер всё прибывали новые и давешние страхи. Похоже, я боялся, что смерть проникнет сквозь ушную раковину, как яд, как сонный настой в ухо наследника Тутти.

Само написание слова «смерть», шестерка графических значков, заставляло меня вздрагивать. Больше же всего я боялся услышать фамилию тогдашнего футболиста московского «Динамо» Евгения Смертина, равно как и фамилию вратаря сборной СССР по хоккею с шайбой. Он также был Мыльников. Пугал меня и флакон с надписью «Сулема». Казалось, что эти знаки указывают на меня, что одно прикосновение к ядовитому флакону станет предвестием смерти. В то же время навязчивые умывания мылом стали повторяться каждые четверть часа. Казалось, что и ведущие трансляций с сурдопереводом меня имеют в виду.

Бумажка на флакон
наклеена и с надписью «сулема»
Там «наружное» приписано еще
Череп и две косточки поверху
Перечеркнутые это как писать на лбу
Но я слышу слабо сквозь фанерку
Словно помер кто и снова ни гугу

9.

Мне не доводилось играть с шахматным автоматом, фигуркой индуса в чалме, передвигающей фигуры при помощи рычажков, но я видел горбатого карлика, мастера игры, подобного

тому, кто прятался в ящике автомата, скрытый за системой зеркал. Звали этого человека Крамером. Ростом он был чуть выше шахматного стола, пешки, фигуры и шахматные часы приходились ему на уровне глаз. Он взбирался на стул и оттуда руководил битвою, как маленький капрал. Хитрые черные глаза его то бегали непрестанно, то вдруг останавливались, замирали, когда он пристально и насмешливо вглядывался в лицо ваше, сделав вдруг тихий ход, обещающий скорую гибель вашего царства. Он разработал голландский вариант дебюта Берда и ввел ряд новых продолжений в королевском гамбите. Юные создания, ученицы из чопорных и скромных еврейских семейств, составляли свиту Крамера. Карла часто отвешивал поклоны «ваш покорный слуга», присовокупив издевку в скабрезном кукише. Тут палец в рот ему не клади! Раздвоенный язык его все же не мог язвить сердец целомудренных прелестниц, пропускавших все мимо ушей, не имевших на счет на свой никаких сомнений. И все же... Как он подмигивал, подмаргивал, как он чесал себе спину хвостом с кисточкой! Не знаю, где он жил, в большом ли доме или в маленькой каморе со своей карлицей и спаленкой. Вскоре карла сей умер, скрывшись от нас в небольшом своем гробике. Он был столь же уродлив внешне, сколь изворотлив, казалось, он мог вытянуть себя за нос, он походил на демона шахмат.

С малолетства я наблюдал за моей матерью, которая перед овальным зеркалом красила губы, собирая их в маковый узелок, что сообщало ее лицу сосредоточенное и потому комическое выражение. Она была при этом вдумчива, как глупенькая пичужка, которую мог спугнуть короткий смех, и даже пролетающая паутинка. Что мне до востроносеньких, что до безбровых!

В отличие от Филиппа, которому стул виделся плахой, для меня венский, т.е. деды Венин, стул стал мостками и безводной купальней. Мне не было еще семи лет, когда я кривлялся на нем перед бабушкой, умоляя связать меня, и, казалось, становилось светлей от моей наготы. Бабушка, приплясывая, убегала на кухню. Потом я присутствовал в семейном суде, а деда Вена и деда Витя укоризненно взирали на меня с портретов. Когда я входил в комнату, мне казалось, что все давятся со смеху и зажимают друг другу рты, но мама, тетя и обиженная бабушка, сидящая чуть в стороне, были серьезны. Они медленно приближались, подобно флотилии, входящей в гавань, подобно крестному ходу, с иконами и хоругвями, заслоняющими солнце. Они стыди-

ли и пугали меня своей смертью, говоря, что я сокращаю им жизнь, я чувствовал себя как на закалке с кляпом во рту. Но в угол меня все же почему-то не ставили, видимо, жалели.

Примерно в то же время, или чуть позже, я прочел загадочный пушкинский дублет «семейственной любви и нежной дружбы ради». Во мне что-то перевернулось, как будто я надел платье не на ту сторону.

Моей первой книжкой была «Что такое хорошо и что такое плохо». Я спросил у мамы, кто такой Маяковский. Мама сказала, что сначала Маяковский был футуристом, носил желтую кофту и хулиганил. А подстрекал его в этом Бурлюк. Желтая кофта! Я стал искать ее. Отправился к тете, и там мне сестра сказала, что желтой кофты нет, а есть только желтая юбка. Нацепил ее. Засмеялась, закричала: девчонка, девчонка.

В школе у нас был трюк и состязание, кто лучше всех сможет свести глаза, это у многих получалось, но почти никто не мог заставить их смотреть в разные стороны. Мой правый глаз немного косит, он близорук. На левом — зрение единица. Иногда я смотрел на фотографию, где мама и тетя сидят по правую и левую руку от бабушки. Я пытался свести их лицо в одно, на миг получалось нечто вроде тени головы в нимбе заходящего солнца, но в следующее мгновение уже мерцало женоподобное лицо, похожее на Анатолия Карпова, 12-го шахматного короля-гермафродита. Странно, но дядья мои считали его «русским мужиком», противопоставляя Каспарову, «бакинскому еврею», по их словам.

У окулиста Надежды Павловны я занимался глазной гимнастикой. Надевал безразмерные очки с разметкой. Левый глаз закладывали матовым стеклышком. К правому прикладывалась линейка с различными линзами, как склеенные вместе портреты того человека. Только сквозь одно окошечко, сладчайшее, шоколадное, слуховое можно было что-то различить. Что различить. Пожалуй — ШБ МНК. То, что ШБ означало — школьная библиотека, я знал уже тогда. Что же значит МНК — гадаю до сих пор. Мартышка и очки? Манкировать? Минск? Как знать. Мужа Надежды Павловны, которая капала мне глазные капли и улыбалась, убили. Пуля прошла сквозь стекло и попала ему в голову. Говорят, что это был случайный выстрел, шутка — окно было темно. Когда моя сестра и тетя вернулись из Минска, сестра рассказала мне об ужасной девочке, Кандыбе, которая чуть не отпилила ей руку. Мне представилась ужасная двуручная пила и под ней моя маленькая сестра.

Кроме карлика, мне случилось играть с Тулуповым. Этот человек трясся, изгибался всем телом при ходьбе, словно огибал невидимые предметы, вращал и потрясал головой, заикался и проглатывал целые слоги. У него были белесые грустные глаза и соломенные волосы. Болезнь его была особой формой паралича. В какое-то мгновение он все же делал движение, каждый шаг давался ему дорогой ценой. Казалось, что все кости его перебиты, все нервы скручены, но он двигался. Казалось, что дьявол играет на нем. Несмотря на это, он мог передвигать фигуры, хотя и не вполне верно ставил их. В глазах его сквозила мысль, и конвульсии тела, пляска Витта были лишь помехой этой мысли, а мысль его бежала, как невидимка, как костер сквозь треск кустов. Я выиграл, но мы стали от этого только несчастнее. Я был мальчиком, а он — взрослым дядькой. Но окажись мы за доской два года спустя, я был бы его зеркальным и неверным отражением. Я совершал каждое движение минимум дважды, а как я ходил! Правила тронул — ходи и руку отнял, ход сделан — чрезвычайно меня сковывали. Я двигался короткими перебежками. Я был полностью во власти синдрома ритуальных действий, хотя тщательно это скрывал. Позиция на доске вертелась у меня перед глазами, подобно тому, как вертится диск игрального автомата после того, как потянешь рычаг. Я непрестанно считал. Это стало со мной вскоре после смерти Мыльникова и незадолго до бабушкиной смерти.

Я пишу правой рукой, а могу и левой. Только я не знаю, какая рука у меня правая, а какая — левая, поскольку меня переучивали.

Когда я обнаружил, что мой правый глаз видит хуже, чем левый, когда пришел в кабинет окулиста, то сразу же выучил то, что написано над красной чертой: Н К И Б М Ш Ы Б. Я могу повторить это всегда, даже когда уже не смогу разглядеть ШБ МНК.

10.

Медленно играет зеленая пластинка
Пиджак у венского стула на спинке
Двое в комнате на этом снимке
Или быть может друг другу снимся?
С шумом раздваивая створки шкапа
В зеркале видит себя мой папа
В зеркале гладком не узнаёт он себя

Только нащупывает набор для бритья
Птицу спугнув но некогда вспомнить
Имени птицы или часов нет
Мыло находит под левой рукой
Ловит свой взгляд и под правой щекой
Мылит и бреет ровно и гладко
Родинка рубчик морщинка складка
И бородавка бегут острия
Словно кораблик мели и острова
Тихо минует и в сонную гавань
Лезвие быстро подносит к губам он

Теперь его точно никто не узнает
Ловит зеркало солнечный заяц

В то время мне казалось, что меня водят за нос и скрывают нечто обо мне. Я тоже скрывал, но самое постыдное — припухлые веки, зеленоватый цвет лица, бегающие глаза, нервное дрожание пальцев рук, — всего этого не было — меня принимали за винопийцу, но я им не был, папирос я не курил, по-немецки не говорил. Последний вопрос до входа в университет задала экзаменатор: Вы пьете? Четыре бокала шампанского на выпускном вечере. Глоточек коричневого вина из склянки в шкафу, что стояло там 10 лет... А Вы, Вы пьете? Попала впросак, а мне и невдомек, что она-то пивала... Если бы я признался, то это было бы своеобразное любовное признание: у меня геморрой. Откуда это пожимание плечами, слабость в ногах при виде человека выше себя мужеского пола? Признание, написанное, как курица лапой? Кому это интересно, когда самому с собой скучно? Мама любит рассказывать об этом признании, видимо, каждая мать умиляется, видя, как мочится ее мальчик... Мама, это так стыдно, так стыдно. В детском саду музыкальный руководитель Поничева, в черных сапогах до колен с красными губами, в красном пиджаке, приказала снимать колготки и шортики перед всеми, когда готовили утренник, за то, что я не так пел? Антонина Ефимовна, также любящая носить красное и черное, председатель кооператива, воровка квартир, преподаватель из медицинского училища, ставила не перед бабушкой, перед собой на колени? Это ли признание? Тайна мальчика с примерным поведением и прилежанием, отличника, что привязал Лариску веревкой и хотел посмотреть, что у нее под теми же колготками. Тугая резинка спасла ее. Только чтоб никто не знал... Как мы раздевались с однофамильцем Ивановым, также

блондином, нас вполне могли бы принять за двойняшек... показывали друг другу попы и связывали друг друга — играли в белогвардейцев, по моей инициативе? Это ли тайна? Я ни разу не исповедовался перед священником, ведь он сидит не за решеткой, не за оконцем, а в клетке грудной. В детском саду, с девочкой Галей, наши пальчики, наши ноздри, вкушающие аромат. Кровосмесительная страсть, сцена ревности, убийство? Блажь, мнительность. Тетя говорила, ты похож только на нас, на деду Вену, деду Витю, бабу Маню, маму и меня, только на Ивановых и Марусиных. А как же отец? Что это за фигурка, возникшая в общем состоянии невесомости, ходячий кошемар, наведший на меня игрушечный шмайссер, со словами «тебя же будут убивать»! Его пьяное покачивание, незнакомый мужской запах, невидящий взгляд, странная перемена. Одна, две рюмочки, и ни в одном глазу! Ты не такой, как мой Максим! Какой Максим, где же был этот Максим, далекий Максим, у папы есть какой-то Максим, и папа далек, как Папа Римский? Кто таков? Зачем нужен папа? Для пары с мамой. Не просто дядька, но и не такой, как дядя Владик и дядя Валера. Но мы живем и без него, значит, и жили всегда без него, он потом пришел, а я уже был. Мама, ты знаешь, я никогда, никогда больше не хочу видеть этого человека. Он потом стоял на лестнице всю ночь, утром мама впустила его, он побрился, умылся и ушел. Мнительность, блажь. Он теперь блаженный, благообразный. В десять лет я увидел внучку соседки и подумал, по недоразумению, что у нее тоже есть виви. Я знал, что дети берутся у мамы из животика. У себя я нашел лишь одно такое место, откуда можно взяться. Загадка, самое темное место в мире? Жопа негра. Enfant du cul. Все, что я потом читал о половом вопросе, как-то было помимо этой догадки. Зато, когда в школе говорили о земноводных, с их клоакой, первое мнение косвенно подтверждалось...

У одного человека был фотофильм. Документальные фото, сделанные погодно, являли лицо этого человека, как обычно в таких случаях, по краям омертвелое, как затягиваются лужи льдом. На дальних окошечках лица были довольно непохожими. Вряд ли этот человек дотошно сличал свои снимки, и наблюдал, как на нем отразилось то или иное событие, и подмечал черты того или иного порока, а может быть, его забавляло, как он переменился в лице, а быть может, это были своеобразные «живые» часы.

Явившийся ко мне сводный брат, сей далекий Макс, сообщил о кончине родителя, о которой до того ходили какие-то смут-

ные слухи, и попросил также для погодной коллекции его фотокарточку, которая сохранилась у меня одна. Вглядываясь в братнины черты, я, как в надкушенном яблоке, в ущербной луне, узнавал и себя, но с той стороны, которая никогда не была видима, мне приходилось изрядно скорчиться, чтобы показать эту рожицу, насколько я помню себя, получалось такое лишь тогда, когда я был в крайнем раздражении, гневе, тогда мама говорила, что это «лицо моего отца», страшная, с выпученными глазами, со вздутыми ноздрями, бешеная, мерзостная гримаса.

мою фамилию ты вписал в мою метрику
вместо своей, и меня называют Виктором Германовичем
свою фамилию скрыл ты и теперь мне нечем
доказать что ты был отец имяреку
оставил лишь имя пустое германос
оставил карточку и свою гримасу
да брата сводного по имени Макс
на тебя похожего как водяной знак
впрочем если поискать по карманам
можно найти твою голову размером с кулак
да еще какую-нибудь мелочь да ты ведь маклак
ты извинил бы меня что я изъясняюсь по-гречески
ибо не знаю я на твоем наречии
разве что скрежет зубовный да плач
есть место под солнцем и для порожденья малакии
так по крайней мере говорит Евгеньич,
— щебечет и птичка-кастрач, —
он говорит что есть где-то секта где занимаются суходрочкой
и хотят таким образом сорвать Господню печать
а еще он говорит you’re lucky
потому что ты выиграл в детстве кожаный мяч
вот, и ты для меня как в облаке
хотя горит лампочка над твоим бугорочком
твоей могилки мне вовек не сыскать
над ней поют наверное птички-венерики
различные некрологи и панегирики
вокруг звучат трамвайные поминальные звонки
иногда я хотел видеть тебя мертвым
пока ты еще не уехал в Америку
пока ты покупал билеты пока сверял номерки

11.

Ипохондрия достигла предела, когда по совету Светланы Яковлевны Чику́ я познакомился с изданным на Ставрополье листком, воспроизводящим душемутительный материал одной иерусалимской газеты, в котором якобы сообщалось о каких-то «гоях», а также содержались рекомендации об обращении с ними. Методом исключения я пришел к выводу, что «гой» — это я, и от такого открытия сердце мое покачнулось, в глазах потемнело, а жилы на висках налились кровью. Я стал припоминать все обиды, нанесенные мне моими близкими друзьями, вспомнил и то, как Женя Бройтман пугал меня ножом, не отпуская его над моей головой около 5 минут, так что я боялся шелохнуться. Милый до этого образ Жени Бройтмана, навещавшего меня в сочинской больнице, где я лежал с мнимым аппендицитом, а также лица учителя шахмат Бориса Михайловича Васбейна и моего друга Дани передернулись, в их глазах, словно по наущению, зажегся злой огонек. Каждый раз, встречая Даню или кого-либо еще из них, я вздрагивал. Так я узнал второе непечатное слово.

Через некоторое время возобновились старые переступания через трещины на асфальте, и походка моя изменилась, как будто я то танцовал, то приволакивал ногу. Чтение Достоевского толкало меня на откровенно опасные действия — многократно я в мыслях своих хватал химический штатив, который угрожал опуститься на голову учительницы химии L. M., а бедная старушка даже не подозревала, какая опасность нависла над ее головой. Вскоре я начал шептать про себя страшные богохульства, чередующиеся с молитвами, и проводил за этим занятием целые часы. Пришла еще новая забава — глядя в зеркало, я видел на своем лице проступающие чужие черты, причем всякий раз место на нем пытались занять два человека, например, Джон Леннон и Гитлер, но никто не мог взять верх. Все это полностью застило мне глаза. Каждый отдельный предмет размером с кисть руки, или перевернутую пепельницу, казался мне «закладом».

L. M. — свекровь покойного врача Глота, начальника моей тети. Младший Глот пережил старшего. Его племянник приходится мне знакомцем, почти родственником. Но потребовалось двадцать лет, чтобы я познакомился, пусть заочно, со всеми членами этого семейства.

А вот Балерина стал моим настоящим родственником, пусть и сводным четвероюродным братом. Он сделал маленькую электрическую гитарку и играет на ней, взмахивая своими длинными ногами и горделиво покачивая головой.

L. M. и теперь еще ведет химию. Она может повторить свой урок слово в слово, что делала каждый год на протяжении полувека, с разными вариациями. Теперь она может прочитать его дважды за полтора часа. Но не такой она была в бытность мою в школе. Рассказывали, что старушка была столь строга в выполнении школьного ритуала, восходящего к солярным, к полярным, к дегтярным 40-м, что была готова вырвать золотую серьгу из уха, сорвать вечернее платье, обнажив девическое тело на дискотеке. Но я не верю, на нее клеветали! Когда меня повели к директору, угрожая исключением, за то, что хипия в моем лице не хотел постричься в монахи, слезы мои и непреклонное «нет» тронули ее, и меня оставили в покое. Она живо интересовалась моей судьбой после школы, когда я собирался совершить путешествие в Астрахань.

Итак, все предметы стали казаться мне закладом, монетой во рту черепа. А виновата в этом, я считаю, Светлана Яковлевна Чику. Первый ее возлюбленный покончил с собой накануне свадьбы. Тогда его могилка была одной из первых на городковском кладбище. Теперь там вырос целый лес. С. Я. каждый год приезжала оплакивать свою любовь. Она работала терапевтом в женской консультации. Страстью ее были переезды с обменом квартир и создание брачных уз. Потом она полюбила и песни, которые поют на тюрьме. Всю жизнь дружившая хотя бы с полукровками, она подсунула мне протоколы Сионских мудрецов!

Раз она рассказала, как шла где-то в Крыму по платформе, и одна старушка попросила ее перевести через пути. С. Я. тогда была женщиной молодой и привлекательной. Идут. Старушка спрашивает да спрашивает. Дай С. Я. ее тоже спросит: а Вы откуда, бабушка? Та ей в ответ: «да я-то — тюремщица, вот отца с матерью своих убила, да у меня и сейчас финка в сапоге».

Когда вода попадает в ухо, его начинает рвать. Тогда наклоняют голову и вытрясают воду вон. Так поступают поочередно с каждым ухом, если задеты оба. Нет, мерзостный листок не прошел мне мимо ушей. Я сделался как папье-маше, я покачивался, как неваляшка, как маятник, мне мерещились жидоморы и юдофилы, они перетекали друг в друга, то гнались за мной, как свора кладбищенских собак, то, как свиньи, низвергались в

пропасть. К читателю, здесь нет параллелизма. Некоторые, только услышав о какой-либо болезни, начинают воображать ее у себя, а о симптомах узнают в книжках. Это гальванизированные, мнимые больные. Моя ипохондрия свелась к тому, что любая плоская картинка, изображение человека, доброго или злого, двух близнецов-антиподов, поочередно приклеивалась к моему воображаемому лицу, начинала претендовать на жилплощадь. Меня иногда, словно по привычке, называли в автобусах девочкой, и тогда я показывал начатки своей бороды, я был селадон и непрестанно дрочил.

Мне сказали, что Город Виноград — это всё картинки, слово- и звукообразы, но за ними нет человека, как если б он умер. Еще мне сказали, что меня превратно поймут в вопросе вероисповедания и нетерпимости. Отвечу: одно время я ходил на занятия баптистов, которыми нас так пугали в детстве. Одно помешало мне принять их учение: молодой адепт сказал, что при Крещении сотни новообращенных голыми бросаются в Обь. Водобоязнь остановила меня, ведь некогда я был покусан собакой Жанки из соседнего дома. Добавлю также, что протоколы Сионских мудрецов равно не интересуют меня. Так вот, здесь речь идет не о человеке, а о секте, классе, ячейке. Если кто-то хочет, чтобы я занял позицию, то я его разочарую, речь ведь не о позиции, а о позе. О непослушном теле, об истории болезни, истории одного заблуждения. Увы, здесь не только нет человека, нет даже и динамита. Как говорится, я — не-я.

Я никогда не ходил на могилы утопленниц ловить траурных зайчиков. Некоторые мои ровесники, сверкая по́том под рампой, манящей золотниками, поют песни литовского панка перед мастью писательской касты и забирают при сем большой куш. Эстэт, как говорится, сильнее, чем casse-tête. Рильке говорил о человеке, говорящем на ломаном языке жестов, вокруг которого периодически собирается кучка зевак, желающих взглянуть на тело, сотрясаемое бесом. Когда у меня действительно появился кадык и голос начал ломаться, я также начал слушать эту гражданку. Голос звучал, как упокойная молитва, мне еще пять лет. Теперь же мы все можем лицезреть болотного попика панка. Когда на греческом мы пытались ходить бустрофедоном, в конце декабря, перед кафолическим рождеством, я уже и забыл думать о заповеди «оставь домашних твоих», но она неожиданным образом напомнила мне о себе. Я лежал на постеле, тщетно пытаясь заснуть. Взгляд мой блуждал по книжным полкам и пыли шкафов. Я вспоминал каждый

день, в который прикасался к тому или иному предмету, пока пыльная и тусклая лампа рябила на них, создавая эффект солнечных пятен и кровоподтеков. Я вспоминал свои жесты, царапанье и сглатывание в самолете, падение листьев, ход поездов, и тут же забывал, о чем думаю. Вдруг посреди сего мечтания представилась мне огненная фигура, которая зачем-то провещала: иди и убей свою маму и тетю. Фигура представилась мне мысленно, но я не мог отогнать ее, потому что лежал. Встать же я боялся. Я начал кричать «не подходите ко мне, я опасен» и т. д. Наутро меня повели к врачу, а по дороге я читал «Мирсконца» и «Портрет» Гоголя. От беседы с врачом я отказался на том основании, что она не знает текстов, так меня занимавших. К полудню наваждение прошло. Еще через полгода кто-то говорил со мной, но зуммера почти уже не было. С тех пор, засыпая, я больше не слышал ничьих голосов, кроме птичьих, но это было уже после пробуждения.

Замори червячка пока птичка поет
Птичка у меня в голове, o pieta.

Один человек направлялся в небольшой американский город Бока-Ратон. Сам он был тощим, как палка, на которой было прицеплено пенсне, и бритым. Так случилось, что в том же самолете летел другой человек, очень толстый, жирный, похожий на крота и лысый, и направлялся в Нью-Йорк. В аэропорту обоих уже ждали. Первого встречал белый с табличкой «IGOR», а второго — негр с табличкой «EGOR».

Думается, никогда я бы не перестал комплексовать, если бы не первый из них. А ведь он намекнул только, что английское I обращается в Я, что сказал осел, начертил четыре кола на доске, рассказал о телесном, летучем солнце и раскланялся. С тех пор, как я увидал его во второй раз, я следую за ним, как верблюд. Этот человек научил меня размыкать звуки, обнаруживать ритм и сделать свою гримасу подвижной. Он подарил мне бутылочное стеклышко, через которое впору на солнце глазеть. Теперь я вспоминаю обо всем как о вечном огне, где плавают шляпы и корабли из газет.

Когда мне было 11 лет, я прочитал «хиромантию» в «Огоньке», после чего линия жизни моя стала казаться мне не очень-то длинной, и я все хотел ее продлить с помощью острых предметов. Пальцы казались недостаточно артистическими и тонкими, лоб не очень высоким, холмы Марса и Венеры — не

слишком выраженными. Мысли эти не вовсе и не тотчас покинули меня. Однажды я решил увеличить высоту лба, чтобы больше походить на Э. По. Для этого я сбрил себе чуб и не сразу узнал себя в зеркале. Но и никакого По я там тоже не увидел. Я был озадачен весьма.

Когда же я полностью обрил голову, не пощадив и бровей, как поступают солдаты, когда наступают сто дней, то и вовсе не узнал себя. Мне сказали, что когда брови отрастут, я буду похож на Брежнева. Но я не узнавал в себе даже собственного деда. Тело мое померещилось мне чужеродным, я не знал ни своих рук, ни ног — с чего бы это им быть моими, когда лицо-то не мое! Мне стало казаться, что это оно движется, его голова работает, а я в нем — только щепка, а меня вытеснили за ухо, где я расположился, подобно папироске или попугаю, что сидит на плече.

и как с широкой грудью осетин
себе казался ты и от автомобилей
шарахался и говорил они впритык
они впритык ко мне краснеют и белеют
не знаю говорил где он где ты
ботинки не мои и нос и на коленях
Господь мой, как сучок среди извилин
мне тело грешное двуногое мое!

12.

А что если бы произошло кровосмешение? Это было бы не то что первые признаки землетрясения — трещины по потолку, словно удар током от батареи и плиты «Лысьва», с темнотой в глазах, или когда померкла вдруг лампа, своеобразный перегрев предметов, когда они вздрагивают на миг, когда, доведенное до белого каления, округляется их отражение в зеркале, когда они переворачиваются на миг, подобно младенцу во сне или гимнасту на перекладине, когда они сдвигаются, как посуда на белом раскладном столике в поезде, или в шкафу от звука трамвая, или в ушной раковине при переключении телепрограмм.

Признаки кровосмешения, вероятно, другие. В детстве мне сказали, что дети от такого брака будут хилыми, похожими на лягушек, могут появиться сиамские близнецы, рахитики, дистрофики… Старое зеркало в нашем шкафу стало расслаивать-

ся, выдавать двоякообъемные головы, сгорбленные плечи, скривленные горла и адамовы яблоки, шишки на головах. И отражение от дыхания, темная полоска, — казалось двоякодышащим. Если прищурился, можно было увидеть скрягу Плюшкина, считающего серебро. Потом реакция серебряного зеркала завершила первый круг, серебро выступило, как потница, и все рассосалось, и стало как прежде. Таково было время, тросточка с набалдашником. Только мы не узнали себя, как будто квартиру нашу обокрали, как будто кто-то нас обкорнал.

В комнате бабушки Филиппа, кажется, было трюмо — словно алтарь, в нем отражались узелки, соляной мешочек, который прикладывался к нарывам на носу, флаконы духов, китайский веер, дальний, невидимый глазу угол комнаты и лицо в копеечном, прокопченном киоте. Зажигался ночник, и зеркало открывало лицо старушки, склонившейся над книжкою об убийстве. Бессонница, мигрени, скрупулезная, как изгнание чирья и промывание глаз чаем, проявка скорлупок подозрительной памяти, беспокойный хрусталик и петит буковок, в детективе словно выжженных через линзу плюсовых очков поздним солнцем пляшущих человечков. Проплаканное зеркало, в которое солоно, больно смотреть, затаившееся, как на опушке леса, белое тело, звоночек шкелета с перебитыми коленями и голенями.

Говорят, что в прежнее время колокола были из специального сплава, их отливали из особой меди так, что бой их пробуждал у прихожан тревогу и страх, чтобы они укрывались в церкви, где их сердце успокоивалось.

Как умерла тетя Нюра на самом деле. Тетя заметила, что т. Нюре становится хуже и хуже, хотя причин для этого видно не было. Перестали подавать снотворное. Наступило временное улучшение, жизнь была продлена еще на полгода. Видимо, т. Нюра, будучи уже слепой и фактически недвижимой, скопила 20 таблеток, желая избавить себя и мою тетю от мук и от тягот. Как Дитрих!

Второй же раз, когда открылось у ней кровотечение и набежала банка (а не таз) крови, врач скорой помощи объявил, что кровотечение легочное, и возвестил о скором летальном исходе. Когда пришла тетя, выяснилось, что кровотечение носовое, и его удалось вскоре успокоить, а т. Нюра прожила еще 4 месяца.

Отмечу, что дед мой скончался по вине врача «Скорой помощи», когда моя тетя, тогда десятиклассница, отправлялась в те-

атр. Смерть дедушки имела решающее воздействие на нашу дальнейшую судьбу.

В нашем городе вспоминаются два события: лет тридцать-сорок назад церковный сторож застрелил мальчика, взобравшегося на яблоню. Наверное, ошибусь, но в 1968 году летчик-истребитель врезался в окно квартиры своей жены. При этом он разрушил весь подъезд. Погибли люди.

На поминках по Нине Яковлевне горели поставленные свечи, женщины шептались, точно мамушки, точно их голоса долетали с небес, словно листья томились и шелестели и садились на носы, шкафы, уползали под кровати и кресла, точно небо приоткрылось, как улей пасечника, как музыкальный ящичек, как глаз усопшей.

Рассказ о том, как бабушка спаслась от поезда.

Рената и круглая картина «в банях». Учимся грассировать.

То как в старой келейке медовой, когда, вздохнув слегка, словно рассказывали, что бабушка чья-то тогда слегла, словно система звоночков веревочного телефона из бутылок и склянок, ножного педального глухого, как мотание головой, телефона, словно к ушной раковине дяди Валеры уже не подходит слуховой аппарат деды Яши, словно сон валетом, убаюканный поющим «Зингером», вдвоем мамы и тети, словно настой, влитый в ухо наследника Тутти, словно капельки пота, крови и ртути, точно рассказы тети Тани Капустиной о лекарственных средствах египетских христиан, которые якобы пили мочу, словно четырехфутовый башмак Крузо, слепенький подслеповатый слепой, словно оболочки склер, и сумерки скверов, хронический конъюнктивит, луковые оболочки болезней, и калька в «Книге Платенъ» на изображениях детских хворей, нарисованных поверх лиц херувимских дореволюционных детей, таких же, как на пасхальных открытках, письма, перевязанные чулком, луковицы в чулке, кружащаяся пыль, тремóр, отек Квинке, как пугала мама, заражение крови, полимиелит, туберкулез, манту, менингит, болезни, переворачивающие тело, как миногу, заставляющие его испаряться, словно майку под жалом зеркального утюга, фиолетовая страна мигунов, которой мне казалась наша семья, канифоль и припой, камфара и корпия, гречишный мед, исследование подкладок чужих шляп, окна, заклеенные газетами, печенье в формочках, рыбки и грибочки

цветной капусты, флоксы, которые я курил, сделав трубку из маминых бигуди и крюка от плечиков, цветочное опьянение, головокружение, вылетала очумелая пчелка изо рта, водобоязнь и страх пораниться, описания бешенства и собак, воющих на луну, морская болезнь и желание нравиться, — словно десять пальцев руки, так сводит это сходство под ледяной водой, делая пальцы безымянными, немыми, делая фотоотпечатки выцветшими, делая дедушкин табак прахом, делая родные черты тенью мельком увиденной пролетевшей птицы, заставляя заново учиться счету. Переход имен от деда к внуку и от бабки к внучке делает письма путаными, так что не сразу догадываешься, о ком речь, заставляет забывать об этом свете во сне — так что мама просыпается и зовет свою маму и потом перебирает имена всех, пока не дойдет до моего, заставляет тетю забывать все слова, после бдения у постели трех умирающих, все эти десять лет, заставляет сестру слышать голоса, как Жанна, заставляет меня переступать с места на место, скакать с приметы на примету, как будто я окривел, я, имеющий голос за них. Отчество деды Вены и деды Яши, последнее слово, которое остается забыть, единственное по сути слово, которое зябнет. Кто мы, на что указывают эти татарские узкие ковры, эта тахта с чайной куклой, эти мулине и сулема, муслин и персты крестных? Не больше, чем синяя говорящая тень, дым, улетающий в небо столбом, не больше, чем начало утренней молитвы, солнце, косящее сквозь врозь, знобящее оземь, пресекающее колена. Говорили мы тогда плавно, напевно, словно рассеянно дальнозорко не моргая глядя в окно, горбясь и вдруг умолкая, сгорбившись как-то и вдруг умолкая.

Раз мне приснилось, что мы играем в футбол с американцами, и что все игроки в нашей команде — летчики.

Не знаю, будь я королем, приблизил ли я своих родственников или удалил бы их от себя? Мысль об этом не покидает меня, словно мы плывем на плоту в солнечный день, и наши тени, а не отражения даже, на воде венчаются солнечными нимбами. Но то мы плаваем, а когда купаться пойдем? Вот искупаемся и выйдем, как те смешные англичане в полосатых купальных костюмах.

Быть может, будь я королем, носатый Великий лжец и главный Фашист, с массивным подбородком и выдающими его тонкими губами и пальцами, по-французски шептались бы со мной в вечерние часы. Голова моя вращалась бы во все стóроны, как хулахуп, так, чтобы я со всех сторон и с ног до головы видел

свое тело, дремля и вкушая виноград сладчайший, гадательно, как ацтекский король, который смотрит сквозь пальцы, придумывал бы себе новые обманы. Впрочем, блюдца размером не больше, чем глаза у Собаки из сказки Г. Х. Андерсена.

Теперь гробовая музыка больше не играет. Нет больше жалких оркестров, которые мы за километр в детстве оббегали. Смерть приходит теперь, словно ты что-то прослушал, словно кто-то осекся. С каждым днем на улицах все больше людей, только вот почти никого уже узнать нельзя, разве что этих старых пенсов в темных очках, которых каждого до семи раз на дню встретишь.

Металлический блеск предметов — бритв, рюмок, подстаканников, пойманный взгляд фотографии сороковых годов, пряди волос, что хранятся в шкатулках, завернутые в газету, хитрая система зеркалец в ящиках аппарата дяди Алика, царские монеты, нимб вокруг головы человека, проплывающего на плоту по реке, трамвайные звонки и гудки, осколки, звенящие в теле ветерана, проходящего просвечивание в аэропорту подобно бесполому бесполезному автомату — периодически высвечивают тело того Ситного Друга, на которого похож я, но вернувшийся с Голодного Мыса, высвечивают от плюсны до виска, и поминальную скручивают косиножку, речную воронку его пуповины — наших болезней, обоняния, страхов — что питают его тело, большое как воздушный мешок, он — мельница и наковальня голосов, наш пепел, развеянный по ветру, каждая пушинка, былинка, крупица которого толкает меня в обманчивое и властное царство примет, которые я не могу еще все назвать без запинки, от которых колет в боку, камень преткновения, осекшийся голос, рассеченная бровь, колено, что почти уже пресеклось. Мне казалось, что полученная анонимка поможет мне понять, в чем тут дело, узнать, что бы все это значило, хотя бы гадательно. Вот она: *кот насрал на барабан.*

Мушка по имени Мнемозина, словно сошедшая с чьей-то щеки и попавшая в мавзолей двойного окна, спит холодным зимним днем, бдит обо всем земном: ти де! Пантес катеудей!

сентябрь 2000 — сентябрь 2002

Книга вторая

Путешествие в город Антон

Б., учителя балерин

в двух частях

А знаете ли, что у алжирского дея
под самым носом шишка?

Гоголь

Это мы, твои милые,
Эмина и Зибельда.

Потоцкий

Перед Вами заметки бедного учителя Б., преподававшего французский язык балеринам в хореографическом училище, которого занесло однажды в город Москву, который автор именует Антоном. Попав туда, он повредился рассудком. Болезнь состояла в странном расстройстве воображения, в котором не отличал он реальности от вымысла и мнил себя персонажем прочитанных, а вернее, недочитанных книг. Временами он также не отличал имя от вещи, а вещи от знака. В довершение всего он утратил возможность узнавать окружающих, или, вернее, он узнавал кого-то в каждом встречном, и казалось, забыл все слова, сохраняя лишь видимость какой-то мины, с детской идиотской улыбкой под пучеглазыми глазами и нелепым носом. Когда же он начал выздоравливать, я на время упустил его из виду, но говорят, что лицо его по-прежнему сохраняло след какого-то тревожного ущерба. Когда он разговаривал, то поминутно закатывал глаза, не видя перед собой собеседника или же только упуская его из виду. Само безумие его носило отпечаток фальсификации, тем самым себя и обнаруживая как таковое.

Я предлагаю читателю его повесть, в которой он сам описал свои похождения, которые могут быть не лишены интереса. Первая часть ее посвящена воображению, а вторая его расстройству. Да простит читатель автора, с которым случались периодически затмения, и потому повесть оказалась полна лакунами и темнотами. Только потому я и решаюсь представить ее, что все книги целиком не прочтешь, в этой же утоплены ключи многих других.

За автора Виктор Іванів

Тане, Яне, Игорю, Егору, Антону, Павлу, Филиппу, Сергею, Ирине и всем посвящаю

Путешествие

Все люди хотят путешествовать, сказал поэт. Только вот что для этого нужно? Нужны компас, лоция, азимут, карта, чтобы определиться с маршрутом. Можно отказаться (еще не поздно) от этой затеи и пойти с лорнеткой в театр, но эта забава, как и развлечение фланера — когда он выходит на Бродвей и метет улицу штанинами своих джинсов — своего рода тоже путешествие.

Итак, куда ж нам плыть, куда обратить стопы свои?

Можно отправиться из города Винограда в город Антон. Где ж сыскать нам города такие, спросит читатель. Первый — выдумка шестилетнего мальчика, рыжего как солнышко. Второй — город вывесок, город лубочных картинок. В первом городе виночерпии спят, а бражники бдят во втором. Во граде Антоне все столы скрипят от яств, как кожица яблока, там яворы шумят, там бродит Джельсомино, ведомый ложным совпадением, полагаясь на первого встречного, все принимая на веру. Во граде Винограде Ахиллес обретает в памяти убитого троянцами Патрокла, испив из чаши крови жертвенных животных, бурдюки с которой припас Одиссей, обретает он и былую быстроту ног, позволявшую ему обогнать черепаху; а Тиресий, падая в обморок, успевает руками обхватить колена Мнемозины. В городе Антоне ангел души человека преклоняет главу у постели спящего нагишом.

Можно отправиться в путешествие в город Звенигород, и посетить монастырь, где слышится пение жаворонков и перезвон колокольцев арбы, что катится навстречу дню. Можно отправиться на улицу Потешную и увидать Марсово поле в райке, можно заглянуть и на Бородинскую панораму.

Можно, наконец, посетить Феодосию, знаменитые бани, которые, кажется, крадут свою архитектуру у мечетей и скрадывают тропинку в лесу, где в болотной воде можно видеть закатившееся солнце. Говорят также, что эти бани излечивают от дурного глаза.

Можно побывать на сочинской Ривьере, где работает кинотеатр под открытым небом, где в сени магнолий старики передвигают «живые» шахматные фигуры, где девочки играют в скакалку, классики и серсо, а мальчики с серьезными минами

следят за передвиженьем фигур, и норовят запрыгнуть на доску и дохнуть в стекла очков пенсионерам, отирающим пот со лба маленькими носовыми платочками.

Можно поехать в Кисловодск от Порт-Кавказа, остановиться в Железноводске, где многие деревья, как и в сочинском дендрарии, повязаны ленточками. Там по дороге прямо посреди равнины вырастают горы, как в детском рассказе Льва Толстого, там в ночную пору виден Бешту, вспоминающий о родине красивой смерти — Машуке.

Можно совершить кругосветное путешествие, как Филлиас Фогг. Только для этого потребуются не картонные паспарту, а настоящие, красные корочки.

Можно, наконец, побывать в Советской Гавани, ехать туда по КВЖД, мимо Байкала, утопающего в яблоневом цвету, затем пересесть на паром и передать привет Южно-Сахалинску, где родился Юл Бриннер, можно краешком глаза взглянуть на Амур и увидать японцев, кропотливо изучающих карате «Шокотан».

Можно посетить Астрахань, где красные, желтые, синие… всевозможных оттенков растут цветы, величиной в две ладони.

А можно никуда не ехать, остаться дома, перечитать «Путешествие из Петербурга в Москву», «Коричные лавки» Бруно Шульца, «Москву-Петушки» и, конечно же, «Путешествие в город мертвых» нигерийского писателя Амоса Тутуолы. Можно пускать руками от лампы причудливые тени, попивать чай из восточной пиалы да коротать время в нескучной беседе.

Все люди хотят путешествовать. Выбор за тобой.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Тень маниака

Разговор во дворе лечебницы

Мы встретились на площади, когда стрелка вокзальных часов отбила пять. Мы ждали третьего человека, гомика, который должен был передать нам пакет. Поезд опаздывал на час, и, чтобы скоротать время, мы решили пока прогуляться. В воздухе еще был послеобеденный сон, солнце только начинало клониться к закату, и мы задумались, как нам провести образовавшийся перерыв. Все текущие дела как-то отступили, подобно слону, которого водили по улицам, но он вдруг заупрямился и начал пятиться, словно испугавшись маленькой собачки. Мы удалялись, и старая стрелка круглого табло словно бы тоже отступила на шаг.

R., назовем его моим другом, сразу же предложил в качестве своеобразной экскурсии посетить психиатрическую лечебницу, находившуюся по соседству. «Там тихо, спокойно, — сказал он, — ты ведь не был?» Я согласился.

К слову сказать, здания психиатрической лечебницы, как и вокзал, — одни из старейших в городе. Мы свернули в переулок, прошли по короткому туннелю, сделали еще шагов двадцать и остановились перед кирпичным забором. Я сразу узнал военные казармы начала века, такие же, как в военном городке, довольно далеко отсюда. Ворота оказались открыты. «Пойдем», — позвал R. «А можно, — удивился я, — нас пустят?» «А хули, блядь!».

Навстречу попался старичок. «Из вольноотпущенных, — сказал R., — из приходящих». Четыре корпуса из красного кирпича были перед нами, за ними прятались еще четыре, и справа — столовая из серого кирпича. Вокруг не было ни души. Осины шелестели, роняя первые листы. Под ними скамейки синелись, как узелок у выписавшегося из больницы. Здания молчали, как соляной столп, в нишах недоставало только католических статуй богородицы и святых.

«Трижды я тут лежал, все в разных корпусах», — вдруг сказал R. «По какому случаю?» «Вот там — в белой горячке», — показал прямо. «Вот там — от армии». «Да?!» «А что, тебе то надо? Раньше было у меня там две верные руки, сейчас — одна осталась». Помолчали. «А третий раз?» «Это дело давнее». «?!» «В

детстве, когда была эпидемия холеры, отказывался есть. Вызвали бригаду».

Медленно обошли вокруг здания и сели на скамейку под деревьями. «Это женское отделение. Там истерички, венерички». «Как, и они тоже?» «Раньше медицина не различала, за такое поведение тоже сюда». «Тихо здесь, спокойно, благодать! Внутри — нет». «Отчего ж ничего не слышно?» «Отделения для буйных — пенитенциарные, — произнес он, процеживая, — они под землей». Закурили.

Поговорили о новых книгах. «А нет ли у Вас Ли?» «Какого, Чарльза, "Истории инквизиции"? — был, а сейчас нет. А зачем тебе?» «Интересуюсь. Вот и орудия пытки-то те же, поди, еще с тех времен...» Перебил: «Из новинок — вот вышла книжка о сектах». «Что там?» «Там про Джонстаун. Был такой город в Америке. Вроде ничего себе город, нормальный город. Только правительство послало своего представителя, чтобы проверить, все ли там в порядке, так, на всякий случай. Приехал, ходит по городу, смотрит. Вроде все нормально, учреждения работают, банки, магазины, почта. Ходит, в дома заглядывает, с жителями разговаривает. Все хорошо. Стал уезжать. Человек двадцать изъявило желание город покинуть». «И?» «Когда подходили к самолету, главный их в этом городе, Джонс, послал автоматчиков — всех уложил, вместе с представителем. Потом собрал народ на площади, всех жителей города, произнес пламенную речь, призвав покончить с собой. Ритуально. Послали войска, видят — на площади — четыре тысячи, как были, так и полегли».

«А ведь распространители — это также секта, сетевой маркетинг. Брат у меня ходил — сперва в церковь "учеников", потом косметикой занялся...», — говорю я. «Точно, секта, вот продают они там масло для сковородок или конфеты, а сами туда сперму Муна добавляют. Ешь вроде бы ты конфетку, а на самом деле к телу Муна причащаешься. Во главе — религиозное ядро, а бизнес — для отвода глаз, ритуальные действия». «Это еще что, вот есть секта, где занимаются суходрочкой, доводят себя до истощения». «!?» «Таким образом, говорят, Бог совокупляется с адептом, представляющим себя женщиной. Еще покурим?»

R. протянул мне сигаретку, я неловко схватил ее — было прохладно — и она упала под скамейку. «А хуй с ней, на другую». Мы невольно взглянули под лавку. Там возле ножки, в углу, лежала раскрытая, оставленная кем-то финка. Я и так-то чувствовал себя не в своей тарелке, а теперь еще пуще удивился и

порывался встать. R. поднял ножик, помусолил, поднес к глазам. Она поблескивала, как новенькая. Положил обратно. «Мне не надо», — сказал он. Выждав минуту, словно собираясь с мыслями, я намекнул: «Вот Вы, значит, только что взяли ножик, а может быть, им кого-то через час зарежут. Или уже зарезали и положили на место». «Так это уж наверняка! Районччик-то — тот еще». «Ну, и...» «А меня-то как им найти, я свою дактилоскопию не сдавал, отпечатков моих нигде нету». «Все равно, пойдем, а то разминемся». «Поперли!»

Отправились к выходу с другой стороны. Проходили мимо красного корпуса, закоптившегося, словно под синею лампой. Вдруг R. сказал: «Смотри — знак нам подают!» Я не сразу разобрал, стал водить по стенам глазами. «Не там ты смотришь». Пригляделся и точно: на третьем этаже в рамке двойного окна две потемневшие тени, два негатива, два женских привидения в желтом свете лампочки, делали нам какие-то знаки, что-то неслышное нам говорили, помахивая рукой, словно о чем-то, словно кого-то напоминая. Мы помахали им в ответ.

Когда мы вышли на улицу, я, чтобы поддержать беседу, спросил: «А он приедет?» «Все бывает. Товарищ Q. должен был приехать из Алма-Аты, ан не доехал. Q. пошел его встречать, вещи доехали, а его самого — нет. Стали искать, нашли — на перегоне за откосом. А как, что — неизвестно. То ли сам выпал, то ли выкинули с поезда. По пьяному делу, хуй разберешь».

«А кто должен приехать?» — продолжал я. «Голубой из Москвы, я бы сказал даже, что гей». «Как Вы различаете?» — осведомился я. «Есть у меня ряд признаков, по ним и различаю». «А все же, кто такой гей, чем он отличается, были, например, матросы, папики?» «Изящный, представитель элитарной культуры». «Он говорит, растягивая слоги, хабалит?» «Не обязательно. А тебе зачем?» Помолчали.

Уже подходили к вокзалу, когда встретили того же старичка. «Видать, у них тут ротация, свободная циркуляция между больницей и вокзалом», — согласились мы. Цифры табло проступили в сумерках. Приблизилось время. Поезд опоздал еще на час. «Пойдем, по пиву...», — стал зазывать меня R. «Надо на работу». «Так ведь не платят, хули, пойдем!» «Нет, надо...» Еще покурили. «Вот у меня карточка есть, позвони, скажи, что задержишься». Насилу отказался. Зачем он звал меня? Так ведь просто так не уйдешь — словно картину смотришь и нельзя оторваться. В тот вечер я так и не дождался пакета. Дома на

столе лежала статья «Гомосексуализм в античности». Подготовка к дням «Gay Pride» в Австрии.

R. считает меня тайным шизом, или даже так: R. втайне считает меня шизом. Так ли это, Вам судить. Но меня чрезвычайно занимают события, которые последовали за тем, о чем я рассказал выше, равно как и те, что этому, без малого, часу предшествовали. Вроде бы никак со мной не связанные события. Однако если вглядеться, или, наоборот, отойти на порядочное расстояние, то окажется, что эти разрозненные события на что-то мне указывают и потом еще кивают согласно, якобы, «понял», требуют пароль. Может быть, можно рассматривать их в ряду отдаленных причин, а может быть, связи и не существует вовсе между ними. Ночью сонный человек принимает урчание в своем животе за шорохи на крыше и за окном, тревожась о том, что к нему, возможно, лезут в квартиру. Да, лезут в голову всякие мысли. Но обо всем по порядку.

Ночь и начало утра

Итак, я лежал на кровати, задремывая, и вслушивался в шорохи, что доносились из-за окна. Шел дождь, и капли сильно бились в водосточную трубу, падая через раз. Дождь то отступал в листву, выжидая паузу, то вновь приближался широким фронтом, словно барабанная дробь звучала, возвещая о прибытии похоронной команды. Стволы дерев потрескивали, как факелы, казалось, что слышатся чьи-то неясные голоса и вот-вот зажгутся фосфорические огоньки. Вдруг одно полено надсадно лопнуло, что заставило меня вздрогнуть, и напрячь внимание, и обратиться в слух. Казалось, что дом простукивают резиновым молоточком, выявляя то ли двойное дно, то ли нервные окончания. Чуткое ухо отчетливо различило чьи-то шаги, три, два, один. Я резко выпрямился на кровати и громко сказал вслух, продолжая собственную дневную мысль: «гм»! И добавил, словно поправляясь: «гуингнм»! Шаги остановились. Я подкрался к окну и осторожно выглянул. Никого не было видно, я хочу сказать, никого не было в моем поле зрения. Я стал выжидать, как будто на часах, как будто в бдении над оружием. На улице тоже кто-то стоял как по струнке. В течение двадцати минут ни один мускул не дрогнул на моем лице, и я с замиранием сердца следил за тенями дерев, ходившими кучно, как рой черных мух, но почти неслышно. Чтобы выйти из неудобного положения, я стал подыскивать соответствующий экивок, ка-

кой-нибудь выкрутас. Не найдя ничего лучшего, я взял под воображаемый козырек. Успокоившись, я лег обратно в постель. Вдруг, как мне показалось, кто-то кашлянул, и не то чтобы мне в ответ. Вышла луна, и я решил все-таки проверить, и, якобы чтобы проветрить, подскочил к форточке и свесился наружу. Картина, открывшаяся моему взгляду, была неописуемой.

Я увидел своего соседа, Николая Денисовича, в одном белье и в тапочках на босу ногу, совершенно выжившего из ума, а в прошлом году умершего от перелома шейки бедра и последующей пневмонии. Он дрожал всем телом, в особенности же трясся его подбородок. При этом, наметившись в воображаемое темя, он взмахивал молотком и делал небольшой прыжок на два дюйма, напоминая при этом уморительного человека-лягушонка из фильма «Садко». Вдруг он прекратил свое занятие и кашлянул. Мне померещилось, что лицо его начинает тихонько обращаться ко мне, а вся его фигурка превращается в пухлую шариковую ручку с голограммой, размером с песочные часы. При перевороте показывалась синяя женская фигурка, словно татуированная, обнажаясь до пят.

Я сел, выпрямившись, на кровати и зажег лампу. По осиннику за окном прошла оторопь, словно по лягушачьей коже, и мне словно послышались удаляющиеся шаги огромной жабы. Я отер пот. Подошел к столу, открыл ящичек и вытащил газету двухлетней давности, и начал читать одну заметку, которая когда-то врезалась мне в память, а теперь отчетливо проявилась, как некогда полузасвеченная пленка.

Газетная страница несколько уже пожелтела, я бы даже сказал, пожухла, как листва за окном, мелькнула мысль, что она рассыплется в руках, и я не успею схватить... На дне ящика лежала пачка писем, перетянутых резиночкой для волос, коллекция пробок от пивных бутылок, прозрачный с виду шарик, мутный, если поднести близко к глазам, размером с луну, и серебряный медальон в форме сердца с инкрустированным поддельным камешком. На все эти предметы я сперва не обратил внимания. «Как все совпало!» — произнес я.

Искомая мной заметка находилась как раз под сообщением о проделках городских запоздалых футуристов, срывавших с себя одежду и вроде бы приклеивших сифилитический нос к портрету императрицы Елизаветы Петровны, вывешенному на третьем этаже городского музея.

В заметке говорилось о поимке маньяка-убийцы, терроризировавшего Затон. Жертвами его становились одинокие жен-

щины, возвращавшиеся домой в ночную пору. Обстоятельства поимки маньяка поразили меня. Убийцей оказался старичок, невысокого роста, с маленькой бородкой, длинным носом и острыми ушами. Когда милиция ворвалась в его квартиру, то застала его в женском белье перед зеркалом. «Это был он!» — воскликнул я, имея в виду Николая Денисовича. Совпадения быть не могло, и, несмотря на то, что обстоятельства смерти Н. Д. никак не вязались с действиями маниака, все же это был он, все это время остававшийся неузнанным, сама его смерть явно намекала, но намекала на что? Истина лежала передо мной в самом неприкрытом виде, но звенья цепочки, сложившиеся в столь причудливый иероглиф, были утрачены. Известен был ответ в задаче с потерянным ключом, но сам порядок действий был прочно забыт. И я силился припомнить хоть что-нибудь еще, найти какую-то зацепку, набрести на наводящую мысль, раз за разом перечитывая заметку и словно пытаясь вновь заглянуть в окошко Николая Денисовича на первом этаже. И вот в этом окошке замаячила согбенная фигура, занятая непонятными приготовлениями и странно мне подмигивающая, подмаргивающая и ускользавшая в комнатах. Только теперь Николай Денисович отвернулся от меня и действовал как во сне, словно в полной темноте натыкаясь на мебель, продвигаясь на ощупь. Вдруг он остановился, чтобы перевести дух, и, молниеносно сверкнув ножом, распорол подушку, перья которой взвились к лампочке и закружились вокруг, как рой сонных мух, и прежде чем свет померк, донеслись отголоски какой-то знакомой песенки...

Песенка оборвалась на полуслове. По полу повеяло летейским холодом. Я не сразу открыл глаза. Простыня, надвинутая по самый нос, словно приклеилась к моему телу, до такой степени, что мне показалось, что я смотрю сквозь тонкую кожу в синеватых и розоватых жилках. Голова болела в затылке, как будто мне на шею привязали камень и бросили в море. Вокруг медленно проплывали пузырьки, а, казалось, по дну моих глаз ползали бесшумные золотистые рыбки. Руки и ноги совершенно онемели, и кости в них ныли. Собрав все свои силы словно в одном мышечном сгустке, я разодрал руками воздушный саван и всплыл на поверхность. Место, где я лежал, показалось мне незнакомым. Присмотревшись, я разглядел ножки стола и бежевые обои с лиловым рисунком. Стул валялся подле, перевернутый. Выдвинутый наполовину ящик стола навис над головой, как накренившийся корабль. Выше блестела медная люст-

ра с заостренным наконечником. Это была моя комната, но в никогда прежде не виданном мной ракурсе. Похоже, ночью я свалился со стула и потерял сознание. Некоторое время я разглядывал помещение, зыбившееся надо мной словно в неверном зеркале пруда. Наконец на круглом медном диске люстры я поймал свое перевернутое отражение, в уменьшенном виде и выпуклое. Я присел на корточки, потом встал на коленки.

Из окон донеслось какое-то сипение и гнусавые птичьи голоса, словно из кипящего чайника. За стенкой послышались шаги. Я выглянул в окно. Этажом выше, прямо над моей головой, раскачивалась клетка, в которой бились, пытаясь петь, канарейки Зулейки Незамовны, шипя от ветра. Зулейка Незамовна — соседка сверху, старушка, еврейка, страдающая мигренями и бессонницей, вывесила клетку на специальный крюк, чтобы птички могли подышать воздухом, и забыла снять, когда поднялся ветер. С потолка хлопотливо топотали ее тапочки, теперь она спешила исправить свою ошибку. «Гули-гули, — позвала она, — совсем озябли, мои милые!», — и показалась из окна в рыжем парике и вновь скрылась.

Я некоторое время озадаченно смотрел на окно, представляя, что ее внучатая племянница, Оленька, еще спит в своей кровати, и сон садится на ее припудренные веки, подобно паре голубков, чье нежное воркование доносится из ее девической груди. Пока она еще спит, тихонько посапывая, но скоро ей вставать, и эта смешливая вострушка, научившаяся бегло читать ноты и уже заглядывающаяся на мужчин, сядет разучивать гаммы, а потом пойдет в музыкалку.

Головная боль отвлекла меня от столь приятных размышлений, и я обернулся. Ящик стола по-прежнему был выдвинут, пачка писем в нем белелась. Газета свесилась со стола, скомканная, как носовой платок. Шкаф стоял в темном углу. Ручка его поблескивала. Я подошел к зеркалу. На голове вздулась шишка. Я пригладил волосы. Смутное подозрение мелькнуло во взгляде, отброшенном зеркалом мне назад. Расческа выскочила у меня из рук. «Нужно проверить», — сказал я вслух. Надев пальто и схватив шляпу, я поспешно вышел, повернув ключ в замке на два оборота. В лифте подозрение мое выкристаллизовалось в подобие плана. Никем не замеченный, я вышел из дома и направился прямо к психиатрической больнице.

Ветер утих. В улицах еще стоял полумрак. Листья, нападавшие за ночь, лежали на земле, притихшие. Я шел быстро, но осторожно, словно переступая через тела спящих. Я пересек

трамвайные пути. В доме под часами одно красное окно горело. Дальше путь лежал через парк. Я обошел бронзовую статую Вождя Революции. Казалось, губы ее чуть порозовели в проступавшей красноватой лакмусовой полоске зари. Они казались обветревшими, будто статуя незаметно облизывалась. Она была каким-то сгустком окружающего безлюдья, столпотворением теней, тесно вбитых в нее, и, немотствуя, была отражением всех звуков: дребезга трамваев, перестука каблуков; обтянутая паутиной шорохов и войлоком всхлипывающих шагов и прошитая свистом летучих мышей, она казалась боксерской грушею, набравшей в рот воды, отбивающей от себя всякий звук. Она предстояла мне как некое подтверждение пустынности улиц и успокоение моего одиночества. Вытянутая рука статуи указывала куда-то.

Невольно я повернулся в ту сторону. В глубине улицы под деревьями прошмыгнули, бранясь, две фигуры, мужчина и женщина, судя по голосам. Зацокали каблучки. Мужчина остановился и закурил, потом поплелся вразвалку вслед. Прения их продолжились за углом, пока они углублялись в улицу, а потом шаги их и голоса заглохли.

Я поглядел себе под ноги и увидел выдранные ростки и корневища перезревшей травы, они образовали сухой пучок, мешочек, и притягивали взгляд именно своей нелепостью, тем, что уже перестали расти. Они были размером с воробья или полевую мышь, но не двигались и даже не издавали запаха. Облезшие, они только слезились, все более засыхая, они могли подойти в качестве обрамления для макраме какой-нибудь молодящейся женщины.

Я постоял с минуту и пошел дальше, больше не останавливаясь, то и дело ускоряя шаги. За углом повеяло холодом, чувствовалась близость к реке. Впереди было здание психобольницы. Железная решетка калитки лечебницы оказалась запертой, зябкой, еще подернутой сном. Оглядевшись по сторонам, я попытался перелезть через нее, но она громыхнула. Залаяла собака, зажглось окно в каморке сторожа. Я отошел за стену и затаил дыхание. Бородатый сторож выглянул, потоптался на месте, поглядел по сторонам и вновь скрылся внутри. Я решил обойти забор вокруг, в поисках отверстия, способного пропустить человеческое тело. Такового не нашлось, и я уже почти отчаялся в своих поисках, как вдруг мой взгляд упал на небольшой выступ, где старая стена обветшала, и из нее вывалилось несколько кирпичей.

Недолго думая, я вскарабкался по нему и перепрыгнул на ту сторону, больно ударившись пятками и кистями рук. Корпуса лечебницы спали, казалось, приоткрыв один глаз. Проходя по стеночке, я запнулся о водосточный желоб и чуть не упал. Я прижался спиной к стене и замер, вслушиваясь и принимая за шаги стук собственного сердца. Насилу успокоившись, я пошел по дорожке, прямо к той скамейке, где сидели мы с R. Она была как на ладони.

С каждым шагом, пусть неслышным и семенящим, но отзвуком отдававшимся в моем теле, как в галкином кувшине, и, тем не менее, приближавшим меня к скамейке, вся нелепость моего положения становилась ясней. Запоздалый сон, забившийся в уголки моих век, в кончики пальцев, в локти, понемногу проходил, и я вдруг увидел себя одного наяву, во дворе психбольницы, на виду у ее обитателей и вечно дежурящих и бессонных врачей.

Наконец, я прекратил идти и замер в десяти шагах от скамьи. То, что финки могло не оказаться на месте, еще не доказывало верности моих предположений. Не говоря уже о том, что я выставлял себя в крайне невыгодном свете: двери больницы не были столь уж плотно закрытыми, так что меня там только и ждали. Будучи застуканным, я не смог бы вразумительно объясниться. Видел бы меня кто-нибудь из знакомых! Любой из них был бы странно озадачен, посмотрев на меня, но все равно бы не смог скрыть внутреннего смеха.

Но здесь, я полагаю, не смеялся бы никто. Койки, привязные ремни и веселая компания живо представились мне. Но даже если финка была под скамейкой, как я втайне надеялся и на чем основывался мой план, вероятность того, что ее целенаправленно подкладывали туда, не превышала возможности, что она была брошена там однократно и ее просто не заметили. И в этом случае я навлекал на себя ненужные, но обоснованные подозрения, становясь заложником финки. Газетные заголовки вроде «Маньяк пойман во дворе желтого дома», «Что делал скромный учитель в Бедламе» запестрели передо мной. Наконец, как мне незамеченным выбраться отсюда?

Чтобы отогнать эти мысли, я огляделся по сторонам. Окно уборной горело в угловом окне одного из корпусов. Я почувствовал рассеянный в воздухе блуждающий взгляд, взгляд исподлобья, взгляд гипсового истукана, пока не находящий меня. Я начал клясть свою мнительность, ставшую притчею во языцех и заведшую меня сюда.

Меж тем окружающий мир был уже готов преобразиться, сновидения доживали последние минуты и уже торопились спрятаться обратно в подушки заправленных постелей. Сладкий зевок застревал в горле. Онемевшие за ночь краны и опустевшие зеркала жаждали ухода, ждали первых лучей. Впереди были утренняя гимнастика, умывание, завтрак и обход. Деревья, как и провода, тоже, видимо, устали стоять разомкнутыми и уже ловили дыхание утра.

Я и не заметил, что стоял теперь у самой скамейки, и почти равнодушно, из чистого любопытства, заглянул под. Мой план совершенно перестал волновать меня, мысль, казалось бы, глубоко засевшая во мне, утратила свою притягательность. Гораздо большее беспокойство вызывало мое собственное положение. Меж тем под лавкою что-то блеснуло, и я почти машинально протянул руку к этому предмету, но тотчас отдернул ее. На земле лежала финка с наборной рукояткой, манившая меня и подспудно определявшая направление моих мыслей в течение долгих недель, словно засевшая промеж лопаток.

Некоторое время я тупо смотрел на нее. Наконец, наступила вожделенная минута, когда я в одиночестве мог рассмотреть ее, возобладать ею, как важной уликою. Я присел на корточки и наклонился над ней, словно над костром, пытаясь сохранить его тепло, поймать дыхание убийцы. Кто положил ее сюда, почти на видное место, сводную сестру наших кухонных ножей, совершенно лишенных шарма и одинаковых, обреченных забвению, без кровостока, без пульса руки убийцы, без трепета сердца жертвы и без его остановки, обреченных на обезглавливание овощей или, на худой конец, на гадание по кишкам? Какой-нибудь обитатель здешних мест, исключительно из удобства, без задней мысли? Уголовник, подкинувший орудие в дом сумасшедших для отвода глаз? Или маниак, методично и целенаправленно облюбовавший эту старческую скамеечку, до сих пор разгуливающий где-то, маниак, которого один я могу понять, выследить и обезвредить.

При сих словах я вздрогнул, ибо послышался шум подъехавшей машины, хлопнула дверца, раздался звонок, и сторож побежал открывать решетку. Это была машина с провиантом для умалишенных. Я бросился было бежать, но остановился и пошел тихонько, чередуя шаги. Я приблизился к выходу. Никто меня не заметил. Я шмыгнул под арку в соседний двор. Там я спохватился, развернулся и, как ни в чем не бывало, хотел уже пойти обратно, как вдруг обратил внимание на то, что руки

мои и пальто в оранжевой, красноватой даже пыли. Я стал отряхиваться, вспоминая и кляня чертов забор, о котором и думать забыл.

На мое счастье, это был задний двор какого-то предприятия, и на него не выходило ни одного окна. Только пожарная лестница чернелась и упиралась в глухую зеленоватую дверь. Трамваи пошли. Я миновал опасные улицы и смешался со спешащими на работу и потому ничего еще не подозревающими людьми.

К парикмахеру

Должен сообщить читателю о двух своих особенностях, знание которых может оказаться немаловажным. С детских лет я обладаю точной, фотографической памятью на лица и телефонные номера. Кроме того, я — человек чрезвычайно, до болезненности мнительный. Вот пример тому. Однажды мы с моим другом Паблою шли по центральной улице нашего города, то есть по Красному, мимо магазина «Снежок». Было это в начале февраля. Между домами находилась арка, темная и замшелая, как пригоршня табаку, набранного из бычков, и шершавая. Номера дома на этом углу не оказалось, зато, случайно заглянув повыше, словно встав на цыпочки, у водосточной трубы я увидел фигуру человека в спортивной каске и во всем снаряжении, включая и ледоруб. Я сказал Пабле: смотри! И тотчас воспроизвел три версии происходящего, которые молниеносно промелькнули перед моим умственным взором: Живой! Мертвый! — лицо спортсмена было крайне землистого цвета, а тусклый и словно натертый до блеска салом взгляд пробирал до мозга костей, сам оставаясь замер(з)шим. Уф! — вздохнулось мне — так ведь это же манекен.

И после мы часто, замерев сердцем, останавливались, наталкиваясь в витринах на эти фигуры, огромные и колыхающиеся, подобно дирижаблям в военном небе. Истуканы с белесыми глазами, очень непохожие на людей, даже лежащих в гробу, но, видимо, предназначенные для напоминания о том, что и полнота тел когда либо станет прозрачным фотоснимком, и лоскутья дорогих платьев истлеют в шкафах какой-нибудь умершей старухи. Возможно, некоторым захотелось бы одевать их, как детские куклы, и мучить их, вырывая пластмассовые руки и ноги. Может быть и поэтому мне захотелось сперва в ужасе отшатнуться при виде фигуры манекена.

Возможно, мнительность моя объясняется разностью глаз — если из единицы левого вычесть минус четыре правого, то получится как раз минус пять, тридцать шесть и пять. То, что слабовидящий правый глаз лишь угадывает, левый узнает секундою позже. Часть видимого мне мира, таким образом, выпадает из поля зрения, чуть запаздывает, и я начинаю ее подстерегать в нервической рессорной своей походке.

Часам к девяти утра я вернулся домой. Я очень долго переодевался и тщательно отряхивался, словно стараясь заглянуть «под кожу», убрать все до малейшей соринки, даже если она и в глазу. Надо было что-то делать. Вдруг меня кто-то все же застал за этим занятием. То есть за рассматриванием финки. Первое, что пришло мне в голову — нужно срочно изменить внешность. А то заподозрят, узнают.

На улице деревья, политые водой прошедшего дождя, стояли осунувшиеся, вокруг печально шествовали прохожие, пряча лица за обшлага, в рукава, под мышку, точно градусник или воробушка, затирая своими пальто скрежет шагов и квадратное хлюпанье подошв в лужи, в которых, казалось, отражаются онемевшие лягушки и снова снуют тени ласточек. Дождь все покрыл белесой пеленой. Я шел к парикмахеру.

У меня давно уже возникало подозрение, что все мужские парикмахеры — гомосексуалисты. Они так напряженно молчат, маяча как раз за вашей головой, они кажутся жеманными, они люди замкнутые, ведь за всю стрижку не произнесут ни слова!

«Наголо, пожалуйста, пожалуйста, под ноль», — сказал я. Мужской парикмахер по имени Глеб начал медленно брить мне виски. Он как будто бы напевал себе под нос. И пока в зеркале отражалось бритье, пока медленно опадали волосы, пока медленно исчезало сходство со мной, Глеб пропел: а ведь вы, должно быть, похожи... «Похож на кого?» — спросил я. «Да на того мальчика, который стригся у меня каждый месяц, а теперь, говорят, умер». «Как это, умер», — спросил я, но парикмахер и ухом не повел, как будто бы и ничего не сказал. «Умер от рака, ранняя смерть, неожиданная для всех». Мне не хотелось продолжать столь неприятную беседу, но Глеб продолжал ее: «А еще, кажется, поймали...» «Поймали кого?» — спросил я. «Того маньяка, разве вы не слыхали? Того, или не того, должно быть, тоже так похож...»

Похож на кого, до моего слуха так и не долетело, потому как Глеб окончил работу и, как ни в чем не бывало, начал мести пол, насвистывая себе под нос. В зеркале на меня смотрело со-

вершенно бритое, неузнаваемое лицо, и с ним еще предстояло свыкнуться. Кололись волоски, нападавшие за воротник. «Хотите, встретимся на Плешке в полночь, там вы все узнаете...», — намекнул Глеб, когда я уже повернулся к двери.

Я и на Плешке в полночь! Плешка, или же Плашка — это место на площади за театром, где собирались гомосексуалисты. Я знал это от Николая Сипаева, который со мной когда-то флиртовал. Рассказывали, что на этой самой Плешке Николай выебал китайца, который затем еще и обосрался. Николай был поклонником дуче. Он показывал мне стихи: «мой фюрер», «мой грустный грех прости мне Гриша» и другие. Он любил разговаривать об особой грусти Верлена и показывал мне татуировку на груди, где были изображены Верлен и Рембо. Он напоминал до посинения мясолицего плотного француза, лоснящегося от пота, с приклеённым носом. Когда-то Сипаев ставил спектакль, в котором выбегал на сцену в голом виде. Я после долго казнился за то, что встречался с ним.

Педерасты, которые посещали Плашку, были хорошо знакомы друг другу и жили в состоянии постоянного промискуитета, что делало их очень несчастными. Мне тоже стало грустно. Неужели парикмахеры расхаживают по парку под фонарями в своих белых халатах? Зачем меня зовет туда Глеб? Что он знает о маньяке? На какое сходство намекает?

Решка и метро

. . . .

Между тем ко мне приблизилась группа молодых людей, и среди подошедших я узнал молодого охранника по имени Инфант. Дело было в промозглый октябрьский вечер, когда холодный пот выступил вокруг фонарей, в лужах блестел уже ледок. С Инфантом был еще Лысяк, ростом под метр шестьдесят, да еще носатый паренек по прозвищу Кистень.

Мы зябко познакомились, но беседа оборвалась на первом слове. Очень скоро нам захотелось выпить синей воды. Наш выбор пал на магазин на Вокзальной улице, неподалеку от «Букиниста». Вышедши же из магазина, мы остановились и встали в кружок у какого-то бордюрчика, полочки на тротуаре, и стали, попивая из пластмассовых стаканчиков синюю воду, рассказывать байки.

Первым начал инфантильный боксер-охранник со сломанным носом. Вся его история состояла в том, что отец у него клоун в цирке. Я отошел к соседней палатке за портером, а когда вернулся, Инфант начал свои клоунские штуки, просить меня дать примерить шляпу, да как просить, просто хватать ее за поля, угрожая подзатыльниками.

Но тут вмешался коротыш: «Никогда не понтуйся, не стремайся оттого, что у тебя на голове. Иду я, помню, по улице Рунге в жаркую летнюю ночь, а на голове у меня, веришь, сомбреро, такое большое, что машины останавливаются, принимая меня за сутера. А я шляпу за голову закидываю и отвечаю им: 12-ть часов, словно у меня спрашивают время, и они со смехом, те, кто в машинах, уезжают, и больше ни о чем не спрашивают, так что ты никогда не стремайся! Ты че как вафел! А на ногах у меня — кожаные штаны!».

Выпили еще по стопарику, и мир закачался, подобно вафельному стаканчику в руках лакомки, подобно подвесному фонарику. Я-то пил пока портер.

Пришла очередь рассказывать и Кистеню, но тут, неведомо откуда, выпрыгнул озирающийся опрометью человек и присел на край бордюрчика. Это был зека, и он попросил папиросочку. Его просьба была удовлетворена. Все взоры обратились к нему, а обо мне на время забыли.

«Как звать-то тебя?» — спросил коротыш. «Серегой». «Ты когда открылся?» «Два дня в отпуске». «И долго ты был на тюрьме? И на какой». «Там...» Инфант узнал место, и спросил: «А где там метро и решка?» «Мне бы выпить...» — ответствовал зека. Я отдал ему свой портер, что осталось.

Вдруг Серега сказал: «А я иду счас фраера валить там за цирком. Он с моей женой живет, зашел тут к ним, она меня любит, а дочери меня не узнают». «Сколько лет-то тебе?» «30». «А когда сел?» «В 1987 году по малолетке. А сейчас, хочешь, пику достану?» «Да ведь фраер-то ни в чем не виноват, не ходи, ты ж его не знаешь». «А мне по хуй. Он мою женщину ебет».

Вдруг он обратился ко мне. «А подари-ка мне шляпу». Тут Инфант сказал: «Ты шляпу-то не трогай». «А дай как я ему песенку спою». Тут подошел, и в самое ухо мне прошептал, попердывая губами: «пум-цаца пум-цаца пум-цаца». Потом обнял меня, потом отошел: «достать пику-то?». Я дернулся. Вместо этого Серега выпил водки и блеванул. Инфант отвел его к киоску и что-то долго говорил ему, после чего тот сорвался с места и убежал куда-то.

Инфант сказал, что от хука человек может упасть, «не важны тут ни рост, ни расточка». Потом прибавил: «А че сразу на измену подсел? Никогда не показывай этого, они только и ждут». И прибавил: «Ну что, раз не пидорас», и засмеялся. Мы перешли через дорогу и там пошли догоняться.

В магазине на углу, на кассе встретили двух мужиков, как выяснилось, приехавших на поминки третьего своего друга. А я их, было, принял за педиков. Но один из них оказался врачом, а второй вообще приехал из Москвы, именно на похороны третьего друга.

Мы выпили с ними, затем отошли. Инфант вдруг взял и сказал мне: «я тебя куплю», продолжая свои клоунские штуки. Я ответил, что тогда куплю его потомство до седьмого колена. Он сказал, что попомнит мне это, что он мстивый. И точно, спустя пять минут отвел меня в сторону и вдруг сдавил мне болевую точку за ухом, так, что тень подступила к глазам. «Купишь, говоришь, до седьмого колена», — произнес он, надавливая, добиваясь, чтобы я отказался от своих слов, а как от них откажешься?

Вскоре мы разошлись. Коротыш провожал меня по улице Челюстей от цирка до церкви. Мы не только никого не встретили, но даже не слышали криков. В этом часу в скверу у цирка по кругу разъезжает милицейская машина, подбирая пьяниц, чтобы отвезти их в мусарню. Пика же или финка так и исчезли в глубине кармана Сереги, если они вообще там были, ведь он не помнил расположения решки и метро.

Знаки

Я зашел в книжный магазин и прочитал там фрагмент воспоминаний Лотмана о службе на артиллерийской батарее. Погода и здесь была тихой, а небо без единого облачка. На другой стороне Дніпра стоял голый месяц, простите, немец, он мылся, подавая приветственные знаки Лотману и всей его батарее, намекая на скорую встречу. Лотман приказал палить по нему из орудия. Разумеется, на точность попадания рассчитывать не пришлось, но немец скрылся, оставив от себя след в теории. Знаковых систем, которая в тот день праздновала свои именины.

Вот что мне удалось разобрать в книжном магазине: в одной из книжек речь шла о башенных и наручных часах; в другой — о бесшабашной молодости одной вкрадчивой старухи; в треть-

ей — об индийском цирке глотателей лампочек и мячей, в котором выступали змея и обезьяна, и факир с павой, конечно; в четвертой начинались похороны, а после чьи-то мать и отец переговаривались через дерн в дождёвый пожар; в пятой речь шла о медленном пароходе, прибывшем в Новый свет, и об итальяшке, взирающем на острова зрелищ.

В гостях у господина Явы

Я шел по улице и вспоминал господина Яву, моего друга, шлепая по лужам своими штиблетами и не замечая ни фонарных столбов, ни машин, ни встречных.

Ява жил в лампе с зеркальцем на цоколе, не в лампе, в торшере. В паруснике простыней. Ява — Эфиопская Эвридика, живет на девятом этаже в доме по улице Иванова. Его бабушка, которую я вспоминаю только как хозяйку Тома и Джерри, как фрекен бок по колено с халатом шерстяными колготками и тапочками, стала забывать слова и ушла из дому.

Одно окно Явиной гостиной забито клетчатым детсадовским одеялом цвета сваренного чифиря. В темном, как одр Маяковского, саркофаге живет Ява. Высоченные его книжные шкафы заимствованы из лавки гробовщика. В них живут целлулоидные, гашеные известью и одеколоном «Кипр» книги, чтобы уберечься от серебристой моли и планктона. На дне розеточки, куда попадает лучик в щелку, отражается виселица с белой грудки черного кота.

Наша любимая песня — рамаллах — из цыганской жизни. Ява похож на Рембо, стоящего на аденском подвесном мостике. Из балконной двери открывается вид на вокзал в Адлере, с огромными часами. Ява — метис кавказца, цыгана, арапа. Он не знаком с Додею Давыдовым, что дает мне повод подозревать в нем Ибрагима Петровича.

Ява изучает одну санскритскую книгу, где ищет выпавшую ижицу, эту буквицу, которая, как правда, глаза колет. Он ищет ее как иголку в верблюжьем ушке, в потемках своей опиумной квартиры, где все столы квадратные и не летают, и хоть глаз выколи, поскольку постоянно включен телевизор. Все что видит Ява — это распылительная пыль, клубящаяся в свету голубого экрана, дающая взгляду различные фигуры, например, два корабля, сияющий крейсер и пятипальмовой регаты цифирь, покоящуюся, как на ладони, в самом сердечке живого циклона.

Ява — гадатель на Таро, он гадал мне, точно следуя инструкции (которая прилагалась в комплекте), дважды: выпали карты Дурак, Человек с золотыми чашами на берегу моря — мот, скряга, понтифик, шестерка мечей, перевернутый маг, колесо фортуны, карнифекс и Глория Мунди.

Я — соринка в его глазу, он — бельмо в моем. Ява — Энглиз, он носит одну доху, баранью шапку, круглый год сандалии, пиджак с искоркой в звездочку синий, его глаза полны кремня, когда он проходит по почве клумб, корни цветов начинают тлеть, и тогда он поднимает голову и смотрит на облака, и звезды падают как слезы в его темное конское око. Он смугол, как и демон Плодородия, как и Филипп Красивый. Я-имярек и есть та пропавшая ижица, которую он ищет.

Вспоминаю прогулку по украинским гривнам, которую мы совершили поздней майской весной, когда сильно пестрилась краска домов, когда Господь вытер нам глаза чайной ваткой, прогнав глаукому и конъюнктивит, когда словно раскрылась небесная ширма, побелела сковородка, и открылся малороссский вертеп, один небесный кiев, и поливальные машины оросили киоск, озираясь от божьей росы.

Ява едет на быке, обезьяне — Суматре и Калимантане, — на индийском слоне, совокупляющимся со слоном африканским, он моет сапоги в Индийском океане, а спать укладывается в Джамму, где видит прекраснейшую турецкую мечеть, и просыпается, как Иоанн Дамаскин, не узнавший в себе багдадского хашишиеда, принимающий свое посмешище за побиванье камнями.

Ява пьет заварку, разбавленную водой из-под крана, и носит галстук при поднятом крахмальном манишкином воротничке. Одна беда — он не знает пословицы, что на всякий роток не накинешь платок. Мы с тобой одной крови, как Кинешма и Винница.

Ява нагадал мне близняшку Аню Идельс и Аню Пугач. Дым его курительной трубки вьется, как винтовая лестница. Он рассказывал, что в Тобосской больнице к нему подошла сумасшедшая и стала ломающимся голосом и на ломаном языке выпрашивать папироску. Джек Потрошитель не трогал сумасшедших.

Ява двойник реки По. Он получил свое имя после того, как неделю пробыл солдатом в яванском зверинце в январе, когда все зверки психушки катались на створках дверцах вахтенных

вертушках, щебеча и картавя, а ангелы-врачи теряли и считали часы.

Ява рассказал мне три короткие истории во время моего недавнего к нему визита.

История о молоточнике

Некогда появился в Городке молоточник, поражавший бредущих по лесу со спины, в самое темя, своим молотком. Так что никто почти его и не видел. Рассказывали, что это был сошедший с ума ученый. Дети страшно его боялись. Тогда еще шел фильм «Воры средь бела дня». Как-то история с молоточником и эти воры соединились в детском сознании. На спортплощадке тогда были вырыты рвы и один окоп. Мы, дети, часто играли там в войну. Однажды играли мы так и прыгали, когда прибежал Андрейка и закричал: молоточник, шухер! Все опрометью бежали, оставив поле боя. Говорят, что потом молоточника поймали, или что он исчез. Затем, как в истории о самозванцах, появился второй. Второй также то ли был схвачен, то ли исчез.

История о человеке, который лежал в канаве и в ящике

Один человек, еще будучи ребенком, в полуденные часы летних дней, когда все разъезжались на каникулы, любил, постелив газетку, ложиться в канаву возле школы и там читать разные книжки.

Когда же он стал постарше, уже будучи юношей, случилось ему лежать в ящике вместе со своей возлюбленной, а вокруг бегали убийцы, подосланные ее отцом, да так никого и не нашли.

История о двух мальчиках и одной девочке

Мальчик Дима, страдающий от помешательства, ходит всегда с отцом и говорит первому встречному свое имя. Рассказывают, что однажды, утомленный плачем своего брата, грудного младенца, он выбросил его в окно.

Другой же мальчик, Алеша, страдающий болезнью Дауна, ходит и всех спрашивает: «как дела». Он различает Беломор и Приму и умеет разговаривать.

Есть еще девочка, которая при встрече всегда говорит: «Краснодар».

Плашка

Уже совсем стемнело, когда я покинул Кистеня, Лысяка и Клоунского сына и совсем выворачивал уже к дому, как мне повстречался мой старый друг Зайчик. Так его прозвали, потому что ни с того, ни с сего он начинал вдруг заикаться, повинуясь какому-то внутреннему приказанию. Видимо, его подталкивало к заиканию нечто, чего он втайне опасался, сохраняя при этом толику удивления.

Я рассказал ему о финке. Но он был, по своему обычаю, молчалив и словно бы не заметил этой страшной истории. Мы медленно шли по улице Щуплого, пряча свои тени в кроне деревьев, освещенные двумя фонарями, мы проходили по всем домам и кустам своими тенями, распущенными в веер, и любое дуновение могло пустить наши тени летать и собираться в хоровод вокруг шпиля дома «Под часами», который маячил впереди.

Минут через двадцать Зайчик, откликаясь кукушкой на вопрос мой, сказал: «А нне былла этта финнка Денке?» «Какого Денке?» «Старика Денке», — оправившись, выговорив самое главное, уже без тремора, который схватывал все тело Зайчика еще минуту назад, сказал он.

«Жил да был такой немец в Германии, старичок. Однажды он пригласил к себе нищего, но тот вскоре выбежал из дома Денке и, крича «караул!», бросился в полицию. Ему сперва не поверили, но потом проверка показала, что старичок в своем маленьком городке в течение 20-ти лет пожирал людей, заманивая их к себе в гости. Из костей их он делал шахматы и пуговицы, резал из кожи ремешки для часов, а мясо ел сам, кормил свою собаку, а остальное выставлял на продажу. После каждого приема пищи он любил обонять запах роз, что цвели круглый год в его саду. Еще бы немного, и Денке съел бы всех жителей городка. Говорят, кстати, что и Гитлер плакал, когда привезенная из тропических африканских стран птица, пение которой он завороженно слушал, Гитлер плакал, когда она околела. Говорят, он попал в тюрьму, а после войны, когда его отпустили с пожизненного, он переехал в город Антон, и, говорят, стал называться Николаем Денисовичем».

Мы разговаривали, не глядя на дорогу, и вдруг оказалось, что мы вырулили к Плашке. Более того, оказалось, что Зайчик отстал, и я уже не мог разобрать, был ли наш разговор в действительности, или пригрезился мне, ибо, истощенный дневными

впечатлениями, я еще больше жаждал их, но они не давали мне никакой передышки.

Плашка казалась пустой, лишь морось дождя, лишь оплывающие проплаканные фонари склонялись над мокрыми скамейками. Но пока я двигался по аллейке, скамейки уже перестали казаться пустующими, на каждой велся прерывающийся разговор, слова которого натекали друг на друга, слышался жалкий любовный шепот. В самой глубине аллеи, в импровизированной чаще, я увидел Глеба в странной компании.

«Не опоздаал», — сказал Глеб, растягивая слова, и сидя протянул мне руку. Я поймал рукопожатие и также присел рядом. Молчание продлилось некоторое время, и пока я рассматривал своих собеседников, Глеб сказал, что отлучится за вином.

Надо сказать, что никогда я еще не видал такой причудливой группы. Кроме Глеба на скамье сидели похожие как две капли воды парень и девушка, первый нормальный, а вторая горбата; кроме всего прочего, там была лысая женщина с очень жесткими и мужскими чертами лица. Разговор прекратился до появления Глеба, который принес вино.

«Вы еще не познакомились?» — спросил Глеб. «Это Сева и Поля, разнятые сиамские близнецы, а это моя сестра, немой гермафродит Глаша». Вино оказалось портвейном.

«Почему же ты называешь их сиамскими», — спросил я, недоумевая. «Мы расскажем тебе про себя, — сказал Сева, — мы были рождены сиамскими, пока один врач не освободил нас». Поля пропела: «Только меня врач оставил искривленной, а брата моего пожалел». «Только после операции он оказался кастратом, и теперь он мой Евнух», — залепетала Поля. «Ты знаешь, — прошептала мне на ухо Глаша, — мы все здесь свои люди. Ты, знаю, боишься педиков, не бойся, они хорошие».

«Ах да, чуть не забыл, познакомьтесь с бывшим учителем балерин», — сказал Глеб, указав на меня. Балетная школа была как раз за сквером. «Однажды он, девственник, был захвачен в классе двумя малолетними девушками, и его, робкого, выгнали из школы балета, за то, что он поцеловал одну из них». Это было враньем. «О! Ах!» — запричитала компания.

Меж тем мы тратили портвейн, и вскоре все фонари мне стали казаться астрами. А самого меня словно убаюкивал этот любовный разговор. «Ты знаешь, — сказал вдруг Сева, — врач оставил нам в подарок свой скальпель, которым производил операцию, хочешь посмотреть?» «Нет», — попытался запротесто-

вать я, но сам, пойманный в ловушку тайного желания, сказал: «Да».

«Так пойдем ко мне», — сказал Глеб. Мы поднялись в дом «Под часами», где все двери выходят в один коридор, сделанный в форме застекленной веранды, и так на каждом этаже. Скоро мы были в квартире у Глеба, где посреди находилась огромная кровать с пологом.

Когда мы прошли в прихожую, Глеб сказал шепотом: «Только Сева потом зарезал врача его же скальпелем, повязал ему ирландский галстук».

Тут я понял, что меня, наверное, сегодня изнасилуют, и прибился к батарее. Меня неудержимо тянуло блевать от портвейна, и я высунулся в окно. «Плохо парню», — сказала Поля. «Давай ложиться», — стали звать они друг друга и меня манили в альков. Я блевал, понимая, в какую ловушку попал.

Наконец я проблевался, а потом начал разговаривать со всеми одновременно: Глебом, Глашей, Севой и Полей. Из всего этого длинного разговора я уловил лишь несколько историй, не помню только, кто конкретно их рассказывал.

История о киоскере

Был в городе киоскер, он продавал иностранные газеты, польские, гэдээровские, журнал Корею. Киоскер был пед. Он влюбился в комсомольца Володю. Когда Володя, коллекционер вырезок из польских журналов, приходил в киоск, киоскер произносил, ударяя на О, поднимая свои воспаленные от страсти глаза, следующую фразу: «Многие говорят, что я пидорас, но это не так, это не так, Володя!».

История об узбеке-каннибале

Узбек-каннибал вожделел к юношам. Он поджидал их по вечерам на неосвещенных улицах, когда они возвращались домой, предлагая посмотреть порнографические открытки, чтобы потом крутить их мясо на мясорубке, а затем лепить манты, вкуснейшие манты, которые потом никто не мог отличить от настоящих.

Купание Дины

Дина плавала в Волге около Самары и чуть не потеряла панамку, когда услышала над собой гудок парохода, который прошел в сантиметрах. Она плавала, как маленькая голубка, как камышинка, и этот гудок доносится до меня, как дудочка маленького мука, которой он сзывал всех на праздник.

Огненный пидор

Мне показывали одного из них — это был страшный седой человек с огненным взором. На нем было кожаное пальто, что делало его похожим на ковбойца. Он так посмотрел на меня, что с лица моего сошли все гримасы, и мне захотелось убежать.

История о Ляхе

Мне когда-то сказали, что Лях, де, собирается меня изнасиловать. Он был страшен, этот Лях: хромой, горбатый, голову втягивал в плечи. Серые глаза его зияли над сломанным носом. Он был, по моему тогдашнему мнению, одним из главных фашистов, мне всюду мерещился его глухой голос. Он сильно картавил, он почти мычал, как будто ему отняли язык. Неделю я жил в неописуемом страхе. После чего состоялось наше знакомство. Лях оказался совсем мирным, спокойным. Правда, девушки его боялись. Это было перед новым годом, он звал меня посетить выставку творчества сумасшедших в одной из городских больниц.

История о Леше Чорт-Нильском

Однажды я поехал в летний лагерь одной из христианских церквей. Там собралось множество проповедников со всего света. Перед детьми и подростками, вставшими в кружок, исповедывались они в своих прегрешениях, рассказывали о своей прежней жизни во грехе и о своем обращении. Были среди них два американских наркомана-металлиста Энди и Том, австралиец Джордж в черной пасторской шляпе, китаянка Ютри и немка Яница, в прошлом, видимо, также великая грешница. Все вместе пели песню «Царь царей, Господь, Господь, слава, аллилуйя́!» Под большой сосной только что было найдено змеиное гнездо, так что все мы славили Бога за наше спасение от сих га-

дов. Вдруг с противоположной стороны раздалось дикое завывание. Мы обратили взоры свои туда, где под кустом сидел человек в синих плавках с длинными и тонкими волосами и рвал струны. Я сумел разобрать слова: «I don`t believe in Bible». Позже я узнал, что песню написал Джон Леннон, называется она «God». Исполнителем же был Леша Чорт-Нильский, и через некоторое время я с ним познакомился.

История о черте

Вчера во сне я катался верхом на черте. Это был господин в черном костюме, невысокого роста, похожий на школьника-второгодника. Сначала мы полетели на кладбище, где нашли две могилы моей бабушки — одну в сумеречной тени и узловатых корнях, а другую — через дорогу — всю в осенних листьях в убывающем солнечном свете августа. Оттуда мы полетели к морю.

Продолжение истории о Леше Чорт-Нильском

У Леши Чорт-Нильского была комната тридцати трех удовольствий. Так назывался спортзал, где его запирали. Тринадцать матов лежали в углу, на них взбирался Леша. Он начинал дико скакать, подпрыгивать до потолка, дергаться, и кривляться, и вопить, взывая к небу. Потом Леша катался по полу. Когда дверь отпирали, он сидел посредине комнаты спокойный и глядел в одну точку, не реагируя на окружающих.

Проходя по коридору института, Человек-Палка вдруг услышал страшные крики, в которых чутким ухом он уловил матерщину. В коридоре был весь преподавательский состав и студенты, а точнее, студентки. Человек-Палка хотел было уже вызывать бригаду, но ему объяснили, что это поет Леша Чорт-Нильский. Там фигурировали такие слова: «Лосиха дня везет меня, раба божьего, РАБА БОЖЬЕГО, РАБА БОЖЬЕГО».

Леша Чорт-Нильский пел и рычал очень высоким голосом, детским и старческим одновременно. Разговаривать же он не умел: не доносил гласных, сглатывал согласные, шепелявил. Это был птичий, птичий язык. Леша рано состарился: волосы у него выпали, показалась лысина, он очень стал напоминать Ленина. Медленным шагом двигался он по улице в своем огромном пальто с башлыком, подавая при встрече свою маленькую детскую руку. Этот человек мог полностью парализовать ваше

внимание своим пением, да и простым разговором. Он действовал как заклинатель, погружая вас в глубокий сон, вызывал частичную потерю памяти, и вам хотелось то плакать, то смеяться.

Лешу попросили сочинить блатную песню. В моей памяти сохранились лишь первые две строки: «И были дни такие голубые, как тот зека, что спит с тобой».

Однажды в летнем лагере для молодых ученых Леша решил познакомиться с девушкой (а он буквально набрасывался на девушек). Та, видимо, для того, чтоб над ним надсмеяться, назвалась Дульсинеей. Леше нечего было прибавить, кроме того, что у него диссер по Пушкину.

В самый зимний день я встретил его на улице, и он сообщил мне, что преподает русскую литературу в институте для слабоговорящих.

С тех пор, говорят, он перебрался работать в Большую библиотеку, где работает вместе с грузином Камикадзе, толстячком-доброхотом Потсдамским, пышной Огненной женщиной, маленькой карлицей, хромоножкой и двумя замечательными бородачами.

История Валеры Мавра

Валера Мавр и Кузя Орангутанг встречаются в Центральном парке, под чертовым колесом. На Валере — черная майка, показывающая мускулы. Ночью Валера работает в морге, а днем фланирует по парку, высматривая молодых девушек. Он называет меня реликтовым мальчиком.

На поминках по матери Человека-Палки все пьют водку, а Валера Мавр рассказывает анекдот о том, как он сидел в тюрьме в Эмиратах, а на соседней с ним койке находился араб, который постоянно дрочился.

Валера Мавр стоит под окнами Наташи Чумаковой, размахивая черным пистолетом и крича: я вижу мужскую тень в окне!

История Человека-Палки

Игоряха, по прозвищу Человек-Палка, точит нож, задумывая приколоть Умбера-старшего из-за Анечки Месхи, а может быть, уже не из-за Анечки Месхи, о которой он забывает за подготовкой этого страшного убийства, а так, от тоски и жары.

История Умбера-младшего

Умбер-младший искал нож, чтобы зарезать Филиппа Красивого, который увел умберову любовь, Наташу, в обыкновенном своем состоянии — лесбиянку, пока Умбер спал, одурманенный винными парами, на деревянной скамейке. Умберу представляются подъезды, арки, подворотни, в которых темно, хоть глаз выколи, и не видно блеска ножа.

История о пророке Магомете

Однажды снилось мне, что я пророк Магомет, плененный армией индийских обезьян. А было дело то в Великий пост. Помню, понесли мы утром куличи в церковь. Вышел поп, освятить. Взмахивал веничком. В воздухе билась струйная жилка, все предметы днем поблескивали, точно бисерные. Сон до конца не прошел. На церковном дворе стало казаться мне, что растут у меня ослиные уши, и я нервный от этого стал. Дергал Януса за ручку, говорил: хочу покурить. Люди в тот день казались мне плоскими картонными картинками, которые другие люди переставляют с место на место. Крашеными.

Помню я еще, что зазвучала музыка, и Глеб с Полей, а Сева с Глашей начали танцовать перед моими глазами танго.

Я проснулся утром на полу, с головной болью. Надо мной стоял Глеб, явно разочарованный вчерашним, грустно поглядывающий в сторону алькова. Глаши, и Севы, и Поли как не бывало, как не бывало и истории со скальпелем.

Мы опохмелились водкой, и я увидел выпитые бутылки: портвейн, коньяк «Арарат», белую и еще две, запамятовал. Глеб сказал мне: хочешь знать о Николае Денисовиче, поезжай в город Антон. Там ты сам найдешь дорогу. Так я взял и поехал в город Антон.

Разговор в поезде

Ха! Ха! Смерть близка...

(Надпись на гараже в Красноярске)

Сергей, 1957 года рождения, ехал из Бийска в Архангельскую область через Вятку, был моим соседом по купе, где мы занимали места 45 и 46 соответственно.

Сергей, сероглазый, с мелькающим в них лезвием, выбритый до дубления, с острым подбородком, с глазами большими, заполняющими как бы пустующие глазницы, показывающий сучок носа неожиданно заостряющимся на кончике, сначала казался мне убийцей, особенно когда он разложил свой нож, сделанный под серебро и прячущийся в собственной ручке, но по губам его вдруг пробежала узкая улыбка и, взглядом смеючись и просинивая, снял он с лица слепок тоски, будто рассматривая мелкую крупинку, когда услышал следующее:

Две женщины в траурных одеждах, желтоволосые, тетя и племянница, последняя с болотными глазами, маленьким носом, каким-то замершим, как будто там была ее умершая сестра, взглядом, убаюканная с пением в одной с ней кровати, а теперь она в черных высоких сапогах, юбке с вырезом сбоку и ногами, белеющими сквозь черные чулки. Она и рассказала то, что насмешило Сергея:

В деревне дедушка умер, летним вечером две его внучки пошли красить оградку на кладбище. Вдруг кресты и могилы начали ходить ходуном. Испуганные до смерти сестры бросились молиться и бить поклоны. Вскоре все стихло. Кажется, запели птицы, подул ветер, все стало по-прежнему. Вернувшись домой, сестры по радио узнали, что было землетрясение.

Сергей каждый год ездит на север, в Архангельскую область, где живут его мать и братья, которые торгуют лесом. В прошлом году он пизданулся с лесовоза и сломал ногу. В деревнях на севере все пьют, бабки пропивают пенсию либо друг у друга пиздят. Хочешь пей, а хочешь не пей. Пьют они технический спирт, а потом валяются пьяные. Односельчане засекают месяц, чтобы лучше подготовиться к похоронам, так как печень у тех превращается в красную кашицу.

Один человек в нашем городе стал разводить питбулей, готовя из них бойцовых собак, чтобы выступали в подпольном клубе. Чтобы были злее, он морил их голодом. Однажды, на третий день, собаки сделали подкоп на даче и загрызли двух пенсионеров, пожилых ученых, мужчину и женщину, а еще одной женщине откусили ногу. Жена собачника сказала при этом следующее: раз они умерли, значит, у них не хватило внутренних сил. Но они с мужем все равно приезжали в ЦКБ к оставшейся женщине, но их приход не помог ей, так как она тоже скончалась. Стэн видел их, кланяющихся, как китайцы, в проеме двери, когда лежал в палате с женоподобным Мотей, сло-

мавшим ключицу сыном математика-соседа, который якобы играл в бэнде у Толкачева.

Мы наблюдали двух женщин, спящих на соседних полках. Одна, черкешенка, спала в позе Данаи (а однажды она так наклонилась, что в окне можно было видеть ее грудь), синеглазая, закинув крепкую косу за спину. Другая, седая, с проблесками позолоты, коротко стриженная, востроносенькая, спала, как покойница, сложив руки на груди в замок, в царственной позе. Спали они целыми днями.

Я шепнул Сергею: сколько можно спать!

Сергей откликнулся: все они негры, черти! Видел, какая у него цепь на руке, — указав на сына черкешенки, пятки которого смешно торчали с верхней полки, соприкасаясь большими пальцами.

Мы вернулись к разговору. У нас, сказал Сергей, был случай. Поехали в деревню к тете баба с ребенком. А там еще был своячник. Выпили всю самогонку, пошли искать по деревне. Свояччник остался. Когда ребенок стал плакать, он бросил его в печку. Вернулись с самогонкой, не вспомнили о ребенке. Утром бабка полезла в печь, а там от девочки только, Сергей показал две «ножки» (произнес болезно и нежно), сделав жест рукой.

А насчет надписи, которую уже десять лет никто стереть не может, так то они, черти, сатанисты. Да, скорее подхватил я, раскрылась у нас однажды секта. Пришел милиционер в библиотеку, стал какие-то фотографии показывать, на них дом, забор, а на заборе какие-то знаки, чтоб расшифровали. Скругленный арабский алфавит, упрощенный, и кресты. Там человеческие жертвоприношения совершались.

Услышав, что Сергей пизданулся с лесовоза, я решил рассказать, как потерял часы и ботинок и обморозил ногу, а потом ехал домой в зеленом мешочке вместо башмака на ноге. Сергей сказал: не сильно обморозил, а то ведь режут только так, и он сделал тот же жест рукой.

Так вот, к нам в магазин недавно зашли негры, настоящие, из Африки, одевающиеся у одного портного, в синих крытых куртках и ушанках, один с лицом, изъеденным оспой. Постояли и ушли, все до одного грустные.

Грустные, спросил Сергей? Замерзли, наверное. Я ходил с девушкой на танцы в белую ночь, в Ленинграде. Я тогда работал в порту, на Финском заливе. Зимой бывало, хоть че надень, все

равно продувает, будто в одной рубашке. Ну а тогда я не работал, приехал в отпуск, пошли на танцы. А там были нахимовцы и негры, студенты, наверное. И стали, наглые, к нашим девушкам приставать. А как морячки их потом ремнями хлестали! Сергей снова просиял.

Его отец моложе моего, он умер в пятьдесят семь лет, а мой отец умер десять лет назад, а Сергей старше меня на двадцать лет и уже дедушка.

Бийский мост, по которому был закрыт в прошлом году проезд, уже отремонтировали. Сергей живет в старом городе, где окна первого этажа вам будут по щиколотку, а дома сделаны из пергамента и воска. Церковь хорошая стоит на берегу Бии, недалеко от нее Николай Иванович Тышкевич потерял очки на резинке, прыгнув в воду, смешной, в плавках, забыл снять.

На стене церкви у входа написаны для памяти три слова: анафема, аминь, а третье я забыл. В день Вознесения Богородицы в 1991 году нас позорно изгнали оттуда, потому что во время службы у Н. И. потек квас из котелка, а тетя с сестрой были в брюках и без платков. Я вспоминаю сверкающий синий высокий иконостас, полет голосов и солнечный столб, в котором умерли все пылинки. Помню невыносимую ломоту во всем теле, идущую от ног и останавливающуюся в горле, опадающее от головы тело и запах камфары, как в больнице.

Поговорили с Сергеем о Ленине. Раньше, сказал Сергей, который был в Москве последний раз в 1980 году во время Олимпиады, там было интересно: мавзолей. А сейчас вождя опять отправили подлечиться. Да, дедушка, блядь, сказал Сергей и сделал жест рукой. Царь им понадобился! Говорят, у царской семьи — царя, царевича и царицы — отрубили головы и повезли в Москву.

До революции люди были другие, сказал Сергей, увидев портрет Лили Брик, сделанный рукой Маяковского. Посмотришь, черти какие-то. Айседора Дункан, все влюблялись в нее, а посмотришь, вылитые черти.

Я хотел добавить, что у них были другие тела, я видел на порнографических картинках. На одной из них турка в чалме дрочится, а голая женщина с любопытством и даже восторгом наблюдает за ним, в театральной позе.

Но вместо этого я сказал, что царь был настоящим атлетом, и явно посильнее Шварценеггера.

Умолчал я и о том, как царь помочился в Стамбуле на стену мечети, зато рассказал Сергею, как Рембо отрезали ногу, когда он носил сумку с золотом, натерев ею до гангрены.

Сергей вышел в Кирове, где ему предстояла пересадка.

В сыром и темно-синем воздухе светился снег. Я стоял под виадуком, курил и плевался. По соседнему пути навстречу мчался маневровый, светя ярким фонарем размером с целковый, приложенный ко лбу.

Сергей был когда-то и в Энгельсе и на Марсе, как он сказал.

В поезде спали, играли в дурака, пьяницу, мафию, шептались о болезнях и смерти, слушали радио, а бабушка, которой я перед тем отказался уступить полку, при остановке, когда поезд тронулся, села на пол и давай смеяться.

Можно было наблюдать пятки и лица спящих зажмурившись, одутловато, выпятив губу и сделав другие мины и гримасы. Можно было видеть их бодрствующими, укачиваемых в полусне и немного печальных. Можно было подумать, что они и впрямь примеряют другие тела.

Не пылесосьте!

Не пылесосьте...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В городе Антоне

Я приехал в город Антон, где остановился у своего друга Пабло. Чудной этот город. Первые дни мы обходились без происшествий, гуляли по городу, пили чай. Кроме того, я встречался с Соколом, о котором речь впереди. Но стоило мне остаться одному на короткое время, как начались со мной странные происшествия. Я словно только на секунду отвлекся, словно уловив в воздухе какую-то песенку, как события уже посадили меня на цепь, крепко схватившуюся на моих ногах. Что и говорить, цепь-то была вся из золота.

Автобус

Многие, наверное, слышали об автобусе, который кружит по городу ночью, собирая по дороге покойников, поющих нищих, калек и сумасшедших. Он раскачивается и гудит, в салоне его горит свет, а водителя за рулем нет. Если встретишь такой автобус — беги со всех ног, хотя куда бежать? Спрятаться можно, пожалуй, только в церкви, да разве туда достучишься? Известна лишь одна, конечная его остановка — городское кладбище, где днем бабушки продают искусственные цветы, а в кустах то тут, то там сверкают на солнце зеленые трубы похоронных оркестров.

Мне не доводилось самому сесть в такой автобус, зато я знаю другие маршруты: например, вскочишь на подножку, двери захлопнутся, и ты уже видишь, что окружают тебя одни уроды, страшные рожи, не похожие на людей: то собачья морда, то свиное рыло. Почувствуешь тогда их жаркое поганое дыхание, и в сердце кольнет, и в ухе затаится свист спрятанного где-то ножа. Или, бывало, даже еще не вскочишь на подножку, а дверь уже захлопнется, и поволочит тебя телега за ногу по земле, шершавому асфальту и грязи. Счастье, если потом подойдет сердобольная девушка и подаст тебе маленький надушенный носовой платочек, чтобы утереться.

Потому, когда садишься в автобус, нужно знать, где твоя остановка. А то попадешь неведомо куда. Или воротишься на то же место. Однажды со мной так и случилось.

Зимним утром я вышел из квартиры моего друга Паблы, чтобы отправиться к Д. Пришел к остановке и стал ждать. Подо-

шел автобус нужного мне номера, и я стал садиться в него, тем более что водитель, кажется, кивнул мне. А я словно и ждал от него какого-то знака. Дело в том, что за день до этого я был в Музее Маяковского, где мне начали подавать эти знаки.

Во-первых, я обнаружил, что в Музее всего два зеркала, одно в вестибюле, а второе в той комнате, куда нельзя заходить, и в это зеркало нельзя заглянуть. Во-вторых, я обнаружил, что на трех этажах работает одна и та же женщина, в трех разных обличьях, и что никак нельзя назвать ее по имени — это Смерть. В-третьих, у черного гроба Маяковского, где я вспоминал своих родственников, молчаливо покачиваясь на волнах собственного дыхания, закрыв глаза, и ждал, что кто-то окликнет меня, пока мое сердце еще билось, и в лифте, в котором я ехал, было такое напряженное молчаливое гудение, и чувствовалось присутствие какой-то силы, вовлекавшей мое тело и мой ум в какую-то непонятную колею. Вся моя жизнь прошла передо мною у одра Маяковского: в портрете Сталина, как в негативе, я узнал моего деду Яшу, а в футуристических манифестах — предвестие мировых войн.

Когда я пришел вечером в квартиру Паблы, то долго не мог уснуть, бесконечно ворочаясь на полу кухни, крутясь вокруг своей оси. Гудение продолжалось и здесь, в виде дрожи холодильника, компьютера и прочих, хотя и выключенных, приборов. Звезды сквозили через холодное стекло. Заболело слева в груди, и я стал бояться, что если не посмотрюсь в зеркало, то обязательно сегодня умру. Я сел перед мерцающим монитором и начал писать гимны любви и смерти, а также секретные документы Морового Мравительства, в состав кабинета которого я, казалось, вошел. Одновременно меня не покидала уверенность в полной синхронизации всех событий, но эта синхронизация была лишь ложным совпадением. Ложным совпадением было и то, что, как мы установили с Паблою, все наши знакомые по фамилии Муравьев были рыжими, а наши родственники, независимо от нас, были знакомы друг с другом. Итак, я стал судорожно искать зеркало, но в кухне его не было.

Случайно нажал я на кнопку CD-rom’а, и оттуда выехал диск, в котором я и узрел лицо свое, с остановившимся остекленевшим взором. От радости я начал подавать этим зеркальцем сигналы в окно, в полной уверенности, что нужные люди их услышат. Я проснулся, когда в комнату вошел Пабло. Его отражение закружилось на дне моего глаза, поскольку я всю ночь беспрестанно ворочался, Пабло предстал передо мной в свисте верто-

летных лопастей. Пабло сказал, что кухня закружилась и перед ним также, поскольку он не надел контактных линз, так что не сразу нашел меня, лежащего на полу посреди. И тогда мне показалось, что я ночью умер, но не один, а вместе со всеми моими родственниками на другом конце телефонного провода, которые не брали трубку, — не один, а вместе с Пабло. Тогда я позвонил Д., который сказал мне, как до него добраться, добавив при этом, чтоб я не спешил, так как здесь еще никто не ложился. Я воспринял эту информацию как намек на то, что Рождество на Земле близко, что приблизилось Царствие Небесное, и стал скорее звонить председателю Морового Мравительства. Председатель несколько дней и ночей не спал, потому что пребывал в сомнамбулическом состоянии, что не мешало ему производить нужные документы и циркуляры. Я разбудил Председателя, и не узнал его по заспанному голосу. Это тоже явно на что-то намекало. На что, спросите вы. Да все на то же.

Итак, я, летчик Иванов, направился к Д. Пока я дошел до остановки, я временно забыл обстоятельства собственной смерти, но помнил о тотальной синхронизации всех событий, замкнутых на меня, и помнил, что мне должны подавать сигналы, а я должен их воспринимать. И вот уже я ехал в автобусе, сидя в удобном кресле и глядя в окно. Проплывающие дома, вывески, прохожие сильно занимали меня. Мы ехали уже довольно долго, и все никак не могли приехать к остановке, нужной мне. Вместо этого мы подъехали к тому же самому месту, откуда я начал свой путь. Я вышел из автобуса, поняв, что поехал не в ту сторону. Я перешел на другую сторону улицы, дождался автобуса и очень скоро прибыл на место пересадки. Я ехал в Северное Чертаново до остановки «Дом номер семь». Вскоре подъехал автобус. Почему-то вновь мне пришло в голову, что я умер, а теперь выполняю некий посмертный ритуал. Я стал всматриваться в лица других пассажиров и пересаживаться с одного сиденья на другое, поставив себе целью посидеть на каждом кресле. Итак, я стал всматриваться в лица других пассажиров, а они входили и выходили. Напротив меня сидел старик, который глядел несколько кривовато вбок, рот его был полуоткрыт, и в нем поблескивала некрасивая железная коронка. Вглядевшись в его лицо, я вдруг молча заплакал, потому как узнал в старике мою бабушку, что умерла десять лет тому назад. Я понял, что все пассажиры этого автобуса мне знакомы, но спрятаны за другими, временными лицами. Я увидел мою мать, но седую, высокую, в долгополом пальто. Перекувырнувшись

через голову, встав сперва ногами на кресло, я сел рядом с ней, но женщина как-то попятилась, встала и быстро пересела в другое место, так что я не успел с ней заговорить. Вдруг на самых задних сиденьях, возвышавшихся в конце салона, я увидел кого-то, похожего на Святую Троицу, с мальчиком или девочкой — Христом, и еще там была женщина, похожая на Божественную Премудрость. Вскоре автобус почти опустел, и тогда я начал читать расклеенные в нем надписи — не бросайте мусор и, главное, — не прикасайтесь к стеклу. Я начал ползать по салону и вытирать мусор руками, а к стеклу смертельно боялся прикоснуться, вспомнив о зеркале, вспомнив о том, что могу умереть во второй раз. Тем временем мы проезжали под мостом, где велись строительные работы, и строители в оранжевых накидках зачем-то махали водителю, пропуская его вперед в преддверие города Мертвых, или в ад. Я начал нажимать на все кнопки, и водитель согласно кивал мне. Он был в очках с зелеными стеклами, но я понял, что это был мой покойный отец. Под одним из кресел я нашел какие-то железные трубы, прикрепленные к полу цепями, и попытался их оторвать, но кто-то сказал мне: разве водитель разрешает это делать, и тогда я нажал на красную кнопку на поручне и посмотрел на водителя, тот отрицательно помотал головой. Тогда я успокоился и сел в кресло, ожидая прибытия к дому номер семь, который почитал конечным пунктом путешествия. Мы ехали еще довольно долго, когда водитель открыл окошко и сказал: все, приехали, конечная остановка. Я вышел на улицу и увидел, что стою на том же самом месте.

Поняв, что на автобусе я никуда не доеду, я попытался сесть в маршрутку. Она стояла в отдалении, и там не было пассажиров. Я сел и стал ждать. Водитель-армянин о чем-то переговаривался с женщиной на своем армянском языке. Я подал ему деньги, но он вернул их мне. Так как мы по-прежнему никуда не ехали, я протянул ему паспорт. Он внимательно посмотрел сперва на него, потом на меня и вернул мне обратно. Делать было нечего, и я вылез из этой маршрутки. Рядом был зоомагазин, и я решил заглянуть в него. Там в качестве заветных амулетов я приобрел искусственную собачью косточку и розовый фрукт, сделанный из непонятного материала. Это были мои последние деньги, более того, это были вовсе не мои деньги, а последние деньги моего друга Пабло, которые он мне дал утром. Но у меня оставались еще записная книжка, телефонная карточка и карточка на метро. Я пошел по улице и скоро добрел до площади Хо Ши

Мина, где было метро и телефонная будка. Я долго не мог дозвониться до Д., и тогда набрал номер И., которому поведал свое бедственное положение. И. сперва очень обрадовался, а потом сказал, чтоб я ехал до станции Коломенской, где он будет меня ждать.

Когда я прибыл на станцию Коломенскую, то встретил сначала не И., а С., который обжег глаз солнечным затмением и напоминал мне моего брата. Злой человек нагадал ему, что он умрет от венерического заболевания. Принимая во внимание все вышесказанное, я посвятил С. в планы Морового Мравительства. С. сказал, что отправляется на свадьбу. В это время подошел И. Мы распрощались с С. И. сказал, что они соседи, и встреча — простое совпадение, на что я возразил, что и Волга впадает в Каспийское море, и рассказал И. о тотальной синхронизации событий, и передал ему секретные документы, написанные мной ночью, и гимны любви и смерти. Рассказывать И. о приближении Царствия Небесного я не стал, потому как понял, что он давно уже в курсе. И. рассказал мне о вечере замечательного поэта Воденникова, и сопровождал меня, подобно доброму дядюшке, до самого дома Д., очень бережно, и при этом отобрал у меня рваный красный пакет, который я носил на случай приобретения новых ценных вещей. Я простился с И. и шагнул в подъезд дома номер семь, а затем и в лифт, который почему-то высадил меня не на том этаже, как было и в Музее Маяковского. Но там уже стоял специальный человек, который показал мне, куда идти.

Я позвонил в дверь. Д. открыл мне, сказав, что я основательно опоздал. В комнате было еще два человека, которые скрылись, когда я начал говорить. Но пока я еще не начал говорить, я увидел, что на внутренней стороне двери написано Бокс, как в больницах, но наоборот. Я понял, что это сделано для защиты от злых духов. Комната же оказалась копией моей комнаты в далеком городе, с таким же портретом девушки на стене, только в голубом свете, с такой же лежанкой, с такой же кроватью, комната показалась мне суммой всех комнат, где я некогда спал. Итак, те двое скрылись, и я начал говорить: я говорил о теории совпадений, о всеобщей синхронной смерти, о наступлении Царствия Небесного, о своей родословной и о воображаемой родословной Д., о графике солнечных затмений и падении большого небесного тела на Землю, но я умолчал о завоевании подземного города обезьянами, я умолчал о Великой Войне и не стал посвящать Д. в планы Морового Мравительства. Д. слу-

шал меня внимательно, а потом сказал, что собирается работать на телевидении. Внутри меня все горело, оттого, что я непрестанно курил, и под свое мерное дыхание, на его черных волнах я словно опять возвращался к гробу Маяковского, и, поскольку я горел, а телевидение — не более увеличительной линзы, я подумал, что Д. увеличит меня, и мы зажжем сердца наших компатриотов. Д. сказал, что пора собираться на вечер поэта Воденникова, но мне стало лень. Д. напомнил мне девушку, которую я когда-то любил. Но я любил и Д. тоже, иначе, зачем я стал бы перед ним раздеваться и развязывать галстук, который никогда бы не смог завязать обратно? Д. очень странно на меня посмотрел, и после пятиминутных уговоров ему все же удалось заставить меня одеться, и мы пошли. В качестве уступки Д. согласился подать мне пальто. Он повторял: жизнь прекрасна, и как это трогательно. Я отвечал ему: как серп и молот и звезда. На улице выяснилось, что я хочу есть. Д. зашел в магазин и купил мне пирожок с вишней. В его руках были одни медяки, и я понял, что остались лишь мелкие монеты, их подают только из приличия, а другие деньги отменили. В магазине слышалась прекрасная музыка, там пели на всех известных мне иностранных языках. Я понял, что и я могу говорить на любом языке мира. Мы подошли к автобусной остановке, и Д. вдруг спросил, не было ли у меня какого-то МДП. Я ответил, что не понимаю. Тогда он спросил зачем-то, не представляю ли я себя Наполеоном. Я сказал, что был бы Наполеоном, если бы лежал в сумасшедшем доме, а Д. сидела бы в изголовье моей кровати и пела, как только она умеет, тогда я начал бы мысленно какое-нибудь завоевание, например, Египетский поход. Я спросил, а что, мы едем на вечер? Д. сказал, нет, плевать на искусство!

Подошел автобус, где Д. два раза нажал на кнопку компостера, хотя билетов у него не было. Он сказал, что нужно заехать к одной его знакомой. Посередине пути автобус-гармошку перекосило и он стал сотрясаться на месте, а все в нем сидящие начали сотрясаться от хохота. Д. сказал, что, наверно, начали уже праздновать. Что они могли праздновать — Царствие Небесное, конечно! Мы вышли из автобуса и подошли к дому, где Д. поднялся наверх, а мне сказал подождать внизу. Я стал ждать. В это время зашла незнакомая девушка и поздоровалась со мной. Когда она стала подниматься по лестнице, я узнал куртку моего Януса и заплакал горькими слезами. Все поменяли свой внешний облик, кроме членов Морового Мравительства, и теперь нам больше никогда не встретиться! Какое мне дело до

того, что промышленность может выпускать до миллиона одинаковых курток!

Вскоре Д. вышел на улицу, и я вновь начал плясать от нестерпимого посмертного жжения в легких. Д. сказал, что напишет обо мне мемуар. Еще он зачем-то спросил, не кормил ли меня Пабло чем-то, например, галлюциногенными грибами. Я сказал, что мы могли бы позвонить Пабле по телефонной карточке, поскольку у Д. сели батарейки в мобильнике, и спросить. Он вскричал, так что же ты раньше не сказал! Я сказал ему, что мы не узнаем Пабло, поскольку все поменяли обличье. Тем не менее, скоро мы его увидели. Он вышел на улицу нам навстречу. Все трое были взаимно удивлены. Мы расстались с Д. Тут я понял, что никто не умер, рассказал обо всем Пабле, который сказал, что Д. очень строго с ним разговаривал. Я начал смеяться от радости. Я не знал тогда, что у Пабло были большие неприятности с налоговой инспекцией. Вот такая история со мной приключилась в автобусе. Ах да, чуть не забыл, в городе Антоне лифты останавливаются между этажами.

Дурак

Прошло несколько дней с тех пор, как Сокол позвал Д., М. и меня на экскурсию в город Звенигород. Там мы планировали посетить монастырь и сумасшедший дом, в котором лежал поэт С. Жаворонков, друг Сокола. В последний момент выяснилось, что я ужасно занят и ехать не могу, и они отправились туда без меня. И это было мне каким-то указанием, что я все равно туда когда-нибудь попаду. Но я не придал этому ровно никакого значения, ноль внимания, фунт презрения. Хотя Сокол предупреждал меня. Я сказал, что не хочу покидать город Антон, никогда не хочу возвращаться домой. Сокол предупреждал меня. Он сказал: ты не знаешь этого города, он пребывает в состоянии тотального галлюциноза, он словно видит себя во сне, он двоится, он подобен спящему на земле, он забывает о своих моргах и кладбищах. Сокол сказал: я не найду тебя, не найду твоего тела, когда ты будешь лежать в канаве с проломленной головой. Председатель знает этот город, он умеет жить в нем, несмотря на то, что у него тонкие нежные ребра, несмотря на то, что существуют кованые башмаки. Председатель, он как принц воров, появляется там, где нужно, и ночует на конспиративных квартирах. А ты, ты же пьешь, у тебя трясутся руки, тебе надо ехать домой и там все обдумать. И Сокол начал читать

мне стихи С. Жаворонкова, сперва из книжки, а потом из тетрадки, написанные в больнице.

Пока Сокол читал, голос его все усиливался, он сам словно бы превращался в некий солярный знак, в глазах его стояли в зените два солнца, он прожигал меня, в глазах его виднелись три царства, медное, серебряное и золотое. Стихи Жаворонкова из маленькой книжицы поразили меня. Я оказался как будто бы на сеансе магнетизма, слова сцеплялись друг с другом, образуя одно большое слово, которое нельзя было назвать, и оно получало право давать имена и крестить. Стихи из тетрадки, написанные в состоянии безумия, поразили меня не меньше, все связи распались, слова словно забыли, как их зовут, во всем сквозило различие, они словно улыбались идиотской щербатой и потому блаженной улыбкой. И это было для меня предупреждением, но я не заметил его. Приближался день Зимнего солнцестояния. Я забыл, что каждые восемь лет накануне католического рождества со мной случаются нервные припадки.

Знаки вообще бывают разными, их не поймешь. Вот, например, что произошло с Яковом.

Однажды он поехал на велосипеде в город из отдаленного района, самой окольной дорогой, через Первомайку. Он переехал через Иню по маленькому мостику, проехал мимо сине-зеленого аммиачного озера и вдруг въехал во двор дома, словно случайно. Въехал он, значит, во двор и увидел, что из подъезда выходит Смерть с косою и в капюшоне и улыбается кому-то своей неживой улыбкой. Только Смерть больше похожа на мужика. Видение длилось недолго, потом вместо Смерти там оказался действительно какой-то мужик, вытиравший лицо рукавом. Яков поехал дальше, проехал ТЭЦ, Пентагон, мой дом, доехал до самых Пяти углов. Он стал возвращаться назад. Хотел ехать прямой дорогой, а выехал почему-то опять к тому же самому дому. И что же он там увидел? Во дворе стоял гроб, в гробу лежала какая-то старуха, вокруг толпилось человек пятьдесят. Все они замерли в полной неподвижности и полностью загородили проезд. Якову пришлось пробираться мимо них, и тогда они стали беспокойно оглядываться и мотать головами. Яков читал утром где-то, что у всех Стрельцов по гороскопу в этот день может произойти встреча с их ангелами-хранителями. Еще двое суток время от времени Яков неприятно поеживался, поглядывал на часы, опасаясь, что с ним может что-нибудь произойти. Тем более, что на утро следующего дня он увидел у подъезда мужика, который точил косу. Но это был уже

просто мужик. Вот что случилось с Яковом. И кто бы мог мне объяснить, что бы это значило?

А вот что случилось со мной. После моего возвращения от Д. мы с Пабло провели весь вечер за разговором, мы вспоминали нашу прежнюю жизнь и перечисляли всех наших знакомых. Но потом я вдруг стал назначать свидания. Для этого я писал маленькие записочки с шифром, прятал их в конвертики из под чайных пакетиков и все раскладывал в вазочки. Это были записки для Ю., которую я планировал 4 апреля пригласить на кладбище на могилку бабушки. Туда должны были прийти также Янус и Д., и мы все вместе должны были воскресить покойную.

А утром мы с Пабло стали пить чай. У него нашлась последняя сигарета «Житана», привезенного из Германии. Мы стали по очереди глотать дым. Сигарета показалась особенно вкусной, как бывает обычно только на поминках. В это время синхронизация событий оборвалась. Я позвонил Янусу, который был в далеком городе, сказал, что никогда не вернусь, и нагрубил ему. Как только я повесил трубку, раздался звонок, так что я даже испугался. Ю. сказала, что заболела и не придет. И я не смогу передать ей записку с приглашением на праздник, для которого я припас коньяк «Арарат». До этого меня еще никто не динамил. Но у меня была еще встреча с Т., которая решила одолжить мне немного денег, и войти, таким образом, в мое положение. До встречи оставалось еще много времени, но я поехал пораньше, чтобы посмотреть город. Мы вышли с Пабло, и на остановке он наскреб последние пять рублей и купил мне пачку «Беломора».

Моим конечным пунктом была станция «Библиотека имени Ленина», но я доехал до Пушки и отправился оттуда пешком. У меня осталось две поездки на карточке и три разговора на телефонной карточке, оранжевой, с надписью «Je t`aime». Названий улиц я не запомнил, так как ориентировался по плану метро. По дороге я увидел большой и красивый дом и захотел пройти через двор, но милиционер остановил меня, сказав, что это Министерство и проход для меня закрыт. Более того, он сказал, что сам не знает, что там внутри. Торжественные приемы можно иногда видеть по телевизору. Он был так любезен, что указал мне дорогу. Я шел по морозцу и думал, что обязательно встречу Ю. Эта мысль глубоко засела у меня в голове. Периодически я не шел, а прямо бежал, завидев вдали казав-

шиеся знакомыми очертания, оранжевую шубу и вязаную шапочку.

Случайно я набрел на институт Мировой Литературы и захотел поговорить с Е. Арензоном, у которого хотел выманить третий том нового собрания сочинений Хлебникова. На входе меня встретил высокий горбоносый человек, один глаз которого немного косил. Он почему-то стал называть меня летчиком и вспомнил Покрышкина. Дело в том, что моя куртка немного напоминала летчицкую. Узнав, кого я ищу, горбоносый человек сказал, что никакой он не Арензон, а Аронсон, и что он похож на Андерсена. И затем, зачем-то пожелал мне всяческого здоровья. Мне показалось, что он узнал меня, хотя никогда прежде не видел.

Потом я пришел на улицу Новый Арбат, и стал заходить во всякие кафе и курить там свой Беломор. С нового Арбата я перешел на старый. Мне рассказывали, что там собираются грязные панки, а по ночам дерутся бомжи. В этом городе ненавидят бомжей.

Но я ничего такого не увидел, зато нашел памятник Пушкину и Наталье Гончаровой. Бронзовые они стояли, взявшись за руки. Я подумал, что Ю. обязательно придет сюда, и сам назначил время по часам. Никто не пришел. Мне пришлось идти до маленького павильона станции Арбат. Там я сориентировался по сторонам света по пачке Беломора, зашел в метро и по переходу дошел до Библиотеки. Улицы, вроде бы, были прямые, но я все равно двигался по кругу, будто скользя по касательной многих окружностей, соскакивая, сбиваясь с одной на другую. Заблудиться было невозможно.

Вышедши наружу, я увидел памятник Достоевскому, который, по определению моего друга Явы, дрочится. Я стал расхаживать вокруг памятника и произносить стихотворения «Семеро» и «На смерть Жукова». Вскоре я замерз и зашел внутрь библиотеки. Там на гардеробе получил номер 1941 и на этом основании подарил молодому человеку, попросившему у меня ручку, книжку «Война и мир 2001». Молодой человек спросил, про что эта книжка. И я ответил ему: про войну. Там же я встретил очкастого старика-букиниста и женщину-хромоножку из магазина «Летний сад».

Мне нужно было вновь зайти в метро, и для этого я продал девушке книжку «Анатомия Ангела» за семь рублей. Там, на станции я нашел грот, где была назначена встреча, и стал ждать Т.

Я встретился с Т. в назначенное время, получил от нее сто рублей, купил новую карточку на метро. Теперь можно было приводить мой план в исполнение. А план был таков: я никогда, нет, никогда не хотел возвращаться домой. Поэтому я поехал до станции Добрынинская, нашел там авиакассу и сдал свой авиабилет, получив за него мизер, около тысячи рублей. На эти деньги можно было еще купить билет на поезд.

Но, почувствовав себя при деньгах, я решил отпраздновать это событие. Однако когда я проходил по длинному переходу, где гитарист играл свою печальную песню, мне захотелось подать ему денег, чтобы избавиться от чувства гнетущей, снедавшей печали, ведь я никогда не вернусь и увижу нескоро моего Януса, моих родственников, мой двор, могилу моей бабушки. В этот момент мне следовало бы отправиться прямо к Пабло, а назавтра найти Я., который обещал дать мне работу.

Но нет. Когда я получал какие-то деньги, я тотчас же начинал их тратить, в основном, на выпивку и дорогие сигареты, и не успокаивался, пока не истрачивал все до копейки. Вот и теперь я решил вернуться на Арбат, где днем курил свой Беломор в многочисленных кафе, и в удовольствие там выпить. Я до сих пор почему-то надеялся, что встречу там Ю., которая отведет меня прямо на праздник, который, как мне стало казаться, состоится именно сегодня. Что это был за праздник? Приближение Царствия Небесного, конечно же!

В последние дни я так мало ел, так мало спал. Я бродил по городу, я проезжал его из конца в конец по нескольку раз. Я уже полгода не работал, и меня опять содержали родственники. Больше всего на свете я хотел денег. Даже больше, чем казаться красивым и смелым героем. Я плевал на своих прежних начальников, благо они казались мне уродами. Нигде я не задерживался долее двух месяцев. Я хотел казаться красивым и смелым, но на самом деле — был ужасным трусом. Я боялся и пикнуть на своих начальников. Мир мне виделся большим зеркалом, в тайных знаках которого я мог узнать себя. Когда я приехал в город Антон, привычные знаки стали обманными знаками. Как будто бы все вывески, все фонари, все номера домов за ночь поменял кто-то. Даже слова стали обозначать что-то иное, или они забылись, загрезили и перестали обращать внимание на меня, перестали быть знаками. Я всегда верил, что во всех книгах, которые я читал, написана правда, более того — в них написано про меня. Теперь мне показалось, что я попал в большую книгу, и что я в ней самый преглавный герой.

И я мигом забыл своих родственников, которые меня содержали, я забыл моего Януса, который меня любил, я забыл могилу своей бабушки, я наплевал слепому в глаза, а думать я перестал. Больше всего на свете я боялся смерти, и потому хотел, чтобы Царствие небесное поскорей наступило, еще при жизни. А пока я решил покуражиться, полюбоваться собой, как некий глупый павлин, увидевший свое отражение в луже. К тому же я был большим пошляком.

В первом кафе, куда я забрел, я попросил индийского чая, но мне ответили, что чай у них подают только утром, и потому я заказал грогу. Мне понравилось, что он стоит ровно 99 руб., то есть почти сотню. К тому же никогда еще не пивал я горячего грогу.

Вот принесли мне грог, и достал я бесплатную газету на английском языке, и начал я курить свой Беломор. Я недостаточно бегло читал по-английски, но тут сразу же вник в содержанье статей. Это был рождественский выпуск, люди во всем мире завершали свои земные дела и готовились к празднику. Все черты наступления грядущего царствия проступили в газетных колонках. Но они говорили о нем не напрямую, а намеками, косвенно и иносказательно. Одна статья навсегда отпечаталась мне в памяти, вернее, ее заголовок: Москве никогда не бывать Индией. Честно говоря, ниже заголовка я и не стал заглядывать. Я сразу же вспомнил стихотворение Слуцкого, в котором старухи хоронят мужей, селятся в пустые кварталы, где они о смерти болтают, и сидят сухие, скорбные, точно индусы, и глядятся в пустые зеркала своими темными лицами, словно прокопченные темные абиссинские иконы, с негритянскими Мадоннами и Младенцами. Вспомнил я и Индию глаз, в которую превратилась Москва. Я словно бы вынул стопу из вод темного подземного Ганга. Тысячи лиц, в которых проявлялся один Божественный лик, многократно запечатленное сходство, вылитое, как вылитое, копия Ты, проплывали перед моим разверстым взором. Передо мной вставали картины избиения в подземных переходах, картины царственных шествий, картины похорон, — все, что мы видели с D и с Соколом во время наших недолгих прогулок. Все эти лица должны были мы запомнить, всех этих людей должны были мы поименно перечислить, чтобы потом по сигналу трубы поднять их на восстание мертвых, на восстание народов, которое повлекло бы падение всех земных царств, которое приготовило бы пути Господу, прямыми сделало бы стези Его.

В условленный час должны были собрать мы людей из всех мировых столиц в подземных городах Москвы, Стамбула, Лондона и Сан-Франциско, в условленную годину должны были объявить мы войну. Ведь замки мирового торга уже пали, в два мига, когда над Манхэттеном столбом встали дымы, и люди, ослепленные, пали ниц, и стали скрести свои головы, словно бы от лепры, головы, спекшиеся, как головы вьетнамских младенцев, из которых американские солдаты делали в свое время себе медальоны. Падение Башен-Близнецов, единственное подлинное событие, которое можно было лицезреть по телевидению, было нам сигналом.

Итак, с мыслью о том, что Москве никогда не бывать Индией, вышел я из кафе и сразу набрел на индийский ресторан. За его цветной цирковой дверью начинались коридоры, все ведшие в центральную залу, обитую розовой тканью. И здесь готовились к празднеству.

Выйти из залы было непросто. Почти все коридоры вели тебя обратно, в самый центр ее, и только один коридор вел на улицу. В зале выпил я чашку капучино. Вспомнил я и индуса в чалме, который показал мне дорогу к музею Маяковского, и мысленно послал ему поклон.

Именно с этого момента я опять начал двигаться по ложному кругу, попадая все на то же самое место. С большим трудом отыскал я выход из индийского ресторана, вышел на улицу и прошмыгнул под аркой из Нового на старый Арбат.

Все дальнейшие события склеились в моей памяти, словно в одном шарике, в котором отражается все, но если поднести его к глазам, то видно одно бледное пятно, размером с Луну. Придется расслаивать его, колоть специальным двуострым топориком на части и раскладывать их по порядку.

Д. сказал, что праздник состоится во вторник, в день моего назначенного отлета. Сегодня был понедельник, и мне вдруг показалось, что он меня обманул. Праздник должен был состояться сегодня, в 10 часов. Мы должны были пировать неделю, а потом лечь спать на неопределенное время, нагие, словно в общей могиле. В Новый год должны мы были проснуться и увидеть новое небо и новую землю. До 10-ти часов оставалось еще немного времени, и я решил попить пока, в удовольствие, в каждом новом кафе только одну чашку того или иного напитка. В первом же кафе, куда я зашел, чтобы выпить чешского пива, на входе меня встретила гардеробщица с лицом певца Укупника, то есть сам Укупник в женском обличье. В баре было пусто,

только мрачный бармен-армянин поглядывал в телевизоры, где отражались представители нашей эстрады. Причем одни и те же на всех экранах. Мне это не понравилось, и я покинул заведение.

Но других кафе не оказалось поблизости, вместо них набрел я на театр, в котором был спектакль «Ужин с дураком».

Многие видели карту Таро «Дурак»: человек с завязанными глазами с веселой улыбкой заносит ногу над пропастью. Эта карта выпала мне первой, когда Ява, гадатель, гадал мне. Я понял, что я и есть тот самый дурак, которого приглашают на ужин. Я втридорога купил билет у какого-то пройдохи и отправился было на свое место, где, как я предполагал, должна была ждать меня Ю.

Но я так долго ждал ее сегодня возле телефонных будок, в кафе, у памятника Пушкину и Наталье Гончаровой, я так часто метался за нею, что затаил обиду и не пошел на свое место. Вместо этого я поднялся на третий этаж театра, выбросил номерок в урну с водой, зашел на галерку, дважды прошелся по ногам зрителей, сказав при этом «извините умножить на n+1». На сцене я увидел актера Хазанова, с которым несколько часов назад буквально столкнулся на улице. Спектакль тотчас же перестал интересовать меня, и я решил осмотреть внутренности театра. Я набрел на какую-то комнату, где стоял компьютер, и попытался вылезти в интернет, чтобы отправить всем свое сообщение. Вход в систему был заблокирован, к тому же пришел какой-то человек, который довольно вежливо попросил меня вон. Я спустился по лестнице и сказал гардеробщице, что не могу сам достать номерок из урны с водой, потому как боюсь разлить ее по всему полу. Прибежала женщина-администратор, она сказала, что нужно вызвать бригаду. Но охранник, который был там, остановил ее, сказав, что поможет мне и проводит меня. Я сразу же проникся к охраннику необыкновенной симпатией, начал спрашивать его о том, как его зовут, и где он воевал. Он ответил, что зовут его Сережа, а где он воевал, я сам и так знаю. Необыкновенная симпатия к людям в форме не покидала меня несколько дней. Они казались мне специальным кортежем, который осторожно и тайно охраняет меня. Секрет урны оказался прост. Темная вода, как линза, создавала иллюзию глубокого дна. Достаточно было запустить туда руку по локоть, и вот номерок уже у меня в кармане. Охранник осторожно проводил меня к выходу из театра.

Вышедши на воздух, я стал спрашивать прохожих, где мне найти букинистический магазин. Там я хотел достать старинную книгу с засушенным цветком внутри. Мне отвечали, что букинист уже закрыт. Тогда я увидел цветочный магазин, где также продавались благовония и разные статуэтки. Там я купил фигурку Чарли Чаплина в подарок Янусу и ароматную жидкость для напитания комнаты запахами. Так я пополнил число своих волшебных амулетов.

Итак, перечислим, что было при мне, перед тем как я попал в кафе «Последняя капля». Я был человек-шкаф. На мне был гладкий синтетический костюм, в карманах которого лежали: паспорт, военный билет (подтверждающий, что я могу принять участие в возможных боевых действиях), развязанный у Д. и смотанный малиновый галстук, пакетик со светодиодами для того, чтобы моя сестра могла лазить в пещерах, маленькая искусственная косточка и непонятный розовый плод, купленные в зоомагазине, записная книжка со всеми-всеми необходимыми телефонами, из которых лишь телефон Пабло я успел выучить наизусть, оранжевая телефонная карточка Je t`aime, схема московского метрополитена, карточка на метро, ароматная жидкость, фигурка Чарли Чаплина и 50 рублей денег. На правой руке были часы. Поверх пиджака на мне была надета кожаная «летчицкая куртка», во внутреннем кармане которой находилась запасная карта метрополитена, а в боковых карманах лежали пачка Беломора и кошелек, в котором было 600 рублей денег.

Я довольно долго искал кафе, чтобы как следует там выпить, но все они были еще закрыты, только одно оставалось открытым, называлось оно «Последняя капля». Я отправился в «Последнюю каплю», но вместо нее оказался в кавказском кафе «Кенто», где на входе были воткнуты в урны какие-то искусственные павлиньи перья, напоминающие траурные венки. Подумав, что Царствие Небесное близко, я смело оставил куртку с кошельком в передней, хотя там не было никакого гардеробщика. И поднялся наверх. Там играла армянская, грузинская музыка, по стенам развешаны были кинжалы, фотографии грузинских старейшин, горцев, черно-белые, висели картины грузинских художников, видны были предметы утвари. Красивые грузинки-официантки разносили еду. За столами сидели несколько человек, улыбались, разговаривали и вовсе не походили на кавказцев.

Я решил устроить себе подготовительный пир, заказал мамалыгу, сигареты «Мальборо» (беломор остался внизу) и рюмку мукузани. Вскоре вино и сигареты были поданы к столу. Я начал выпивать и закуривать. Выпив, я стал рассматривать занимательные предметы и картины грузинских художников, начал ходить и приплясывать.

Вдруг, откуда ни возьмись, появился администратор. Он нес мою летчицкую куртку. Администратор сказал мне, что я напрасно оставил ее внизу. С беспокойством начал я обшаривать карманы и не нашел там маминого маленького красного кошелька. В волнении стал я рыться по карманам пиджака, нашел там пятьдесят рублей, и в ужасе бросился отменять все заказы. Два заказа отменить я не смог — рюмка мукузани была уже выпита, а в руке моей дымилась сигарета из початой уже пачки. Денег хватало только на рюмку. Дрожащим голосом я сообщил об этом администратору. Тот не сразу понял меня, а потом сказал, что за это можно получить пизды. Я молчал. Тогда администратор отобрал у меня паспорт, сказав, что вернет, когда я принесу деньги, и выгнал меня из кафе.

Когда я вышел на улицу, то понял, что меня обокрали, причем, возможно, сам администратор. Я бросился к милиционеру, который стоял недалеко от кафе. Я, запинаясь, рассказал ему, что случилось. Усатый милиционер спросил, есть ли мне куда пойти, а услышав про Пабло, сказал: приходи с обращением завтра, а сейчас пиздуй к своему Паше, пока ты не получил пизды здесь.

Я никогда в жизни еще не получал пизды. Мысль об этом сразу разогнала все обещания Царствия небесного, все посулы праздника, и они разбежались, как толпа при виде конной милиции. Эта мысль оказалась столь ужасной, что я сразу же вспомнил, что могу пасть жертвой маньяка, что меня обязательно сегодня зарежут. Я огляделся вокруг, несколько групп молодых людей, одетые в черные куртки, словно бы поджидали меня. Покорно идти за ними было невыносимо. Я вспомнил о Веничке. В совершенной панике я снова огляделся вокруг и увидел аптеку, которая уже закрывалась. На входе я отчетливо почувствовал трупный запах. Тут же мне вспомнилось, что я выполняю некий посмертный ритуал, и я шагнул внутрь. Там я огляделся и решил приготовить противоядие, подобное чудесному бальзаму Дон-Кихота.

На оставшиеся копейки я купил бальзам «Золотая Звезда» и зажевал его обертку, потому как не смог открыть саму круглую

красную коробочку. Трупный запах исчез. Я понял, что когда выйду из аптеки, меня будут убивать. Поэтому я проглотил бумажку, пропитанную бальзамом, запил ее ароматной жидкостью и вышел на улицу, куда меня уже выгонял охранник.

Там мне следовало бы, конечно, закурить и еще раз все взвесить, но вместо этого я направился к ближайшей телефонной будке. Я позвонил Пабло, но его не было дома. Руки мои замерзли, и я с трудом перелистывал страницы записной книжки, забывая номера телефонов, прежде чем подносил палец к кнопке. В последний, запоздалый момент я почувствовал приближенье припадка и набрал номер скорой помощи. Номер почему-то не набрался.

Тогда я понял, что скоро наступит конец. Мигом вообразив телефонную будку кабинкой для переодевания, я сбросил с себя всю одежду, кроме одного ботинка, на котором был слишком тугой завязан шнурок, на всякий случай порезал себе вену на руке и лоб бритвой (испугавшись все-таки перерезать себе горло), зажевал лезвие и выплюнул, проглотил последние десять копеек и бросился бежать по улице голый, подбрасывая куртку и шапку до второго этажа, подавая людям знаки и крича о помощи.

Вдруг возле меня остановились синие «Жигули». Я вообразил, что они должны отвезти меня в Буэнос-Айрес. Но дверцы автомобиля не поддавались. Напротив, машина вдруг поехала. Тогда я уцепился за бампер и стал бежать ногами по земле. Машина поехала быстрее. Не в силах бежать боле, я упал на асфальт, покрытый тонкой ледяной коркой и тончайшим снежным пушком.

Я решил умирать прямо здесь, либо от холода, либо под колесами машины.

Прошло несколько минут. Никто меня не давил. Тогда я поднялся и помчался вдоль по улице, а потом забежал во двор. Там я увидел женщину. Которая в ответ на просьбы о помощи, в ответ на протянутые руки, закричала: не подходите ко мне! Я был, наверное, страшен в тот миг, я был гол и по лицу моему сочилась, замерзала и запекалась кровь.

Я бросился к подъездной двери, стал нажимать кнопки кода и звать Ю. в микрофончик. Мне не ответили. Я бросился вглубь двора по крышам автомобилей, стоящих на стоянке. Брюки волочились за мной, болтаясь на левом ботинке.

Я забежал в какой-то закуток, начал там валяться на холодном льду, пытаясь согреться его грязью. Я звал на помощь, я шептал букву «ю». Не знаю, сколько времени прошло.

Я услышал голос, звавший меня, и увидел милиционеров, бегущих ко мне от машины. Милиционеры накрыли меня моею же курткой и посадили внутрь. Видимо, по дороге они собирали раскиданную мною одежду.

Меня привезли в участок, где было тепло. Там я почувствовал, что шарик, в котором отражается все окружающее, этот волшебный фонарик с хохотом разлетается. Хохотали милиционеры. Каждый из них, как минимум, двоился. Они были и здесь, и везде, и нигде. Они задавали вопросы. Я назвал свое имя, громко, чтобы меня услышали все. Потом я начал очень громко читать стихи Пушкина, а также «девочка пела в церковном хоре», звериным голосом, так что стекла дрожали. Милиционеры смеялись. Они поднесли мне мою одежду и теплого, почти горячего напитка, чтобы я подкрепил свои силы.

Я подошел и стал одеваться у батареи. Правая нога, та, что была без ботинка, страшно болела. Батарея жглась. Я посмотрел на свои вещи и увидел, что они раздвоились попарно, и пары их связались в один общий узел-клубок. Я начал разматывать этот узел. Это длилось долго. Одна и та же вещь уже была на мне и одновременно лежала на полу поодаль. Мой глупый полуголый вид очень смешил милиционеров. Они просили, чтобы я почитал еще стихов, и спросили меня, не знаю ли я, кому памятник поставлен на улице, где я бегал. Я спросил: «Пушкину?» — но они засмеялись снова и сказали, что Окуджаве. Наконец я оделся. Оставалось напялить ботинок на непослушную, твердую и мягкую неподатливую ногу.

Когда с этим было покончено, меня отвели в соседнее помещение и бросили туда пакет с моими вещами. Там были несколько книжек, бальзам «Золотая Звезда», амулеты из зоомагазина, военный билет. Недоставало шапки, галстука, часов, записной книжки, карточек на метро и телефон, Чарли Чаплина, которого я выкинул по дороге.

Сперва я хотел устроиться на скамье и заснуть. Но это мне не удалось, потому как нога стала гореть. Тогда я начал плясать, громко читая вслух стихи Хлебникова и свои собственные. Приплясывая так хроменько, я заметил за другой решеткой спящего Председателя. Я понял, что нам предстоит боевое задание, а сюда бросили для подготовки. Я думал, что председа-

тель мертв, и стал будить его не своим голосом, потому как мне хотелось с ним побеседовать.

Председатель все не просыпался, а нога горела все сильнее. Тогда я начал лечиться. Для этого я смазал ступню бальзамом «Золотая Звезда», разжевал и проглотил амулеты из зоомагазина. Поняв, что для боевого задания мне выдадут новый военный билет, разорвал в клочки старый, пощадив только свою фотокарточку. Ковыляя, встал и начал еще сильнее будить председателя.

Вместо председателя в щель двери заглянул милиционер и долго смотрел мне в глаза, пока я изрыгал слова стихов вон. Наконец проснулся председатель. Он начал материться и оказался не председателем, а каким-то пьяным мужиком.

Вскоре пришла какая-то женщина и с ней плотный мужчина, им показали на меня, а потом на вещи, что были разбросаны на полу, и выблеванные амулеты из зоомагазина, и клочья военного билета. Женщина с мужчиной недолго говорили со мной и сказали, что будут меня забирать. Я сказал, пусть позвонят Пабло. Все, что я помнил, это свое имя, фамилию, отчество, адрес в далеком городе и телефон Пабло. Женщина и мужчина недолго попререкались с Пабло, а потом сказали, что все же надо меня забрать, несмотря на мои протесты. Меня посадили в особую «Скорую помощь», с койкой на ремнях, но не на койку положили, а на кресло рядом. Близко ко мне сел мужчина, он был очень крупный и сильный, так, что мог легко меня схватить, если что-то ему не понравится.

Поняв это, я стал молча смотреть в окно. Мы ехали довольно долго, кружили по безлюдным вечерним улицам, освещенным на удивление прямыми фонарями, сверху падал и падал снег, заметая все, кроме этих самых светящих неярко фонарей.

Наконец мы подъехали к какому-то зданию, въехали в обнесенный высоким каменным забором двор и вышли, наконец, из машины.

Это был сумасшедший дом на улице Потешной. Так, не помня себя и себя не зная, несмотря на все угрожающие приметы, несмотря на предупреждения Сокола, я туда угодил.

Рассказывают, что ресторан, где у меня отняли паспорт, спустя три месяца был взорван конкурентами, хотя разные назывались причины. Погибли люди. В доме располагалась одна единственная квартира, хозяйка которой, старушка, незадолго до взрыва ушла из дома вместе со своей собачкой, и больше никто ее не видел.

В больнице

Как видит читатель, я и думать забыл о цели своего визита — розыске маниака Николая Денисовича. Однако в больнице он словно бы с того света напомнил мне о себе.

Что говорить теперь о первом медосмотре, которому меня подвергли. Врач, привезшая меня, дюжий санитар, и санитар поменьше, видимо, из бывших больных, и дежурный врач больницы слушали меня молча, а я меж тем пытался вернуть себе рассудок. Как выяснилось потом, протокол не велся, так как дежурный врач, а, может, и больший врач, главное лицо больницы, показал мне мельком пустой листок. Пока врачи и санитары слушали меня, проявляя невозмутимость вкупе с внимательностью, которая показалась мне чрезмерною, я попытался объяснить свое поведение, при этом прибегая к сравнениям. Мои слова были мольбой об оправдательном приговоре либо о смягчении моей участи, но я произносил их надменно, ведь воображал себя кем-то похожим на голого короля. Я искал защиты у прочитанных книг и просмотренных фильмов. Так, объясняя то, что я бегал голым и цеплялся за машины, я упомянул американского оборотня в Лондоне, сказав, что действовал, подражая ему.

Молчаливый допрос, в котором признание вымогались из меня деланным недоумением врача, в котором, выгораживая себя, воображая себя совершающим вылазку из осажденного города, я лишь приближался к заготовленной мне ловчей яме, и оказался пойманным, взятым языком, наконец, завершился. Отмечу, что недоумение врачей производило столь сильное впечатление, что они совершенно, казалось, не замечали моей быстро вспухшей ступни. Эта невнимательность продолжалась на протяжении всего моего пребывания в клинике на Потешной, словно я не в самом деле мог стать, а лишь казался им одноногим.

Не забуду сказать, что после осмотра меня вновь заставили раздеваться, но на этот раз в целях мытья. Санитар посадил меня в ванну, он стоял у меня за спиной и поливал из душа мою спину. Потом все мои вещи побросали в мешок, а взамен мне дали пижаму, а самого меня направили в палату.

Но сперва я попал в больничный коридор, где познакомился с санитаром поближе. По моей просьбе он принес мне чаю. Оказалось, что рядом с ним стоит беспамятный. Они проявили большую заботу о моей ноге, на которую я уже не мог насту-

пать. Пациент в серо-фиолетовой пижаме, такой же как у меня, проводил меня до туалета — квадратной комнаты с багровым голым бетонным полом. Там я только смог его хорошо его рассмотреть и познакомился с ним. Отмечу, что в больнице все стали казаться мне одного роста, сходного с моим. Пациент назвался Сашкой, но он помнил только свое имя, оставаясь в остальном беспамятным, не помня до конца ни времени, ни обстоятельств того, как попал в больницу. Воспоминание его вывелось в бормотание, он говорил что-то о поезде, но другие слова оставались как бы доносившимся гулом. Я сразу признал в нем своего друга, демона плодородия, но здесь он был сморщенным, побледневшим в своей смуглости. Санитар же посмеивался, дразня меня Веничкой.

Из туалета, освещенного лампой, невидимой мне, так как, задирая голову, я рисковал потерять равновесие, меня провели в темную палату, которая лишь на время осветилась, чтобы мне показали кровать, которая тотчас прогнулась надо мной. Пришла медсестра и поставила мне укол. Затем подошел Сашка, и, указав мне на лунатика, черного, сутулого, с бородой, сказал мне, чтоб я не боялся его. При коротком свете мне не удалось целиком осмотреть палату, а когда ж его погасили, я стал смотреть в замерзнувшее и сияющее синим инеем окно, фосфоресцирующее в свете дальнего уличного фонаря. Не знаю, сколько времени прошло. Я стал шептать про себя «стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» и старался при этом принять позу Повешенного. Как меня и предупреждали, и, видимо, около полуночи, лунатик поднялся и стал ходить. Он единственный был выше всех ростом, примерно на две головы.

В это время проснулся другой больной, где-то у меня за головой, и начал страшно высоким плачущим голосом кричать о погоне и своей матери. Я вновь подумал, что нахожусь в каком-то особом месте, а до меня доносится мой собственный голос маленького мальчика, который просит маму спеть ему «спи, моя радость, усни». Под это томительное пение я и заснул.

Утром или же вечером того дня меня перевели на другую койку. Оказалось, что палата была одна с несколькими выходами в коридор, а отделение было мужским. В палате было около 30-ти коек, а меня перевели в самый угол. Там я возносил санитаров и медсестер ангелами и гуриями, а себя человеком, готовящимся к вступлению в рай. Медсестра больно уколола меня в бедро, но боли я не заметил. Напротив, я, не обращая внимания на вздувшуюся стопу, стал заниматься йогой, упраж-

нения которой были почерпнуты мной когда-то из книжки «Хатха-йога. Путь к совершенству». На ней изображалась индуска, сидящая в позе полулотоса в хореографическом костюме.

В туалете я встретился с человеком, который стонал, привязанный тонкими ремешками, ночью. Я вообразил, что у него фимоз, и предложил развязать его, как узел, и помочь помочиться. Но он сказал, что вовсе не боится ссать, и тогда я понял, что он — это не я, маленький. Он рассказал свою историю. Его забрали в армию, но по дороге он сбежал, гонимый манией преследования. Он просил сообщить о его положении матери его. Я не смог помочь ему.

Когда-то мы с мамой ездили в Сочи, я попал в больницу с мнимым аппендицитом. Я пробыл в больнице пять дней, после чего был отпущен. Там я познакомился с мальчиком старше меня. Он отправился утром на рыбалку, терпя боль в животе, а вечером угодил в больницу с жесточайшим перитонитом. Тогда моя мама искала его маму, последняя же уже и не чаяла, уже обзвонила все морги и органы.

Мальчик рассказал мне анекдот «Мел» про незнакомое мне слово «пизда»: У бабы была большая пизда, в нее втыкались все хуи. Она пошла сама на базар, но никто ее не купил, никто не хотел ее есть. А как анекдот называется? Кто-то проговаривался: «мел». На что мальчик ответил: «вот ты и пизду съел». В Сочи тогда пахло магнолиями, я там видел тую и павлина в дендрарии, куда мы ехали на фуникулере. Там мы смотрели фильм «Невезучие» в кинотеатре под открытым небом. Действительно, я вспоминаю, что балерины дразнили меня пьер ришаром. Пахло гнилыми фруктами, а почерневшее море штормило все пять дней, пока я лежал в больнице. На пятый день врачи сперва подшутили надо мной, сказав, что у меня грыжа, а потом отпустили.

Итак, я думал, что в больнице смешение кровей, ангелы готовят меня, и я должен побрататься со своими «мнимыми» друзьями, а потом попасть на пир, где будут и Ю., и D, и Янус, мои жены.

В одном человеке в туалете я узнал моего друга Антона, с которым мы, сцепившись руками за спиной, стали поднимать друг друга по очереди в воздух. Я спросил его о Николае Денисовиче, не знает ли он. И вот что он мне поведал.

Один день Николая Денисовича

Еще давно попав в Алма-Ату, Николай Денисович завел себе привычку быть жиголо. Он знакомился с приезжавшими отдыхать женщинами, всегда подтянутый, всегда в легкой фетровой шляпе. Он угощал их яблоками и вином. Представлялся военным в отставке. И действительно, его тело приобретало нечто от военной выправки. Он был мастером похищать у раз встреченных им людей осанку и манеры. Так вот, представляясь курортницам военным, он заманивал их к себе, а потом травил. Мышьяком. Он путешествовал от курорта к курорту. Но, чувствуя, что начинает стареть, что его одежда изнашивается, решил он жениться. У его супруги была квартира, и скоро он остался вдовцом. Перебрался в город Виноград, где сумел притвориться мертвым от перелома шейки бедра, а сам уехал в город Антон.

В городе Антоне открыл свое дело: скупал краденное, собирал ножи, бывшие по мокрому делу, и даже органы человека коллекционировал. Был раскрыт, посажен в тюрьму. На тюрьме умер, проглотив кусок граненого стакана, попавшего в передачу вместе с пирожком.

Мнимый Антон сказал мне: теперь ты будешь царем дураков. Он быстро сделал мне шапку из клееной газеты и надел мне ее на голову. Жезл найдешь где-нибудь. А так покрасуйся пока.

Скоро я заснул, и во сне мне привиделся Николай Денисович, повелитель финок. Брюхо его было огромным сообщающимся сосудом, подобно батарее центрального отопления. На ней в красках были размалеваны сцены кровавых убийств, в руках его змеились, точились друг об друга все возможные виды ножей, причем их рукоятки поблескивали в его кулаках. Вокруг него на веревках висело женское белье, а также головы жертв, подвешенные, как сушеные рыбы. Головы эти вещали о сотнях убийств, и каждая рассказывала свою историю. Николай Денисович сидел запертым в клетке, возле которой находился неприступный страж, недреманное око. Яды и порошки стояли на полочке, в флаконах, склянках, рядом были хирургические предметы, но все они навеки были закованными, запаянными в своих сосудах, чтобы в мире не пролилось больше ни капли крови. Рядом с недреманным находился Ангел, который непрестанно шептал молитвы, но не о старике, нет, о невинно убиенных детях.

Вечером того дня или же следующего ко мне пришли мои маршалы Даву и Мюрат, а попросту Пабло и Фил, которые обежали весь Арбат и наконец нашли мой паспорт и заплатили за меня подать. Я обнял Пабло и поцеловал Фила в щеку. Я готов был заплакать, ведь мои друзья тоже вошли в Моровое Мравительство.

Утром или вечером того дня ко мне пришли Сокол и Ирина, похожая на мадонну Бенуа, с глазами большими, как темные яблоки. Сокол принес мне блок московской «Примы». Я спросил, не придет ли Ю.? не придет ли Д.? Но Сокол сказал: нет, они не придут.

Мои родственники на другом конце провода ожили. Потом я узнал, что мне звонили Янус и мама и R. Все перечисленные в рукописи мои друзья бегали как белки в колесе, чтобы только выручить меня оттуда. Я хотел бы публично извиниться перед ними и покаяться перед ними. На этом повесть свою пока завершаю. Прости и ты меня, читатель.

Я проснулся и с легким сердцем стал возвращаться домой, в город Виноград, под пение D, которая сидела у моего изголовья, на нижней полке, и рассказывала мне истории про нашу жизнь хрустальную, но еще далекую, как грядущее пробуждение, и непременную, как Пасха.

Медленно мы проезжали станции и полустанки со спящими вагонами, где пятки торчат на уровне вашей головы, и если вы направляетесь в тамбур или к титану, то в окнах встречных составов можете видеть мужчин с расстегнутыми рубашками, лунатично глядящих, казалось бы, прямо на вас, будто пойманные на зевке, но все мимо, мимо, поминутно обставляющих своеобразную и жалкую пантомиму.

P. S.

Каждому хочется иметь родственников в Италии, чтобы иногда навещать их. Так и представляю их нежащимися в благовонной древесной тени, под пленительным небом Сицилии. Некоторые ведут даже свою родословную от итальянских евреев, лекарей, пекарей и аптекарей, как, например, один из моих друзей. Иные, опять же, кичатся тем, что происхождения они высокого, голубой грузинской крови, хотя сами-то происходят от тех же евреев, только грузинских. Они продолжают свой род, смешиваясь с латиносами, как, например, Камикадзе-Гонсалес,

крепкий мускулистый грузин, который одну фразу говорит с акцентом, а вторую — без него. Ну уж не обойдется тогда без разговоров о том, что Пржевальский крутил роман с матерью Сталина, пока Джугашвили тачал сапоги. Жаль при этом только Надежды Аллилуевой, царствие ей небесное. Тем же, кого обделило провидение, остается лишь локти кусать.

Мне, в отличие от вышеперечисленных, повезло. У меня есть дядюшка в Италии. Но он чистый старик и не любит принимать гостей. Это собственно не кровный дядюшка, но и не седьмая вода на киселе. Я и видел его всего два раза в жизни. Первую встречу я как-то запамятовал, а о второй расскажу. Зовут дядю моего Максимом. Шли мы однажды с ним вдоль улицы, плавно переходящей в Крымский мост, откуда открывается вид на храм Христа Спасителя и на памятник Петру Первому на острове Стрелка. Максим рассказал мне три небольших истории. Вот они по порядку.

Весу золотой пыли на куполах храма — 50 кг. Из такого материала можно в целом городе Кирове сделать каждому человеку по 32 золотые коронки. Но для того, чтобы нанести это золото на купола и маковки, понадобилось 144 тыс. рабочих пчел.

Вторая история. На острове Стрелка, отделяющем Москву-реку от Канавки, стоит на вечном приколе пароход, который одновременно является рестораном и гостиницей. Направляется он медлительным своим шагом в Америку, как сказали Максиму в кубрике.

Максим сказал, что прибытие этого судна в Бостон не замедлит случиться.

Третья же история касается непосредственно Крымского моста. В летнее время по мосту любит прогуливаться в голом виде один человек.

Тут мне пришлось прервать свое молчание и воскликнуть: а я его знаю, это Володя Москвин!

Дело в том, что когда я был в сумасшедшем доме на улице Потешной, в туалете ко мне подошел некий крепкий человек, который сказал мне остеречься туберкулезника, который кроваво харкал на соседней со мной кровати, и сказал, что мне надо срочно лечить ступню, иначе гангрена может начаться. Между прочим, этот человек сделал такую реплику в сторону, в третьем лице: Володя Москвин опять залез на Крымский мост.

Помню, как пил я чай с санитарами, братался с больными, опасался лунатика, который всю ночь ходил взад-вперед мимо моей кровати, занимался йогой и был прозван кем-то, а как — я

уже забыл. Помню старика, который крутил мне сигару из бычков в газетной косиножке, а потом ночью, выломав стекло, требовал сигарет. Врач же, подобно Нильсу с дудочкой, махал у него перед носом папиросой, такой маленький перед этим гигантским Верленом с красным от морозного загара и синекастым лицом. Когда его завалили, он поломал санитару часы, за что и был привязан к койке тонкими ремешками, и проклятия и храп его раздавались еще целую ночь.

Помню я и мнимого Антона, который скрутил мне три шапки из газет: первую — папскую тиару, вторую — морскую треуголку и третью — наполеоновку. И теперь иногда я беру в руку жезл с набалдашником, деталь неизвестной мне машины, и маленькое лощило, напяливаю одну из шапок, играя, таким образом, в короля, который смотрит сквозь пальцы.

Вот, собственно, и все.

Да, чуть не забыл. В городе Антоне построили два небоскреба-близнеца, но не для торговли, а для житья.

P. P. S.

Золоченые буквы показали корешки книг, другие чернелись. Из потайного ящика вытащил я мотки фотопленок, на которых люди в негативе показали негрские лица свои и белозубые улыбки. На снимках был виден старинный пикник, где тетя Галя танцует среди друзей и подруг. В руках моих оказался игрушечный жезл, найденная в детстве тяжелая серебристая трубка с круглым набалдашником. В руках моих оказался маленький стеклянный шар, в котором отражалась вся комната, но если поднести его к глазам, то видно было лишь одно бледное пятно, размером с Луну. Мне захотелось принять царственную позу. Для этого вытащил я из пакета шапку, сделанную из газет, треуголку Наполеона, на лбу которой виднелась статья «Москве никогда не бывать Индией». Напялил на лоб я свою треуголку, сделанную мне в подарок в московском сумасшедшем доме на улице Потешной, взял в одну руку стеклянный шар, а в другую — железный жезл. Вооружившись этими предметами, начал я мысленно повелевать своим детством, начал я командовать своей юностью, ибо больше не было у меня солдат. Но и из этих солдатиков, с флажками и с острыми сабельками, спрятавшимися позади слов, позади знакомых имен, об-

лепивших, как пчелы, цветки мельчайших событий, бывших и не бывших, я построил себе армию и флот, и двинулся с ними в направлении потерянного гроша, в путешествие по тысяче знакомых лиц, в поисках ослепившего меня однажды сходства. Не сходства даже, а зеркального, гадательного узнавания, которое завязывается на дне глаза, под болотным и сонным веком которого плавают, постукивая друг о друга, кубышки. Узнавания, томительного и мнительного, которое хранят в себе старинные фотокарточки, выцветшие, потерявшие имена, глядя на которые, уже не упомнишь родного лица. И за ради этого сходства, этого узнавания, и оказываемся мы на улицах города Винограда, близоруко всматриваясь в лица прохожих, подозревая, что нас окружают уже одни уроды, да гадиббуки в женском, в мужском обличье, отдаленно похожие на мужчин и женщин, отдаленно напоминающие нам о нашей любви.

Родственники выкупили бедного учителя у врачей психобольницы и отвезли его назад, в город Виноград. Обморожение было вылечено в отделении психосоматики. Там он некоторое время продолжал чудесить, но вскоре я потерял его из виду, говорили, что он успокоился и даже вернулся к преподаванию, он обучал русской литературе в школе для слабоговорящих, хотя сам изрядно шепелявил, придыхал и заикался. Шапка его и жезл достались мне вместе с рукописью, а текст заметок из газеты, которую так до конца и не удалось мне прочитать, ввиду того, что шапка представляла скорее подобие чалмы, я утаю.

2002—2004

Книга третья

Восстание грез

в пяти главах

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Он спал под тяжелым бархатистым одеялом, всю ночь в нем барахтаясь, а на соседней кровати гостиничного номера дрыхал Михась. Они незлобиво поговорили друг с другом о том, что в гостинице нету завтраков, но это уже после пробуждения. И возникла мысль, как заплатить за гостиницу, ахнул было и присел, но вспомнил тут, так, что подбросило до потолка и закачало тусклую люстрицу, что деньги есть, много, но все крупными купюрами с круглыми цифрами. И спустились когда в приемную с четвертого этажа, то стал эти деньги раскладывать, так, чтобы за себя и за Михася заплатить, оказалось, что у них нет сдачи. Впрочем, нашлась сдача, дают ему знаки денежные, а там — этикетки от спичечных коробков, фантики, вкладыши в жвачку, марочки, и вот дают еще пачку, поувесистей да потолще. И на вопрос говорят, ваш город далеко находится от одного государства, где такие деньги ходят, а наш немного поближе к нему. И аж подпрыгнул и внутренне присел от мысли, что обман, подстава, измена, но Михась тут и говорит: да чо, сбудем, обменяем бабло-то, город большой, где-нибудь найдем. И тут раскрывается пачка, что потолще да поплотнее, а там газеты старые, тонкие, сухие, желтые, и буквы на них мажущиеся, что пальцем можно стереть, навроде «Гудка», а на полях арабские цифры расставлены, там сто, там пятьсот, крючковатым выведенные почерком, такими газетами окна заклеивали. А вечером ему уезжать, поезд в десять отходит, и еще билет надо купить.

И выходят они от ничего не поделаешь в город, и ищут в первую очередь газетный киоск, а находят на его месте пункт приема макулатуры, но обнаруживают, что он закрыт. И все улицы усеяны этими газетами ветхими, и метет их ветер, а на окнах сквозь специальные прорези кто-то глядит на них с Михасем, городок-то двухэтажный весь, и дома в нем все тоже с мажущимися ветшающими стенами, осыпает листвой деревья, а на веревках во дворах висят маркие сухие майки, и со вторых, и с первых этажей, кажется, кто-то молча исподлобья глядит на них, а на улице ни души.

Вот доходят они по улице Макулатурной, это читают они на болтающейся табличке, до улицы Мускулатурной, и там магазин в подвальчике, где написано, что продают бронзовых бонз и другое литье. А во рту прогоркло, словно от завтрачного масла, или как будто полизал бумагу, на которую налипают мухи.

И спускается с первого этажа хозяин магазинчика и говорит, что обменять их деньги можно только на еду и питье, а божки не продаются. Да нах нам божки, говорит Михась, скажите нам, где этот магазин, где пожрать. Идите, отвечает хозяин бюстовый, два переулка, Селедочный и Льняной налево, потом будет улица Гречишная, и за ней переулок Медведкин, но уже направо. Там все есть, и столовая, и бутербродная, и сосисочная, и в ней курзал — там табак продают.

Поворачивают в переулок Селедочный, там пахнет касторкой, а на углу стоит человек в помятой шляпе и в брюках с красными лампасами. Правильно ли мы идем, спрашивают его, он отвечает, я не знаю сам, забыл, номера домов стерлись, и с названий улиц буквы осыпались тут, и тополи опали, думаю, когда бы метлу мне найти, я дворник, я подмету.

Да расслабься, говорит Михась, а у самого мысль, нам еще до вокзала бы добежать, а Михась говорит — за три часа до отхода поезда билет всегда купить можно. Поворачивают опять влево, должно быть, это Льняной переулок, и точно, на всех окнах висит какое-то тряпье, заплатанные штаны, и рубашки, а на балконе дородная женщина стоит и развешивает. Гражданка, правильно ли мы идем, спрашивают они, а она наволоку как парус надувает и прищепляет к веревочке, а потом панталоны к себе примеряет, и тоже на прищепку деревянную, в форме рыбки сделанную, вешает. Да авось правильно, голубчики, идете вы, но я дальше своего двора не выхожу. Ты че, бабанька, не знаешь, на какой улице, в каком номере дома живешь? Нет, отвечает, я и на двор-то выходила, считай, в запрошлый год. А запах не чуешь, магнезией здесь в нос прямо шибает, сама настирала? Нет, милок, это я свои наряды старые здесь примеряю, в которых щеголяла еще лет не помню сколько назад.

Плюнули, пошли по переулку, и видят — улица, а на ней фонари кланяются друг другу и сломанный светофор. Только переходить стали дорогу, поднялся такой ветер, что поднял их и на два квартала вбок унес. Только ступили на тротуар, как ветер стих, и Михась говорит, наверное, здесь все переулки параллельные, давай, надписей все равно нет, пойдем, а потом влево свернем, там, наверное, будет площадь. И свернули.

Идут, идут, а там дома сплошные, точно корпуса заводские, и забор долго тянется, и все нет и нет налево поворота. Идут уже час, два идут, три идут, и он на часы периодически посматривает, сколько показывают, считает, а Михась вдруг говорит, вот там виднеется какой-то то ли парк, то ли сквер. И убыстряют

они шаги, и вот уже сквер близко, а перед ним киоск, который, кажется, работает. Запыхавшись, стучатся они в окошко, появляется из темноты глядящая продавщица, и обменивает им этикетки на коробки без надписей, а бутылочные на чебурашки, а от масла бутербродного на бутерброды. И берут они все это радостно и идут в сквер, где сорок одинаковых оказывается лавочек, и садятся, выпивают, закусывают. Михась оборачивает голову и говорит: хоба-на, а вот и вокзал. А его сон сморил, припекать начинает солнышко, и Михась сперва сидит на скамеечке, где тот закемарил, и на голове у того смоченное пивом полотенце, украденное из гостиничного номера.

Михась — мужик крепкий, здоровый, сон у него нейдет, и говорит ему: давай, пока я поделю поровну наши деньги и пойду куплю билет на вокзале, ты подремли пока. И забирает себе все этикетки, а ему отдает то, что потолще, газеточное, и оставляет его лежать на скамье.

Сон

Вокзал подступает к зеленым скамейкам, облокачивается на их спинки и ласково так дышит в лицо, и шепчет на ушко, пойдем. И встает он во сне и видит, как перед ним разбегаются три винтовые лесенки, а потом сходятся, и на уровне балкона, за две тритии до потолка, расположена за ярусом с перильцами гостиничка, где отдыхают проезжающие, вот стоят в кепках и в шляпах, и смотрят вниз, как в центре зала бьет фонтан, и на дно его бросают они монетки, и вот некоторые из мужчин выходят с чемоданами из номеров, и ведут под ручку дамочек, и спускаются по двум лестницам в зал ожидания, а потом идут к поездам.

Но выше уводит лесенка, и вот доходят они до вокзальных часов, шестеренки которых со сдавленным скрипом поворачиваются, а стрелки на циферблате медленно и плавно движутся, а иногда, если опаздывают поезда, семенят мелкими шажками, а если спешат, нет, поезда никогда не спешат.

И выше уходит лестница, и сужается, и потом выводит в башенную комнатку, в которой четыре сводчатых окошка. И вот выглядывает он в окошко, потом в другое, потом в третье, потом в четвертое, и видит, что в вокзальную площадь втекают четыре больших и широких проспекта, а на них тьмы и толпы людей, спешащих вразвалочку в разные стороны. И видит он еще одну лесенку, которая ведет на крышу башенки, и забира-

ется туда, ступая по красной черепице, и видит город как на четырех ладошах, хлопающих друг в друга. И все улицы, до мельчайшей крупиночки, до всякой сориночки, видит он все улицы и весь город. А от четырех проспектов разбегаются улочки, переулки, закоулки, тупики, улочки, переулочки, закоулочки и тупички. И все это быстро, быстро двигается, торопится, кружится, так что и голова закружилась у него, и вот он падает в беспамятки и летит вниз кувырком. Но потом оказывается, что пришпилен он шпилем башенки за манжеты и за воротник, и не может не только пошевелиться, но не может и дернуться-сдернуться, и так он завис.

Он просыпается, ноги онемели, затекли, а возле скамейки сбивает ногой пустые чебурашки и, вляпавшись в остатки бутербродов, полуобернутые оставшейся газетой-ветошкой, и он просыпается от мысли, что нет Михася.

А до отхода поезда остается четыре часа сорок пять минут.

Второй автобус

Доехал он до улицы Васильчика с двадцатью рублями в кармане, поехал туда затем лишь, чтобы в глаза одной девушки посмотреть, не видел ее три года. И такие ласковые, смеющиеся у нее глаза, думал он, а как увидел, точно, ласковые и смеющиеся, точно в Костеле, когда ксендз поднимается на кафедру и паству озирает, и видит в пастве такие смеющиеся, ласковые глаза. А она сидела в кабинете и письмо кому-то отправляла, а потом обернулась на него с некоторым опасением. Хотел узнать, когда у вас конференция будет, сказал он, дайте программку, хочу докладчиков послушать. А глаза ее как рыбки золотые плавают и лукаво поглядывают, и поблескивают.

А вот это что у вас за книжечка такая цветная, спрашивает он, можно ли почитать. А на картинке веселая добрая женщина яблоко сахарное ребенку своему показывает, и на языке написана книжечка на французском. А она и говорит ему: бери, почитай. Ну, пойду я, спасибо за программку, говорит, побеседуем после, и, может, где отобедаем.

И идет на остановку и садится в первый попавшийся автобус, идущий до центра. Правда, не первый номер у него, а второй. А туда ехал на номере 13-м, стоя, и окна фиолетовыми занавесочками были заклеены, и дождик моросил, плескаясь в лужицах. Но вот ехал автобус все время правильно, а потом покатил по улице Масличной, Больничной, и вдруг свернул на

улицу Барвичную, где он на прошлой неделе проходил. Вдоль Барвичной тянется одна нескончаемая фабрика, и там не ходят девушки. Да, подумал он, сейчас попадем в тоннель, где машины все фарами светят себе и два белых проема с каждых концов. На той неделе здорово полили его грязью в этом тоннеле, и туфли скользили по лужистой грязи, и оглядывался он на просвет, не идет ли кто. Да вот теперь ехал он по этому тоннелю, сидя справа на заднем сиденье, в углу. И думал, вот сейчас доеду до цирка, а оттуда дойду до вокзала, нет, поправлялся он, сначала доеду до вокзала, а потом дойду до цирка. Рядом, как выяснилось из разговора, разговаривал плотник с женой и сынишкой, рядом, рядышком сидя, и сошла жена на остановке, и он подумал, мне через одну. А сынишке сидеть было неудобно в кресле, потому называл он его «крышечкой», а когда прикладывался к винтам на скрепах поручней, говорил «порезаться», и улыбался синими, как земной шар, глазами.

На слове «порезаться» его словно петух клюнул, и вспомнил он, что вчера друг его Мильтоша, которого как за смертью посылать, зашел к нему в дом, а на плечах смерть связанную с собой принес, и привел, и поставил посреди комнаты. И надо же так случиться, что только сейчас он это сообразил. А ведь Мильтоша на глаза надвинул свой поповский клобук и сразу же стал здороваться с ним миленько, но коварством почти повалил на землю, в дружеских объятиях своих, а тут еще прошла модно-одетая женщина, в рыжей коже, в рыжем мехе, в рыжей джинсé и рыжая, и, поворотившись, сказала: трупы по парку ходят и Ментов на них нет. Да и в это время автобус вырулил к ЦУМу и поехал дальше до Цирка не через вокзал, а по улице Кондрашкина.

Выходя, он обернулся и увидел Марию-Дебору и ее мать, которая сидела, как старица, в профиль, а Дебора-Мария спала с открытыми глазами, как растение-змееносец, и, выходя, он уже кивнул им. На Вокзальной магистрали стояли в кружок семь цыганок, одетых в черные дохи и черные и белые платки, и молчаливо и, казалось, танцуя плечами, покачивались и перемигивались. А на углу Ленина и вокзальной площади ждал его друг у магазина хорошего. Страх нарастал вместе с холодом при приближении к вокзальному термометру, над часами с башенкой разбросавшему кубиками цифры на табло. Он остановился и стал лорнировать друга, но тот все не шел. А сердце было уже на серебряном, платиновом ли подносе, и тогда он прыгнул в четыре стороны сразу и крутанулся вокруг своей оси. И запел:

месячишко, месячишко, ой и ой, сунься — сгинешь, сунься — сгинешь, ой и ой, актебер и сам, сам себе и ям, не крадем мы, не крадем мы, Волоскида. Пять минут прошло, и вот раздался звонок друга, который был уже на другой стороне, возле магазина «Всего хорошего».

Ты то ли дурак? — спросил друг, как я мимо тебя прошел в пяти метрах, разминулся, сказал дружок, когда они с третьей попытки двинулись навстречу друг дружке, обняв часовую и противо-часовую стрелку. На, возьми, что просил, журнальчик, и заржал. Ну, все, пора мне.

И обратно повлекся он через Ленина, и увидел надпись «Офичина», то есть аптека. В очереди перед ним стоял человек в точно такой же куртке, только в кепке другой. Запахло нашатырем, и он чуть не упал в обморок при слове срок лекарства «истек», сказанного бабушке впереди, как было с ним еще в детстве при самом упоминании слова «кровь». Он попросил стандарт экстракта валерьянки, но они продавали сразу только по пятьдесят.

Оставшись без валерьянки, он вышел на морозец и потащился по улице Челюстей, и запел про туз бубей, он прошел через место гибели Эриваня, которого задавила машина, и потом родственники, не в силах платить, отключили его от машины искусственного дыхания. Дальше Цирк, Церковь, и «дай полосну, полосну, сполосну» вспомнилось, и он подумал, буду защищаться толстой пластмассово-резиновой авторучкой с золоченым надперьем, а в рот забью журналы дружка. Потом побежали деревья в разные стороны, потом полетели гаражи и горящие помойные ящики, потом он вырулил в двор соседнего дома, где Мильтоша сказал, что летом убило бабушку, ровно через два метра после того как его задумчивый, погруженный в свои мысли дружок прошел мимо. И вот уже его двор, где сметенный ветром или вандалами на попа лежал комод, который они вынесли вчера с Мильтошей.

Вытащили купленный за год до смерти его деда в городе Риге, куда они с бабушкой ездили, комод, в котором он знал каждую вилочку, каждый столовый ножик, каждую чайную ложечку, каждую открыточку, каждую сахаринку, каждый ботиночек, каждую линзочку, и каждую карточку с похорон. И пал он на него давеча как на гроб, и поцеловал его, а Мильтоша сказал: прощай шкаф, здравствуй молодость, и повторил: прощай молодость, здравствуй шкаф. И точно, он еще крутил кепку на указательном пальце, закружилась, а потом заболела голова, а

кепочка была такая что ни на есть «здравствуй и прощай». И мелькнула мысль — дружок, пока он крепко спал в своей квартире, пятеро изнасиловали девушку-соседку, прямо в ее комнате. И следующая — Левушку, копщика с кладбища, зарезали в его собственном подъезде из-за пачки сигарет. У подъезда стоял огромного роста и плотнейшего телосложения мужик с глазами слегка на выходе, то есть на выкате, точно ждал кого-то. Спросить, точно скажет: тебя. Какой тут журнальчик, какая авторучка, сердце упало, и он повлекся в подъезд, отворив домофон. Да, сказал он Мильтоше, забери с собой, что принес, не забудь.

Тюль

Тюлипов привел в порядок свою комнату, вывесил тюлевые занавески. На столе лежали пять календарей: мельхиоровый, расшитой, пестрядевый, никелевый и православный. Он отрывал листочек каждое утро, прочитав и пожевав, пока не выйдет красная, черная, оранжевая, голубенькая, желтенькая жижица, а потом выплевывал катышки. Так он делал каждое утро по одному листочку, но иногда он был под впечатлением, так что сжевывал календарь за считанные секунды. Он носил также часы с циферблатом без стрелок, бросая теневую полоску от воображаемой палочки, что торчала в глазу его. Да, а потом он смотрел в окно, где на другой стороне улицы загорали в окнах голышом люди, и думал о золотом лете, что пролетело так незаметно.

И вот протягивало оно ему свои колоски, бахрому кушаков с надписью лучшему орнитологу, криптологу, анатомопатологу, мечтологу, и мистагологу, а он перебирал их, как ветер качает колосящуюся рожь. Наливал себе чайник и заглатывал его из горлышка, так что чайник помещался в нем целиком. Проводил он дни, глядя в окно на кухне, а вечером засаживался на тот же табурет разгадывать крестословицы и ребусы, а потом складывал решения в конвертик, чтобы на следующее утро нести их в свой а/я, абонентский ящик. Тьфу, это ответы он забирал в ящике, а конвертики складывал в синий с белым ящик почтовый.

Но это утром, а на ночь он закладывался на кровать у стенки и всю ночь слушал сквозь розетки доносящиеся разговоры соседей и соседушек, когда побранятся, когда поласкаются, когда помирятся, когда поссорятся. И утром встречал их на лестнице,

под лестницей, на дворе и на улице, когда шел на почту, отправлять ребусы или получать ответы, в которых не было обычно выигрыша.

И вот сегодня отправился он к почте через дорогу, улицу Магогу, и опустил в почтовый ящик очередной ребус, а в а/я нашел письмо не из рубрики разгаданных загадок, а письмо, распечатывая которое, у него заныло в груди от сладостного восторга. Там было письмо от Милитрисы Серебрянокарповой, знаменитой певицы-звезды, на веленевой бумаге с монограммой ее имени в виде цветочка и в форме водяного знака. Оказывается, он решил какой-то очень сложный ребус про тайное желание певицы-звезды из другого государства, и сегодня был последний день, когда нужно было дать согласие на встречу с ней. Это было написано обезоруживающим тоном, и у него был еще целый день для того, чтобы позвонить по указанному номеру, всего только один день, на все про все. Потому что письмо положили на почте не в ту коробку, и увезли сначала по ошибке в другой город.

И Тюлипов помчался, сломя голову, к себе домой и судорожно набрал нужные цифры на диске. После длинных гудков зуммера, от которых замирало сердце, появился вежливый голос барышни-автомата, который пообещал соединить, и точно, через две или три томительные секунды появился дикторский голос, который сказал ему, Господин Тюлипов, вы приглашены на аудиенцию, для вас забронирован билет на самолет в авиакассе и зарезервирован номер гостиницы в нашем городе. Певица настоятельно просит вас не опаздывать. Тюлипов от неожиданности даже закурил запасенную сигаретку «Золотой лист».

Разбросав ворох вещей по квартире, сверкая пятками и орудуя руками в кружащемся барахле, отыскал он свой саквояж, куда аккуратно все уложил и, не завтракая, но побрившись впервые за долгие месяцы и помывшись дважды — перед сбором вещей и после него, — он устремился в авиакассу, чтобы оттуда уже ехать в аэропорт, все это проделывая в страшной ажитации. Потолкавшись в очереди и там намяв некоторым бока, схватил он билет и бросился на вокзал, где сел на электричку и поехал до станции Аэропорт, которую раньше он всегда проезжал мимо.

В электричке он сидел между беременной женщиной и монашкой, а за спиной играли в карты пареньки-гопарьки, и он по привычке стал слушать их реплики, и червонная дама побила

бубнового туза. Заслушавшись и засмотревшись в окно, он задремал и проснулся при объявлении его остановки, станции Аэропорт. Впопыхах протискиваясь между нахлынувшей с перрона толпой, он выпал на этот самый перрон и, быстро сориентировавшись по указателям, оказался один в очереди на регистрацию. И уже через час вскочил в самолет.

Ферт

Фецык шел по улице Содовой, свернул на Коннозаводскую и на углу завернул в кафе, в котором никогда прежде не был, или не замечал, проезжая на транспорте — здесь троллейбусная линия пересекалась с трамвайной. Он прошел мимо постриженных кустов, мимо поспиленных тополей, и на углу высморкался, да так громко, что дамочка с пуделем испугались и чуть было не гавкнули одновременно.

В этом кафе его не знали, а обычно по его приходу выставляли рюмочку. Только зашел он, как увидел, что все на него глянули, глянуть-то глянули, а потом взор скосили, потупили, отвели. И буфетная, а, вернее, барная стойка, маячила в глубине, в темно-коньячном полумраке, спугнутом желтыми лампами. Но он не разглядел присутствующих, а устремился прямо к стойке. За стойкой стояла миловидная барышня, то есть барменша, и спросила, чего угодно. А он вместо обычной водочки и селедочки попросил коньяку, кофию и коржик. Между тем все остолбенело опять уставились на него.

Сел он за столик и совершенно не обратил внимания на человека напротив. Тот сосредоточенно прихлебывал луковый суп и запивал его лимонадом. Время пролетело незаметно, взмахнув своим темным жар-птичьим крылом, выпустив коньячный сумрак за окошко.

После пятой рюмки, уже водочной, и после пятого «экспресса», он задумался было о счете, вернее, задумался еще после третьей, а после пятой напал на него дрищ, и он еле дотерпел до WC, на дверях успев заметить черные, точно выпуклые, коричневые фигурки, точно африканские игрушки, и прошел в дверь кабинки, но сначала не смог поймать ни одной ручки, отворив тем самым обе дверцы. А счет перед этим успел-таки попросить. Ну вот, рассчитался, вынув стопку казенных денег из кармана, а потом быстро сунул обратно, но все-таки попалил. И уже обернувшись, проверил, лежат ли чаевые, и тогда и увидел человека напротив и тупые пристальные взгляды сидящих во-

круг, хотя до этого думал, что сидит в кафе один. И на выходе услышал: приходите еще, а тем временем сосед напротив достал мобильный и куда-то позвонил. Двигаясь в густоте ночной улицы, которая вскипала в ночной эфир, проходя, как металл проходит сквозь плотную жидкость, машинально добрел до своего двора, миновав, как по красному целлулоидному треугольнику, несколько кварталов, и уже в своем дворе зажег пятую сигарету, и только тогда перестал петь.

Вот уже горит его окно на четвертом этаже, а ноги выкидывают фортели и руки крутят восьмерку. На его голос и огонек сбежались, как ему показалось, а на самом деле спокойно подошли, четверо гастарбайтеров. Что он сказал им, он не мог потом долго вспомнить, и так и не вспомнил. Но они вынули отвертку, финку, пику и кортик, и сначала отобрали сотовый телефон, а он, крутясь восьмеркой, как в упражнении руки на поясе, одновременно ловил лезвие ножа, и истошно кричал, и надсадно вопил, и дико вабил, как выпь. Незаметно зажглись окна во всем доме, вернее во всем колодце, залаяли собаки, замяукали кошки, и какой-то мужик с пятого этажа сделал четыре выстрела из дробовика, и после этого гастарбайтеры разбежались, и жена спустилась из квартиры, посадила его в машину, и через четверть часа уже накладывали швы и зашивали порезы, но это уж он не помнил, а помнил лампу, маску и белые маски четырех смуглых врачей, глядящих сквозь прорези, и потом, когда вдруг вспыхнул свет и донеслись гулом метро в голове в ответ на вопрос «где я», и слова соседей слева и справа, проснулся, и первым движением приложил руку к шее.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Люминат

Люминесцентные трубки под потолком зажужжали, потом загудели, когда Фецык попытался оторвать голову от подушки, но она плюхнулась, как гиря о дно. Пошевелиться было трудно, и он обнаружил, что лежит на боку, а в каком положении очнулся, уже забыл. Болели живот и спина. Появилась нянечка, наклоняясь и кланяясь всем больным в палате. Но сколько в ней койко-мест — не было видно, только кивающая нянечкина голова и часть лица, круглая скула и девический подбородок, потом появились две белые, белее халата, руки, с зажимом, затем он почувствовал укол, видимо, она сделала инъекцию в бедро, и он наконец разглядел ее лицо. Так, потерпи, будет немножко больно, долетели строгие слова, и он увидел ее нежные карие глаза, и овальный треугольник лица под смеющимися глазами.

Через пять минут она унесла судно. Который час, обратился он к соседу справа, и тот ответил — времени девять часов. А почему так темно за окнами? Ты что, приезжий, спросил его сосед слева, и сосед справа загоготал: у нас в декабре месяце в десять только появляется солнышко, а в два уже смеркается, слышь, Клавка, потерялся во времках. Но примолкнул, потому что по коридору приближался обход, точно пароходик с белой трубой, и в палату вплыл главный врач, а из иллюминаторов глядели врачи первой, второй и третьей категории. Ангелин идет, тихо загоготали соседи. И по мере того как он входил в палату, она разворачивалась под углом 90 градусов и остановилась, когда только врач уставился на Фецыка.

Так, у вас, больной, рассечение мышц живота, и брюшины, и мышц спины. Чудом внутренние органы не задеты. Тут только Фецик увидел, что сидит с вытянутой рукой, кисть которой была в ватно-марлевой повязке. И еще рассекли ладонь, мизинец мы вам приставили на место. Еще у вас отравление алкоголем.

А этот хорош, всю ночь бушевал, вышел в делирий прямо на столе, донеслось из угла, весь побитый, всю дорогу к нам падал, пока не свалился. Теперь только он разглядел человека с лиловым, а местами пунцовым лицом со щелками глаз и красно-синими руками, свесившимися с койки набок. Спит сейчас, реакция пошла на наркоз, у него некроз тканей стопы. Голова снова ушла в подушку.

Сосед слева принес ужин, шамкая тапками по гладкому полу. Кормят здесь хорошо, сказал он. Я-то бульончиком хлебушек запил, а ему вот капельницей вводят пищу, упал с крана на стройке, уже третью неделю лежит здесь, легко ты отделался, толстые швы тебе наложили, порезы глубокие, да важные органы, сказывают, не задеты.

Мусон

А до отхода поезда остается четыре часа сорок четыре минуты. Хочет он закурить, ищет зажигалку, и не находит, зато находит в ветоши, которую понапихал по карманам, свернутую в квадратик бумажку, которую разворачивает, и на ней проступает герб неизвестного государства, а затем и такие, точно гравированные, циферки и буквы его фамилии, инициалы, время отправления поезда, и дата прибытия в родной город, но уже смеркается и даты не разобрать, но она точно там есть, значится, то есть.

В окрылении он вскакивает со скамейки и движется к киоску, чтобы обменять этикетки на спички, но не находит этих самых этикеток и начинает подозревать, что их унес Михась. И идет он к зданию вокзала, рукой ведь до него подать, ан нет, идет уже час, двадцать минут, десять минут, а вокзал, кажется, все на том же уровне. Тогда берет он, чувствуя в себе силу, и скачет к нему гигантскими шагами и не может все доскакать. И ведут к вокзалу три дорожки гравийные, а он идет по центральной, а вокруг деревья темнеют и уже, кажется, все ниже клонить начинают ветви, и вот уже бурелом и коряги торчат, корни свиваются, репейники на брюки у щиколотки прилепляются, и парк прямо на глазах превращается в лес. И садится тогда он на кочку болотную, и загрустил.

И сидит он на кочке, расставив ботинки в разные стороны, и вдруг видит, что рядом на кочке сидит Фецык, и на два кустика занавесочки налепляет, и сам заходит с обратной стороны, голову высовывает и говорит вкрадчиво: прикури от светлячка! И точно, зажигаются светлячки, и прикуривает, а Фецык ему продолжает говорить, высунувшись из занавесочек, но так, что только ноги и голова у него видны, и говорит, а помнишь про Вальку Мастацкого, сидел он у меня в креслице в полутемной, как, знаешь, бывает пиво, комнатке, и вдруг говорит — на стене буквы вижу, и весь сначала вздыбился, а потом оглоушился. Я ему говорю, ты что, ку-ку совсем, что за буквы-то, а он

по полу катается уже, во рту зажал то ли напильник, то ли паяльник и мычит, и до меня доносится что-то вроде: дай мне факел и палец. Ну, я, понимаешь, в дурку звонить не стал, не такой человек я, и сам взялся его лечить. Счас включу, говорю, напильник в розетку, а в рот тебе припой засуну, а в уши канифоли налью, чтобы флюс из тебя пошел дымящийся. Ну, он сразу утихает, сбрыкивает на кровать, и там отлеживается.

А вот знаешь, продолжает Фецык, что троллейбус, когда от ХХС отъезжает, кажется, что ХСС за ним бежит, а когда подъезжает, так удаляется, точно слон пятиглавый и восьмилапый на нефах своих переступает. Так вот там если собачку задавит машиной, то он как картонка падает, то есть как четыре картонки, одна в другую. Ну-ка, прочти-ка надпись мою, наколочку, что возле большого пальца и указательного, и шевелит всеми пальчиками ладошки, и на каждой подушечке по черточке, по отметинке. Читает, читает он надпись, а она, как гармошка автобусная, как прицепные вагончики троллейбусные, как трамвайчики на буксире, всеми буквами переливается, и вот погасла, стала чернотой, и вокруг чернее черной ночи чернота наступает, точно чернила кто мазутные напустил, и утопает он в мазутных чернилах, и воздух теряет, и вот-вот пузыри начнет пускать.

И вот вылетают пузырики, как шары лиловые-пунцовые, и в каждом пузыре домики изразцовые, а в домиках коньки да петухи важные и образцовые, и охра, охра на стенах, охра, нахра, и двери отворяются настежь, и выталкивают его на скамейку около вокзала, приподнимает он голову с затекшей половиной, но встряхивается и смотрит на часы, а до отхода поезда остается четыре часа сорок три минуты.

Часовая бежит от секундной

И вот поднимается он по лестнице, и слышит на третьем этаже дяди Юры-боксера голос, узнает его с первого этажа, когда домофон захлопывает дверь с пиканьем. И поднимается выше и выше, и доходит до своей квартиры за дверями двойными, и входит, и брякается спать. А кошурка его Музя в туфли его укладывается и тоже спит.

А потом, еще не задремав, одним глазом обводит фатеру, поднимается попить на кухню, в комнату большую заглядывает, и в ванную, и в туалет, и не находит спеленутой ее мумии, что поставил посреди комнаты Мильтош, ни в шкафах ее нет,

ни на полочках, ни в шкатулочках, ни в часах, ни в зеркале. И тогда делает себе глазные притирания бальзамом золотая звезда, мумием и сулемой ранки и прыщики заживляет, а запивает бадановым чаем вкусный пирога кусок, от которого Мильтош кусяр отхватил. А часы снимает со звездочками на синем небушке в форме скругленного квадратика, и заводит будильник, и кладет руку под подушку, сперва ворочается и не может уснуть.

А потом и барахтается во сне, и так крутится, и так вертится, словно волчок. И вот видит, над ним склоняется женщина в белом и тянет его за руку, и передавливает у локтя, как тогда, когда брали кровь из вены в больнице, и вот хочет кольнуть, чтоб онемела, отвалилась рука. Но будит ее правая сестра, и усаживает его, и берет ладонь левой руки в свою ладонь, и обнимает ее, как одну стрелку, и водит то по кругу, то по часовой, а потом против секундной стрелки, и выводит в воздухе вокруг головы крестики, кружочки, звездочки, и изпросонок выводит, точно гипнотизер беззвучным шевелением губ, или бабушка, мешающая суп поварешкой, и тогда уже бухается в спокойный здоровый сон.

В самолете

Тюлипов поднялся по трапу самолета — и после проверки билета, да и после регистрации, и после одевания синеньких бахил, да и на входе — никто не толкался. Звучали только на чистом английском языке приветствия экипажа и правила безопасности пассажиров. Самолет скоро плавно побежал по взлетной полосе и, медленно и тяжело, а потом все легче и легче, взлетел, и Тюлипов не успел даже рассмотреть родные рощи и луга, колхозные поля и государственные угодья, как самолет исчез из вида. Только тень Тюлипова не полетела с ним и осталась на земле, помахала ему ручкой. Она-то и видела эту блестящую точку в зените.

Да, еще в аэропорте начинается иное, какое-то не такое состояние, словно ты уже между небом и землей, и как будто даже тесно от этой мысли в голове, но она легко проходит. Да, и только теперь заметил он, Тюлипов, что в самолете он летит совершенно один. Немного поежившись, он выглянул в окно иллюминатора и обратил внимание, что сидит у самой аварийной дверки. Это почему-то обеспокоило его, растревожило, вдруг дверца откроется, и обожжет его, обреет с ног до головы

холодом и сверхзвуковым ветром. Но тут разложило уши, и прозвучал приятный голос, по-русски и по-английски, что принесут ужин. Небо синело, темнея, а гряда розоватых облаков давала ощущение, что полет проходит вверх ногами, хорошо, что еще не вверх тормашками, подумал Тюлипов.

И тут явился, подъехав на специальной коляске, ужин, и из него вылетела и сама раскрылась фольгированная прямоугольная тарелочка, с двумя крышечками, а за ней выпрыгнул соус, повидло, масло — в герметичных упаковках, которые он любил еще в детстве. Насытившись, он хотел помочь убрать эти капсулы, но точно две невидимые руки спешно все складывают, и каталка укатывается.

Поглядел он в окно, даже с некоторым доверием на дверцу, и пища успокоила и даже обрадовала его, и он почувствовал довольство в животе. Наскучив глядеть в окно, так как нагнеталась там ночь, решил он почитать любимую книжечку, и достал старую желтенькую «Кладовую солнца», и опять пошагал по спящему в лучах болоту, пока не дошел до бурого бугра, и тут точно какие-то две нежные руки закрыли ему глаза из-за кресла.

И снилось ему сначала, что он танцует и поет с бомжихами возле горящего помойного ящика, и почему-то в такт вытягивает то левую, то правую ножку, а потом наступает утро и ломится он к другу Фецыку в железную дверь подъезда, предварительно позвонив, сейчас мы придем в три часа ночи, а звонит из сторожки кирпичного завода, и оттуда мчится на вокзал, озаряемый огнями помоек. Но вот наступает утро, и мимо подъезда пробегает женщина на костылях и спрашивает его во весь голос: «здесь Вторая не пробегала?». И тут он замечает друга Фецыка, Бряху, который проснулся и стоит на балконе второго этажа и говорит: Тюлипов, ступай домой.

И вот бежит он домой и встречает по дороге Бенька, который говорит ему: помнишь, Тюлипов, ты говорил, что не родился еще такой человек, который с Тюлиповым может совладать, так вот он, и вытаскивает из-за пазухи спеленутый моток ниток для пряжи на деревянной точеной рукояти.

И не может никак добежать он до дома, потому что рюмочные, что окружали его дом ровным восьмигранником, и туалеты общественные все кто-то убрал и переставил на одно деление, на одну клеточку, на одно поле. И тут он видит почтовый ящик, который летает и вываливает все письма, как листовки с вертолета, и вот он, Тюлипов, прыгает и пытается поймать то

заветное письмецо с приглашением на аудиенцию, и гонится за ним по дорожке, и никак не может поймать.

Легок на помине

Эх ты, Бряха-Октябряха, думает он, сидя на скамейке, и голову руками закрыл, курить охота, а в ларьке не поменяешь этикетки на коробок — вот, бывает, хватишься, а спросить-то и некого, все проспал, и электричку, и совесть с Михасем-карасем пропил, а Михась этот колобковой коровой умотал, уперся куда-то, и поди сыщи его, ищи-свищи, и где теперь Михась, и что делать, поминай как звали.

Как тогда вот за черным гробиком чахотного влекся, и черная колючая борода его вострилась, и глаза, глядевшие прежде на макушку да на темечко, все, теперь закрылись, и одна прибедняцкая старушка за гробом влеклась и выла непонятно зачем, гроб-то на санках везли — поместился в детские санки, и собаки лаяли. И пурга была, и метель мела, и кировские заводы чернелись и дыма удушливого напустили полное черное небо.

А потом бабулька-то выпросила своим вытьем на водку, и пошла плясать по городу, напевая руладами песенки тюремные, и вконец в раж вошла и срам показывать стала, а потом забилась где-то под лесенку неизвестного дома и ночь там в беспамятках провела, и желтые дома с голубыми окнами на Дворцовой улице стояли, и тогда на пять минут небо прояснилось, а потом снова, пурга, вьюга, метелица. А в голове нелепицей звучали тяжелые, недобрые слова злой женщины из консерватории: туда и дорога.

На кладбище похоронили тогда в голом клочке земли, и пили водку с морепродуктами, и забурели после бессонной ночи в его конуре. И денег даже на лошадь не было, пришлось самим санки волочь, не то, что на катафалк.

Из больницы туберкулезной за сутки до того выписали домой, чтобы дать умереть, сердобольные доктора. А в больнице полны коридоры были черными людьми, и в самом проходе лежал, и только свистела грудь, и не мог и слова вымолвить, только перекашливались.

А дружок его, помнишь, Бряха-Игоряха, пневмонию получил на продувной Москве, да пролежал почти месяц в Мешалкине, да сердце в ночь 21-го дня остановилось и биться перестало во сне. А было ли легко умирать, поди узнай, спросить-то некого.

А дружок того дружка, в черном водочном чаду, бросился с башни Бухарской крепости, там мы еще с матерью-покойницей были, в крепости, там яблоки сладкие ели, персики и фрукты. Белой стеной обнесен был наш школьный интернат, а потом отправлялись гулять по городу, и узбечки и узбеки, похожие на хлопковые цветы, мели улицы полами халатов, и выстраивались в очереди в метро, а ты не полез и заблудился на улице, тогда еще весь город на уши подняли.

А потом стоял ты в Карл-Маркс-Штадте, куда перевели отца, в окне, распахнутом в грозу, и от страха хотел прыгнуть вниз, но подошел солдатик и разговаривал с тобой, пока не пришла мать.

Все эти мысли судорожно неслись, кружась, в голове Бряхи, пока он стоял на скамейке, и вдруг испуганно вздрогнул, словно кто-то топнул бумажную бомбочку в пяти шагах. Перед ним стоял Михась, легок на помине, с глазами на выкате, замершим «А-а» во рту, и, запыхавшись, махал закачавшимися руками, наклонившись, как над окном, и с криком о помощи глядя на Бряху черно-красными непонимающими и вопросительными глазами. Наебали, еле ноги унес, сказал, продышавшись, он.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Летка-Ленка-молочная пенка

Бенек спустился из подъезда около двух, неся три сумки вонючего мусора на помойку, на третьем этаже два рабочих курили в пепельницу-кошечку, и, когда он дотопал уже до второго, разошлись по квартирам, где работали.

Он пересек двор, затем первый школьный подъезд под не дремавшим солнышком. Мусор запах, но он свернул в третий двор, чтобы не повторять путь колонны комсомольцев от дома Мыльникова, погибшего 1-го мая 89 года и похороненного 4-го. Одноклассники тогда несли гроб на плечах, а в третьем дворе стоял когда-то гроб Ларискиной бабушки. Во дворе Мыльникова на скамейке сидела девушка в коричневой куртке, а справа стоял мужик в телогрейке и возле него лежал на санках черный макет мальчика без руки. Девушка, подружка Мыльникова, поглядела на Бенька. В автомобильных шинах цвели анютины глазки и уже отцветали. На помойку слетели три голубя, и он положил туда три мусорных мешка. Подкатили слезы.

Шел состав. У зеленых куполов он заплатил музыканту. Повсюду были люди, знакомые и на взводе. А в метро, куда он спустился, прошла девочка из старшей детсадовской группы. Он бросил в урну вынутую из-за уха и докуренную сигарету «Вингс».

Правая дверца часовни была открыта, как он заметил еще от четырехзеленорогого крячковского дома. Миновав подземный переход и неправильно дергая за ручку, он зашел внутрь и поставил три свечи: за упокой, и вспомнил что родитель только один — Николе, и своим небесным покровителям — по совету.

Но хотелось выполнить задуманное, и, купив сигарет, он всетаки спустился в пельменную в желто-красном доме Ханина. Чокнувшись с тарелочкой, на которой лежал дареный лимон, и, глянув на часики, он выпил водку «Лапландия». Лапландка и финка — повторил он на углу Коммунистической, где на ярусах за прозрачными стеклами в бывшей квартире бабушки, последней, угловой, лампочка горела.

И уже на углу Урицкого и Октябрьской, на теневой стороне, зашевелились за спиной словно крылья, и полетел он над городом, то снижаясь, то падая коршуном, и раскидывал решетчатые тени, тысячи лиц пропуская во взгляде, шагая двумя тенями, оставляя козырек бейсболки на темечке, проглядывая

все улицы и перекрестки. Он искал Михася, но, как уже знает читатель, его не было здесь.

В прабабкином окне висел термометр, старый и черный, те же шторки за евроокном в большой комнате, та же октябрьская солнечная квадратная янтарная дымка казались смотрящими тихой и светлой печалью печальными женщинами, одна из которых курила и разламывала книжные корешки, а вторая ела приготовленный холодец. И пахло кукушкиными слезками, что собирали в лесу с прабабушкой, и во дворе тянувшегося на квартал дома сияли зеленые, белые гаражи, замерли вентиляторы, и разворачивающиеся сотни машин по сорока четырем дорогам двигались ровно, а над проспектами сияли золотом все купола, ровным, не жгучим, но ослепительным светом. А был и у «Водника» и у водного общежития, и у бассейна «Водник», и в затылок бронзовый глядел Ленина, играющего в свайку.

У подъезда Алевтина, бывший председатель кооператива, шепталась с Даниной соседкой, а когда приложил руку к кнопке домофона, появилась Марья Алексеевна, не сразу узнавшая его.

Четыре било, кошка встретила, зевая, и как тогда начались новости по радио, и три венских стула стояли в комнате, и бабушка с двумя дочерьми глядела с карточки, и было тихо-тихо, а из форточки пахнуло свежим воздухом, и опять, как в школе, оставался час до прихода матери. Дареный рубль светился сквозь дырку в кармане, и солнце, как маслице желтое, синим кошачьим зрачком било в окне цитадели.

Приземление при луне

Ловит и не может догнать Тюлипов письмо заветное, в это время кто-то отнимает руки от его глаз, и видит он, что дверка аварийная открывается, а креселко его подталкивает к выходу, в совершеннейшем ужасе он дергает за какую-то веревочку на своей одежде, которую Фецык именует «офитисью», и глядит вверх, и видит исчезающий самолет, и в это время раскрывается прозрачный парашют, и спускается он, и видит одну только звездочку, неподвижную и немигающую, и вот загорается медленно рядом с ней другая звездочка, а парашют уже опускается и накрывает его собой.

И выпутывается он долго из строп, как видит, что сидит на лодке, которая влечет его по быстрому каналу, и слышит звуки

усиливающейся музыки за спиной, и укрупняются звезды, и роняют словно крупнозернистые слезы, которые омывают его щеки, и понимает он, что это он, Тюлипов, плачет. Вокруг колышутся в воде верхотуры зданий, и в них с верхотуров глядят на него стражники, из люковых окошек, а от музыки все мембраны подрагивают, и листвичные русты звенят, и водят копийками по воздуху.

И загораются окна, но закрыты они бархатными занавесями, и видно только треугольнички желтого света, и в них руку с кольцом, край платья, и хочет он приложить глаз, как к замочной скважине, но не может подлезть к окошечку, потому что лодочка влечет его дальше, и вот подплывают они к парку в огнях, и там люди-аскеты глотают спиртовые фитили, и тогда обводит он головой по кругу, и видит перед собой, наконец, что в лодке сидит живая желтая без полосок тигра, и нюхает его бороду, а потом башмаки.

А потом вытаскивает тигра его за две штанины из лодки и усаживает вертикально и говорит ему — Тюлипов, проснись, вокруг оглядись. И просыпается, и оглядывает все вокруг, и видит два перекрестных канала X, которые разрезает новая лодочка, так что они сходятся в угол V, а потом лодочка вплывает в озеро, и какой-то человек держит в руках круглый фонарь, а потом лодочка замирает в центре озера, и человек отпускает фонарь, и зажигается луна над озером. И выходит человек из лодочки, и говорит: господин Тюлипов, мне поручено вас проводить в гостиницу, завтра у вас назначена аудиенция, вам надо выспаться.

И поднимаются они по самобежной лесенке, взбегают они на какой-то этаж, и отворяют на нем первую дверцу, и вот Тюлипов уже спит, а кто-то осторожно развязывает шнурки и заботливо снимает с него ботинки.

Бамбук и рубанок

Темнелось еще только сине-бурое небо над вышками, в котором плавала нефть, как тучи начали играть в буриме. Фонарь перед больницей горел. Проснулся сосед, что справа, и они стали с Фецыком шептаться. Живота у меня нет, ни печени, ни желудка, ни селезенки, однако живу, и жить, сказали, буду. Завтра нас с тобой выпустят на первую прогулку. Только бы офитись поскорей мою отдали, не пойду же гулять в бинтах, подумал

Фецык, и заметил знакомую фланелевую тень на стуле. А что за офитись? — да рубашка, майка фетисофская.

Впрочем, меня только в коридор. А тот, что вышел в бреду, Бредя, потихоньку проснулся и слушал, слушал, а потом сказал: батька и сына умерли в том году. Сначала сына, потом отца похоронил. Сын переехал от меня к матери, его убили в подъезде, а отец, отец упал дома.

Да, как тебя зовут-то, Пашка, а тебя, а меня Сашок, а тебя, а меня Федя, а он, а он, кто — я? Проснулся и прошептал сосед слева: а меня зови Петро. У меня с отцом, что и с тобой почти, приключилось, инфаркт свалил, но встал и в реанимации бушевал, просил спирта, и курева, насилу повалили, и потом еще этот, психолог успокаивал. Но жив, и курит уже.

Пойду сам дойду по маленькой, решил Фецык и, покачиваясь, выглянул в коридор. Только в ординаторской слева и в середине, там, где у медсестры в белых пластмассовых коробочках таблетки, так вот сидя спала там Клава, и он повернул к ординаторской влево. Ты куда поднялся? А швы откроются? И у него под плечом оказалось ее плечо, когда уже затрещали озоновые в голове искорки.

Дальше — сам, сказала она. Не запирай, голова закружится, и вот он вышел, пошатываясь, и довела, доковыляла его она обратно до палаты. Все — спать, нет, врачу скажу, сказала она, щелкнув выключателем и поглядев на подтянувших одеяло до глаз остальных.

А у меня у дружка отец умер в том году, продолжил разговор Сашок, а дружок-то в Англии, там бар у него, но не приехал, жена не пустила. А мать, говорит, его купила икону, да бамбук ей привезли. Так вот бамбук ожил, а икона треснула на две половины, повдоль лица.

Эх ты, бамбук, сказал Петро, я-то бамбук, да ты не рубанок! И тут зашелестел дождь, точно кто-то касался рукой филиппинских занавесок в коридоре у бабы Нюры, и шептались они до утра, пока не рассвело и сестра хозяйка не покатила на колесиках оцинкованную кастрюлю и чайник со сбитой эмалью по одной из сторон коридора.

Черпак под номером 15

Михась, видя закемарившего Бряху, порулил к вокзалу, чтобы взять билеты, но шел и удумывал, и удумал: дай сначала сбуду фантики, и отправился чуть левее, левее, и вот — совсем

налево свернул, и точно, видит — вдали улица расширяется и что-то блестит там, как стрекозки крылышко. И ускорил шаг, хотя шел переваливаясь. И не обращает внимания на улицы без названия, а они рукавами его уже обхватывают, и оказывается он на площади, где дома, как кукурузные початки, и посреди площади какой-то памятник в пожарной остроконечной каске и с усиками, вернее с усищами. Они-то и поблескивают. И витрины кругом, витрины, на которых сокровища лежат несметные. Ну, бьет он стекло, и начинает сокровища дыбать, точно жар загребать, тут жемчуг, тут яшма, тут кораллы, тут золото.

Надыбал, потом идет на другую сторону и видит там курзал, и здоровенную сигару берет там, и кофий из кофейника наливает, закуривает, а потом видит когнаки всех сортов и фрукты. Открывает тогда свою сумку, и набивает ее, и вдруг слышит звонок, как в театре, выходит, — а это свистит в свисток пожарник, потому что на Михасевой сигаре фантики и этикетки тлеют. А со всех сторон народ валит с ведрами, с песком и с кольями. Те, что с ведрами, пожар, «жареным запахло», а те, что с кольями, на Михася прут, но Михась-карась пронырливый и ловкий, как-то между ног и рук протискивается, а пожарникам кричит — держи вора! И сам с черпаком на голове убегает. Тут они прочухали, что такой медведь пожар учинил, да еще и убегает с награбленным, так они ломиться со всех ног за ним, и в пятки его огненными кольями жарят.

Но бежит он и ломит, не разбирая дорог, и между домиков двухэтажных пролетает, и чудятся ему за спиной крики яростной толпы. Но чует он, что жареным пахнуть не перестает, глядит, а кроссовки его тлеют, и начинает он их затаптывать, и видит, что топчет их в желтоватой паскудной и горячей пыли.

И вот вспыхивает пыль эта вокруг него, и следы его горят, и несется он, как угорелый, и видит речной бережок, и еле-еле уже на истомлении-изнеможении по пояс забегает и там отдыхает, сколько часов — не помнит.

И видит — поломанный мостик, а в двадцати шагах конный брод, и переходит речку и идет в лес, и садится одышливо на бревно. И слышит вдруг конское ржанье, и видит на светлой опушке табор, и костры, и шатры. И выходят ему навстречу миловидные цыганки и встают вкруг него. И выходит старая цыганка и говорит: ну что, Михась, зачем пожаловал?

Немного опешив при звуке своего имени, но тут же найдясь, говорит: поторговать. И достает часы золотые и жемчужные нитки и говорит: вот, на деньги русские поменять хочу. При

этом слове цыганка-повитуха Стара́ бровь поднимает и глазом правым подмигивает, и что-то шепчет, и точно рукой солит.

И видит Михась, что вокруг него двадцать человек цыган стоят, и острыми длинными ножами его щекочут, и снимают с него часы, жемчуга, шубу соболью, все, что надыбал в городе. И привязывают его за ногу к дальнему лесному дереву, а к другой ноге привязывают черпак с номером 15, а Стара́ надевает на полную правую смуглую руку свою часы и глядит на них, чуть стряхивая, идут ли ей. После чего шатры снимаются, и цыгане и цыганки и цыганки́ дружно и делово удаляются.

А один цыганчик возвращается и говорит: завтра отведем тебя в город, чтоб поплясал перед народом, а если заартачишься, зарежем.

Карамора

Ушел цыганок, дернулся Михась, не рвется це́почка, толкнул деревце, не ломается деревце, точно кол в землю вбитый. Загрустил Михась, ничего не боясь. Будь что будет, а того не миновать. А в глазах самозакрывающихся шторы не опущены, словно держат их двадцать лесных зверей, но не могут напугать. Тогда глазки-то он закатывает и давай реветь, плакать горючими слезами. Наплакал речку, а все не легче.

И заснул, наконец. И снится ему дед его, у которого в квартире лежал он по смерти его, в окно цепляя воздушные мины, и входят друзья к нему, Тюлипов, Фецык и Бряха, а он лежит посреди комнаты голый, в одних трусах, а в руке его бутылка недопитая водки, а в другой руке хлеба кус. И дверь квартирцы распахнута, и окно раскрыто. И друзья, привлеченные дикой музыкой, стоят вокруг него и на него дивятся. Постоял дедушка, ничего не сказал и ушел.

И идет прадед его и переходит речку, что Михась наплакал, и говорит: Минь, вставай, ушицы заварим, сена дам коню своему. А Михась, как в стоге сена игла, лежит и в ус не дует, стрельнул прадед его в небо, потом в землю, высморкался и ушел.

И подходит к нему средний брат прапрадеда, и шрапнелью кашляет, и от газа рукавом рот и нос закрывает. И говорит: Миха, вставай, выпрыгнул я из окопа, помоги товарищей моих с минного поля увести. Ну, спит Михась и глазом не моргнет. Схватил средний брат прадеда землицы свежей, и об пол швырнул и ушел.

И приходит к нему старший брат прадеда, переплыл он море, что Михась наплакал, да трубой пароходной гуднул, вставай, Мишка, картечью море горит, потуши его, дай встать товарищам со дна. А тот все посапывает. Гарцнул-коцнул тогда миною старший брат прадеда, и ушел.

И приходит к нему прапрадед, глухой, седой, с одной черной прядкой, бьющейся через чело. И «Шипку» закуривает, и говорит: вставай, Мишенька, но не встает Мишенька, и как плевнет в пол прадед его, топнул и ушел.

...

...

И спит дальше. И приходит его пращур — руку покрыл ящур, а в бороде родинка прячется, да не родинка, а пежина, говорит: становись, Михайл, во фрунт, но не встает Михась и все храпит. Перднул пращур, точно ядром выстрелил, и ушел.

И дальше еще громче храпит. И вот слышит писклявый писк назойливый, и подлетает к нему комарик маленький, и пищит ему тонюсенько: отгадай мою загадку, отгадаешь, раскую твою цепочку и половничек, а махнешь лапой, кушу, Малярина меня зовут.

Махнул рукой Михась, да промахнулся, и куснул его комарик маленький, и сковало всего, паралич продрал во сне. И тут скок ему на голову мысль, как блоха-кусучка, и подумал он про себя, Малярина, ты не можешь кусить, потому что ты Карамора, Тарабарщина, Долгоножка и Водомерка!

И проснулся Михась, лежит он под дубом большим, и сова ухает, и нет цепи, и все тело у него затекло. И начал он по траве кататься, вокруг дерева, укатался-ухайдокался, да ползком, ползком, на четверка́х, на кортяшках, в три погибели пошел вокруг дуба. И вдруг видит, лежит перед ним дедовская кружка и ложка, что он тридцать лет назад под Болотным потерял, и потом каждый год ездил, чтоб отыскать. И берет, склоняется он за кружечкой, и выруливает с ней к скамейке, на которой Бряха сидит, голову руками обхватив, а ноги развел в сторону и ботинки врозь.

А до отправления поезда остается четыре часа сорок две минуты.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Семейственность

Бенек проснулся среди ночи и обнаружил свою левую руку в гитаре, а когда освободил ее, запели струны, и закачалась маятником гитарка Влакха. Через час две маленькие звездочки вокруг вчерашней большой зажглись. Проснулся от холода — в Ларискиной квартире, где на тумбочке стояли плиточные трансформеры, вроде тех, первых, что делал из пластика после просмотра фильма «Короткое замыкание», и которых друг поплавил на солнце; а на Лариной кровати лежали коники шерстяные, ослики, куколки платяные, а в соседней комнате стонала и причитала грузная бабушка — проснулся и натянул свитер. Во сне разговаривал с дружком, с кем разминулись у магазина хорошего, тот бежал на поезд Москва-Иркутю.

Проснулся, сбегал в магазин, запасся сигаретами «До завтрака», пепси-лайтом с сагиттой и каприкорном, написал пару куплетов, пару раз позавтракал, сделал пару звонков — в Москав пошел снег, и принялся за уборку, потому что не хотел. Все прибрал, вернее, свалил все в мелкие кучки, а по полу грязь размазал, как обычно, паутину убрал, паучка не задел, весь аж вспотел, над песиком поплакал, шутка ли, впервые с 31-го декабря 99-го. Поговорил с птичками, подружил с мухою. И стал ждать.

Мать вернулась первой, прогнала поганую муху, тетушка — второй, посидели, поговорили, только вышли в коридор, раздался звонок в домофон, и скоро в комнату, не дали встретить даже. Вошла Венера и Марина на руках с Марьей Моревной. Посидели-поговорили, вспомнилась мадонна Бенуа и мадонна Лита, чья репродукция теперь переехала в альбом и в кресло к тетушке.

Мусяка, Музя с тезкою шуганулась сперва, а потом Венера ее приласкала, курить не дали, смотрели босоножку Марью Моревну, тетушка-докторица сообщила, что доклад Ангелина прошел на ура.

Выпили чаю, съел конфетку, найденную на полу давеча, поели сладкого, а Марьюшка откусит пряничек, как в детстве далеком, формочный, получается щербинка, месяцик, и глядь, новый лунный пряничек в руке. Фото на память, мама молодая, а потом Венера глянула в глаза, как волчица из мультфильма про Ивана Царевича.

Спустился провожать и думал — не помогут ни дульца сигарет за ушами, ни свитерок, что жена дружка постирала в освященной стиральной машине, ни спички финские «Сампо», все только в руках, ногах, голове.

И вертался когда, еще помог соседке вниз снести банки, потом на второй обратно, и на всякий случай сказал кому-то — у вас двадцать секунд на все, но услышал перекличку часовых, дозорных и патрульных, и увидел уже с балкона море сигнальных огней.

Дудки

Бряха соскочил солдатиком со скамейки, как только увидел Михася, повалившегося на нее, и повернулся вокруг себя. Пока Михась отдышивался, Бряха стал придумывать план, но ничего не придумывалось. Михась же и замер с кружкой в руках. Воды, попросил он. И снял тогда Бряха с головы мокрое полотенце, и нацедил воды, смешанной с потом и с запахом пива. Солоно, сказал Михась.

Ты где был, спросил Бряха, и Михась рассказал, все как на духу выложил. А ты где был, и Бряха аж крякнул, здесь тебя дожидался, хорошо, что не ушел еще, снилось, что видел Фецыка в лесу. А фантики где? — спросил Бряха. Нет фантиков, остались только бантики. Ну, пойдем по миру милостыню просить. Только пойдем теперь направо. Давай нарядимся как-нибудь, спляшем и споем, и спевать будем, и спляшем. И взяли они кружечку и пошли направо от вокзала.

Идут они, идут, а люди все свет, свет позажигали, и видно стало в этом бледном свете за клееными газетами окнами, за пыльными шторками, то одну грустную квартиру, где только одна лампочка горит, как стоит там голый мужчина и из чайника воду булькает неслышно. А в другой квартире, напротив, ложатся на постель чужие люди, вот друг друга погладили и лежат, дальше тоскуют. И фонари все наклонные, как попало стоят и горят.

Но вот доходят они до перекрестка, и Михась говорит: здесь садись и играй, а я спляшу, а потом я сыграю, а ты спляшешь. И вытаскивает Бряха синюю гибкую расческу, и давай на зубчики посвистывать через кусочек газетки-ветошки. И тоскливо так Михась начинает, а потом все веселее, веселее, и гудит через две ноздри, и сквозь Бряхину трубочку пузыри мыльные пускает. Но никто не идет, не подходит.

И тогда меняются они местами, и Михась достает свою трехрядную губную гармонику и гундосит, бибикая через нее, и Бряха сначала чечетку стучит, по черепушке, потом голосок показывает кукушкин, потом кричит по-петушьи, и коленцами до второго этажа сигает, но слуха никто не склоняет, подать не хочет, словно до чужих ушей не досягает.

И тогда вместе принимаются они оттапывать пятки, пускаясь вприсядку, сквозь сопатые ноздри как в сопелки выдувают, и скачут по улице, и кубарем катятся, и в следующем квартале слышат гудок, слышат запах гари паровозной, и видят переезд в квартале ходьбы.

И тут, тока они хотят стартовать, их окликает, руку на плечо кладет дудак гугнивый и шепелявый, достает целковый, и лыбится сгнившими зубами, и руку в трясучке тянет, и показывает куда-то — на расческу, гармошку, и трубочку, и кружечку, и взамен другой рукой показывает четыре целковых, и руку отдергивает, и опять отдергивает в своей дураковатости и даже с некоторой издевкой.

А тем временем поезд отправляется с первого пути.

Тапка

Фецык поставил поднос на каталку, где в тарелке еще мгновенье назад дымилась каша, и чай, и поворачивал в коридор, как увидел Петра, с трубочками, торчащими из носа, который катил капельницу, но удержался от вопросов. Петро протянул кончики пальчиков, торчащих из гипса. Клава ушла со смены.

На койке он достал книжку, полистал и не заметил, как зачитался. К вам пришли, раздался голос, уходя, он увидел, что у Сашка́ на кровати лежит крупяной мешочек. Сухофрукты, смекнул Фецик по запаху.

Скоро заберут? — спросил он у жены с авоськой в сине-черное домино, как для сменной обуви. В смысле, выпишут? — спросила жена. Завтра-послезавтра, как врач скажет.

Они вышли на улицу и сели на серой, прохладной, как, наволока, скамейке, и она взяла его за руку. Тучи разошлись, глянуло солнышко и скрылось. Когда выходили, дохнуло свежим ветерком. Они помолчали, даже не глядя друг на друга. Она проводила его до двери, которая закрылась, вернув его в мир больничных запахов лекарств и кухни.

Солнце осветило ровным светом коридор от ординаторской, и даже колесико каталки у операционной поблескивало. Он

остановился у сестринского стола с телефоном и стал рассматривать подложенную под стекло сепиевую фотокарточку, на которой под дубом стояли какие-то мужчины в шляпах и с клееными бородами.

И он стал дожидаться вечера, пока не зажглись коричные лампочки, и он уснул, позабыв на ноге тапку.

Туда-обратно

Бенек проснулся, когда в третий раз, вместо вчерашних трех звездочек, одной большой и двух маленьких, горел крестик без нолика, и вот расставился крестик мелким цветочком сирени, но белой, ирисом, звездочкой из восьми черточек. А когда проснулся в четвертый раз…

Отправились с матерью на ярмарку за овощами, хотели идти под дорогой железной по туннелю, но, когда выбросили пакет со старым синим пальто, с газетами и мусором, да еще коробку новую от телевизора, когда прошли мимо горки, где с Даней играли в футбол, а потом кастрюля гречки заволокла дымом всю кухню, еще на плите «Лысьва», еще с холодильником «Мир», сгоревшим во время пожара восьми домов в Ключах, когда сгорела и их летняя кухня. А назавтра тетушка позвала закатывать в дачу новую печку, потому что печки давно уже перестали ездить сами.

Но не пошли по туннелю под дорогой, которая выводила когда-то прямо на улицу Венскую, где жили прадед, сестра и жена прадеда, и ходил трамвай.

И добрались, по разности перебегая дороги и перекрестки, шукая машин до 905-го, где загороженная стояла в улицу ярмарка. Не звонили ли родственники из Риги, подумалось, и пожалел, что не пошел тогда по памятным местам, по сгоревшим, снесенным домам, на Каменке, да возле Первой, Второй и Третьей школы, на окраине Советской, где лакированный зеленым детсад, на вывороте у Храма Невского.

На ярмарке звучала песня группы ВИА, и ходили и толпились по очередям к грузовикам старики и старушки, старые и не очень дамы, и пахло медом, эмиратским чаем и овощами. Вспомнил, что Антон, рижский племянник, получил лихорадку в Тунисе.

Переругиваясь с мамою, надел рюкзак, так, что обратили внимание, а перед этим, у повернувшейся к нему лицом Мирьям, помог со второй попытки сложить кочаны в пакет.

После скорого обеда помчался к Лексею, потеряв по карманам мелочь для нищенки, которая уже 12 лет как пела: «Помагите пажалуйста. Ради Бога», и положил ей в руку пятьдесят копеек. Она удалялась, но не в черном, а в синем своем плаще. Теплынь стояла на улице. Промелькнули девушкин волос на щеке, поруливший за спину автомобиль, в немецкие визы, край Пентагона, чих в окне Юношеской бильтеки, и дальше — затопали каблуки и засверкали пятки мимо Облисполкома, мимо дворника, медленно метущего листву, только б успеть до двух, до начала сеанса в Синеме. И уже все еще быстрым шагом, мимо Невского храма, и по левому краю взгляда вождя Революции, отодвинувшего Красный, свернул к кинотеатру.

Но Лексей не записал пленку, и запись была не готова, а триединая жена и ребенок его заболели, и он смотрел глазами начинавшейся простуды. Жалко, что не пойдешь на сеанс, да, надо бежать, дела. А надо было позвонить.

И медленным шагом, так, что солнце, за которым бежал вперегонки со временем, теперь шпарило и пекло спину, пока медленно шел мимо дворника, собравшего листву уже в черную бочку на тележке, мимо овощной ярмарки на Свердлова, мимо облисполкома, где дрались с любимым другом на крыльце темной ночью, и где впервые потерял контроль над собой и не только не остановился после крика «у него нос сломан», а только после выкрика охранника — вы знаете, где деретесь, с крыльца Облисполкома, и как потом везли синебурой ночью из Первой поликлиники на Горбольницу, и разбитая подлым ударом ногой губа друга, и фиолетовые утра на Кирова, где сгорел сталинский корпус связи. И туда, за рынком, куда теперь пошла пятерка троллейбуса, и где Колюха и Рец, мимо памятника Маяковскому и бюста Покера.

И бабушка друга, умершая 5 месяцев и девять дней назад, и его упокойная молитва на девять дней на кладбище, и последняя цедулка водки. И баба Лиза, найденная дядей Юрой через неделю, не было телефона, вернулся тогда из командировки, и Данин спасенный плафон люстры из трех плафонов, падающий на подушку дивана.

И тот же подземный переход, в котором пробежал, задев его за поясницу, Шрай, учитель из Первой школы, и исчез перед свертком.

И далее знакомый молодой и веселый памятник Вождю, на макушке которого сидела птичка, и птичка, сидящая на папахах и буденовках скульптурной группы, и на факеле и на колоске

работницы, и голая скула и глазница статуи, кожа которой лоснилась на солнце.

И отодвинутый парк вокруг статуи, где в апрельский денек стояли детсадом, и глядели на синие теневые полосы ветвей, и мягкие трещины, где тогда кормил птичку, и две глухонемые красавицы, затушившие недокуренные папиросы.

И нищенка «Помагите пожалуйста. Ради бога» в обратном вагоне, и немного больше мелочи в ее полной руке, и конопляный запах в цветочном киоске, и охранник Ломбарда, тушащий бычок, и Огоренко, выносящий стройматериалы и угли уже у первого подъезда, и четыре запаха из квартиры Бабы Нюры, табак, чай, кориандр, лук и яйцо.

Забег длиною в квартал

Слыша гудок в расклоненном воздухе, хватают опешившие было Бряха и Михась дурака за бока и тащат с собой по кварталу, чуть касаясь носками его сандалий по земле, и долго-долго бегут по улице до переезда, боясь, что поезд или проедет, или переедет.

И вот добегают до дощатого переезда, а это оказываются подмостки трамвайной линии, и не переезд это вовсе, а виадук. И хватают они дурилу за помочи, и постромками бегут через виадук, а он под 90 градусов загибается, и оказываются они на лесенке, и бумкают его башкой об каждую ступеньку, но не больно, потому что он только прыскает и недопонимает.

И добегают они до здания Восточно-Западного вокзала, и покупают билет, но перед ними выстроилась очередь в четыре человека, и долго оформляют билеты. И вот доходит их очередь, и Бряха выуживает из кармана два паспорта темно-красных, свой и Михася, и вытрясают они из дуриша четыре целковых, что хватает как раз на два билета.

И выметываются они из вокзальчика, а поезд уже пошел, пролетев четыре станции, и вот подножка последнего вагона сейчас уплывет из-под ног…

Покров

Сказано в Майкопской, Первомайской часовне, Пятницы-Пятидесятницы Красноярской часовне, светлый саван сними и обрати в парчу белую, да легок покрой будет твой, храни всех нас, бывших и небывших, в руцех своих, Пресвятая Мати.

Аминь.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Ящик для багажа

Вот заползают они на подножку, а летящий на подтяжках за ними дурыц тоже вползает за ними в вагон. В вагоне только свет убавили, все ложатся спать, глядь, а купе свободно одно. Усаживаются, поставив дурака на стол, и начинают вещи свои раскладывать, в ожидании контроля билеты проверяют свои, страховки вложенные, и в окошко смотрят.

А в окошке, темнеющем на глазах и отражающем постепенно само купе, видят они начинающийся мост через реку, и чувствуют ногами качку. Ногами чуют мостовые легкие рельсы конструкции, словно полозья саночные, что то под горку, то в горку тащить приходится и ехать.

И, забыв дурака, укладываются спать, но тут проезжают уже за середину моста, как слышат шум приближающихся контролеров, то бишь проводницы, так и не заснув — не получилось.

И вот входит проводница в купе и первым делом спрашивает, что это у вас на столе за чудо-пугало? Где на него билет? Мало того, что без постели засоряете купе чистое, кожаное и мягкое, так еще и это у вас. Непонятки.

А Михась и говорит. А мы его в ящик багажный заховаем, там дырочки ведь есть? Ну, мнется проводница, а потом говорит. Все равно вагон отцепят в первом городе за мостом, ховайте, пусть ехает. И кладут его в ящик и уже крышку с крюка снимают, как видят, что это их друг, именуемый также Бенек.

Мытье и бритье

И Бенек счастливый, улыбочка до ушей, не слыша ругательских слов Михася и Бряхи, которые между собой ругаются и его костерят, и еще с проводницей бранятся, узнает их, и вне себя от радости лезет обниматься и выпрыгивает из ящика.

И говорит им проводница: помойте его. Пусть сам моется, еще мы мыть его, цацкаться будем. Ну, дайте ему что-то из своей одежды, говорит проводница, пусть он пересидит хоть в туалете. И достает Бряха мыло, Михась тапки, ножницы и бритву электрическую, и вдруг видят, что Бенек понимающе и оценивающе смотрит на них, что приводит их в недоумение, а потом в дикое раздражение, и разражаются они дружным хохотом. На, помыться, постригись, помойся, одежонку смени, Бе-

нек, и на все про все у тебя 5 минут, потому что потом туалеты закрывают, ну, этот закрывают последним, может, еще пять секунд.

И вот мерно стрелка часовая круг свой петлей завершит, но не в накид, как вертается стриженый, бритый Бенек, в Михасиной и Бряхиной пополам одежонке, и сбрасывает ветошь свою в мусорник, а из кармана вынимает пачку примака и говорит: сохранил, Бряха, ты мне при расставании дал, и вытаскивает бронзовую зажигалку и говорит: сохранил, Михась, с того раза, как у тебя стянул с фуршета. А я — искал, обыскался!

И поезд уже подъезжает, и светать начинает, и проступают знакомого, родного города очертания, как видят они, глядя в окно тамбура последнего вагона, затягивая глубокими затяжками «Приму» и выпуская дым через шесть ноздрей.

И вот ближе уже к десяти въезжают они в вокзал, и спускаются, и видят идущего им навстречу Фецыка.

Вокзал восстания грез

Фецык вскинулся с кровати и вспомнил, что кого-то он должен встречать на вокзале, а кого, вспомнить не может. В авоське-домино находит он свои манатки и даже кеды, припасенные женой, по-быстрому одевается, приводит себя в порядок, и, пока новая нянечка и охранник спят, утомленные ночным дежурством, потихоньку выбегает из больницы и прыгает в первый трамвай, который везет его вдоль пяти линий, и ссаживает его на шестой, и поворачивает на Константиновскую батарею.

Петро, Сашок и Пашка же, притворившись спящими вполглазка, за ним наблюдают. Смастерили они сонный настой и добавили в котел на ужине, и скрылись по палатам своим, по палаткам, и, пока спал, держали военный совет. И удержались пока от решительного ответа, постановив дать решительный отпор.

И подъезжает Фецык на трамвае и шагает на Восставший Вокзал, и идет осторожно, как по наущению или просто по наитию, и выходит к пятому пути, седьмафорной платформе.

И видит, как с отцепленного вагона выходят ему на встречу, чуть погодя, как уже все прошли, друганы его, корефаны: Бенек, Бряха и Михась.

И видят они, как подъезжает кортеж прямо к запасному пути, и смотрят, как выходит оттуда красавица, певица-царица-птица-девица, и долго смотрит им вслед. И в кофейне вокзаль-

ной выкладывает Бенек из дырявого кармана пятый целковый, юбилейный золотой, и начинает рассказывать.

Дверца, каруца, полог, занавесь и две руки

Тюлипов просыпается и сонно потягивается, и видит, что он потягивает вишенный сок из бокала, а невидимые гувернеры одевают его, наряжают и прихорашивают.

И после завтрака и кофия с коньяком выходят они из дома с коньком и по перламутровому мостику идут за болонкою с хвостиком, и в каруцу садятся и летят с ветерком.

И жемчужная ниточка переходит в замочек, а от-по молнийному замочку спускаются они к башенке с пятью золотым, серебряным, бронзовым и темнонебушкиным циферблатами.

И попадают на ручную гладь озерца, и под солнышком скользят к арке с темно-синим пологом.

И сквозь полог проходят как сквозь синьку-бирюзу, и кислород, и синильку раскусив, как мускатный плод. И там виднеется пряничная дверца, и протягивает к ней руку Тюлипов, и притворяет ее, и видит, что тонкие руки отнимает от глаз.

Рассказ Бенька

Я летел а с моблака
Вот и весь рассказ Бенька́

октябрь 2007

Книга четвертая

Летовс-wake

Факсимиле Дохлого стоит в нске 2500 рублей.

Из разговора

В 2007 году я работал переводчиком технических текстов. Я должен был к маю сдать описание радиостанции для Индии. С предыдущего места работы меня выгнали за пьянку, вызванную тем, что в день похорон Ельцина и убийства футбольного болельщика «Локомотива» (я работал в институте при РЖД) из-за табуретки — вернее, на следующий день — у меня была встреча с женщиной, которую я любил и воспел как Новую Элоизу...

Свидание, а, вернее, встреча, проходило в пирожковой. Я ждал примерно полчаса, когда почувствовал запах ладана и сильную одурь цветов. Я обернулся и увидел за соседним столиком траурный цветник, венок и зажженные свечи. Болельщик «Локомотива» был убит там накануне. Ему выстрелили в шею за то, что он у кого-то взял табуретку, не спросив разрешения.

После Ю., а так ее зовут, прокатила меня на машине по Садовому кольцу. Мы расстались возле здания МИДа, и я понял, что между нами никогда ничего не было и никогда не будет. Спустя два месяца она обстригла свои роскошные рыжие волосы. Лучше бы я сжег их, завернув в газетку.

Только я возвратился домой, как мне пришло смс-сообщение: «баба умерла». Умерла бабушка моего любимого друга Филиппа, которого я называл Маяковским, потому что они родились в один день. Он приехал, опоздав на похороны. Филипп повел меня по старым кварталам нашего города, указав дома, где они жили — с большими витринами коридоров, выходящих на свет. Это было рядом с Домом женихов и недалеко от СНИИГИМСА, где бабушка до 86-ти лет работала заместителем директора. СНИИГИМС также недалеко от Дома офицеров.

Мы пили всю дорогу — я не пошел на работу и ничего никому не сказал. Короткое время мы посидели в опустевшей и светлой квартире. Потом у родителей — его отца и мамы Тамары Алексеевны. Там пили водку, а потом поехали на кладбище. Филипп, почерневший от египетского загара и невыносимого горя, оплакивал бабушку, также как и я 20 лет назад. Он читал долгую упокойную молитву и плакал водкой. Тех, кто творит похоронный обряд, у нас видно сразу же. Год спустя я встретил такого человека возле подъезда моего друга Димона, когда тщетно пытался вспомнить его квартиру.

Когда Филипп уехал, я продолжал пить еще две недели, после чего позвонила с работы моя коллега, а в прежнюю бытность моя учительница английского языка Нина Ивановна с

голосом медицинской сирены. Она подумала, что со мной что-то случилось. Но я не посмел ей соврать, что это у меня умерла бабушка.

Волчьего билета мне не дали, позволили доделать работу. Говорят, что за время моего отсутствия дети приходили и искали меня. Меня еще и отправили в отпуск, заплатив очень хорошие деньги. Я решил уехать в другой город и начать новую жизнь. Мой друг Димон также подкинул мне работенку. Это был перевод ста страниц с английского на французский. Я завалил его, и Дмитрий не разговаривал со мной примерно год. Кроме того, я, наконец, взялся за радиостанцию для индусов.

Я всегда понимал, что, когда мне выставляют срок, он как последний гудок парохода, — его нельзя переменить, ни о каких переговорах не может быть и речи. Всю свою жизнь я жил в страхе невыполнения долга, и в страхе смертном, и постоянно просил отсрочки в последний момент. 17-го июля пришло известие о смерти Пригова, с которым я беседовал дважды. В 2003 году я спросил его, пил ли генерал в «Хрусталеве» горячий кипяток, но он тогда сказал мне, что это была подсахаренная водичка. За полгода до смерти я видел Пригова в нске, когда проводил его в магазин, где он покупал авторучки — 40 штук. Еще он сказал, что ему нужен будильник и что он много путешествует.

Я воспринял его смерть как личное горе и чудовищную потерю для тех, кто ведет борьбу со временем, иначе говоря, для отряда бойцов за нетленную, а не крайнюю плоть, как любил глумиться надо мной мой старший товарищ Л.

Я жил с определенным императивом — браться за любую работу, как последнюю, делать свое дело, полностью подчиняясь инструкциям вышестоящего начальства, как безусловному приказу. И, пока я мог, я работал по 20 часов в сутки. Встретившись с обманом, я не переставал быть драгоманом.

Однажды я проработал 3 месяца бесплатно, от страха бросить дело и перестать получать. Я всегда полностью и во всем доверял людям, понимая, что обманывать нельзя, и всегда ждал последнего слова, когда я услышу правду. Никого не тянул за язык. Полностью попадая под власть переживания.

Например: если женщина отсутствует три дня и три ночи, то что-то случилось, она, может быть, уже где-то погибла, попала под трамвай.

Мысли об этом приобретали форму картин, которые неслись перед внутренним взором, что скрашивало тревогу и ожида-

ние. Я сам был комнатой, в которой висел стоп-кран, пожарный рычаг, и я знал, что, когда случится пожар, послышится звук сирен, и человек — его верная тень — выбежит на улицу, голося о тревоге и призывая караул.

Дело в том, что в тот год я не могу уже нормально работать дольше 8-ми часов в сутки. Я не спал без снотворного последние 8 лет. А без снотворного на вторые сутки я оказывался в беспросветном бреду. Моя тетя — опытный врач-клиницист с 40-летним стажем, повидавшая многих больных с бедовыми головами, утомленных, нецелых, любых, решила сохранить меня для нормальной жизни. Она сказала, что посадит меня на инвалидность за счет справки, выкупленной у врачей клиники на Потешной, и предаст дело всяческой огласке. Ты вернулся бы оттуда через полгода — трупом, дураком, конченым человеком, сказала она.

В качестве наблюдающего специалиста она вызвала свою старую свояченицу Валентину, психиатра-пенсионерку. Шантажируя меня справкой (никакой справки не было), она обманывала меня этим 8 лет, а я верю каждому слову, сказанному людьми. Та набожная врачиха и почти знахарка прописала мне сильное снотворное, которое было еще сладким, как молоко, и сильно полнило. Врачиха приобрела такую власть надо мной, что называла меня побирушкой, и угрожала смертью моей матери. От снотворного я спал день и ночь.

При этом, как я ни боялся огласки, всем скоро становилось ясно, что у меня в голове дурь и у меня написано на лице, что я дурак и больной.

Я хочу отметить еще одно правило, которое неукоснительно соблюдаю: то, что я когда-то услышал с глазу на глаз — становится общим достоянием и предается мной огласке. Это отступление по поводу категорического императива. Сам же я посвящаю в свои мысли всех, кроме, что называется, во спасение, моей матери и тети — сонной наивной вечной девочки, сохранившей веру в правду и в людей, и вечной дежурной, бессонной стражницы хорошей страны. Мама занимается 50 лет радио — чтобы хорошо доходил сигнал. А тетя лечит и консультирует всех раненых и больных в околотке — по знакомству и без личной корысти.

Чтобы завершить эту часть рассказа, отмечу, что никогда не прощу тете смерть бабушки — в 90-м году. Бабушка была без сознания три недели, но без дыхательного аппарата, она дышала сама — но мозг у нее умер, — такой вердикт дала тетя-врач,

а мама всегда ее передразнивала, начитавшись медицинских справочников и пытаясь быть сведущей во врачебной науке. Маме я прощу все, потому что это единственный человек, который никогда не предаст.

Вот почему смерть бабушки моего друга я воспринял как то, что как будто произошло со мной. Но это еще было и освобождением от тягостной работы — где все заушали и каждый день обманывали на глазах у всех.

Через неделю после смерти Пригова умерла 16-летняя дочь моей знакомой. Она провела в больнице год, и при этом училась и получала пятерки. Я видел девочку один раз — и ее белая тень навсегда осталась для меня в той комнате, где они тогда жили.

Я не люблю похорон и мертвецов. Я считаю, что должен идти на кладбище, чтобы спеть поминальный плач и песню, чтобы это никогда больше не повторилось, чтобы не было этой бесчеловечной муки. В этом и есть история моей болезни и дури, когда, прокричав, как петух голландский, и свернув себе горло, я вижу живых людей, как тени, и понимаю, что мы уже находимся на том свете. Я сказал «голландскому петуху» — я не люблю бахвалиться зря, но хочу, чтобы мои слова можно было прочесть над каждым пьяным забором нетленной любви.

Отдельно о том, что старый товарищ и друг Л. называет пиздостраданием. Я никогда не испытывал нужды в постоянной компенсации и сатисфакции. Я был влюблен в первую московскую красавицу Ю., настоящего идола всех билбордов, ее имя и фантом знает каждый человек в любом околотке. Обстоятельства и судьба распорядились так, что мы оказались за семь тысяч верст друг от друга. О моем же товарище сказано достаточно.

Пропив август месяц и завершив перевод индийской радиостанции, я остался без денег. По образцу многих моих знакомых, которые много работают, я бездарно пропивал и проматывал эти деньги. Я купил себе лишь мобилу — довольно сложное устройство, которое я так и не освоил до конца.

Я почувствовал в себе паскудную силу, отказался принимать снотворное две недели и, соответственно, не спал, а только забывался. Испытав прилив мысли, я начал сочинять веселые тексты — сначала затейливую рецензийку на товарища, который показался мне строителем крепкого дома из красного кирпича, куда хорошо было бы сложить мощи футуристов, а затем....

А затем, на следующий день, я написал текст «Дружба народов, или Города-побратимы», полный душераздирающих подробностей, услышанных в разговоре с мамой моего лучшего друга, и добавил для веселья от себя несколько прибауток. Я потерял друга навеки, и больше мы никогда не разговаривали. В последнем разговоре он сказал, что у него волосы встали дыбом и что я — баба.

На третий день, а это была суббота, я должен был отправиться с мамой на наш огород на горе. Сияло солнце. Мы повздорили, я пришел в бешенство и с размаху разбил об асфальт термос, и опрометью убежал. В другой раз, когда мы сели в автобус, я почувствовал запах паленого. Оказалось, что это горит сигарета у меня за ухом. Оба раза мы привлекли к себе внимание, потому что в первый раз запахло паленым, а в другой она кричала: «Витя, вернись!» — на всю улицу.

Почувствовав себя на свободе, я сначала бежал, а потом перешел на шаг по осеннему солнечному и бодрящему городу, а когда пришел домой, за 5 часов написал текст «Шаровая молния, или Квадратная звезда», о котором мой старший товарищ Л. в последний раз отозвался похвальными словами: «хроника пикирующего бомбардировщика». Его подруга из Питера, дочь известной писательницы, сказала: «от некоторых буковок хочется перестать быть на свете». Главное, о чем говорилось в этом тексте: теперь никогда никто больше не умрет.

Я мгновенно уверился в том, что то, что сказано — уже сделано, после чего месяц бегал по городу, приветствуя лица людей, заглядывая им в глаза своими совершенно больными глазами. Мои ноги были стерты в кровь, а мои мысли, по моему мнению, передавались, как чистый радиосигнал, всем людям на свете. В этом была история болезни. Для большей вероятности, что мои слова дойдут и что всеобщее взаимопонимание для спасения жизни на земле будет достигнуто, я разослал по всем почтовым адресам, будучи в безудержной эйфории, сообщение следующего содержания: «пусть все мои знакомые получат на работе командировку в наш город и под разными предлогами мы проведем заседание Морового мравительства, Вселенский собор».

Так ро(д)илась идея новосибирского фестиваля поэзии. Люди не отозвались на мои письма, и только один Д. К. сказал, что никто просто так никуда не поедет. Однако спустя два месяца программа фестиваля была готова, и под это дело нашелся небольшой грант.

Я две недели беспрестанно сочинял фантастическую повесть — а получился месяц письма. Я воображал себе, что говорящие персонажи бегут из загробного мира — среди теней лиц людей, которых я встречал на улице, перебарывая чувство невыносимого, нестерпимого ужаса и тревоги — вызванного, наверное, градусом эйфории и воздействием новых, хороших лекарств — я прошел смену курса и одновременно лечил ожиревшую от снотворных таблеток и выпивки печень, которая творит кровь — так что горячая пища заставляла меня шататься от пара, как будто кастрюли. В сентябре от суперлегких сигарет, на которые я перешел, у меня возникло также ночное удушье.

В середине октября к нам в город принес Суховей — повесть моя была уже окончена, и пятеро друзей благополучно вернулись из царствия мертвых, о пяти главах.

Во время доклада Суховея на научной конференции я, будучи обладателем ученой степени кфн, вклинился с докладом о создании пространственно-темпоральных полей и некоторых разломах земной коры. Целью моего выступления была попытка демонстрации мышления в речи. Все это внимательно выслушала руководитель секции Волжанка, прекрасный человек и отличный филолог. А сама конференция к 85-летию ЮНЧ и была тем Вселенским собором, о котором я мечтал, только выступил я отнюдь не в качестве 71-го толковника. Своим выступлением я закрыл в институт себе все пути, как сказал 1 ноября в день поминовения усопших мой учитель и старший товарищ.

Что касается пространственно-темпоральных полей, о которых я говорю, то они были передо мной — от помех новых лекарств нормотимиков комнаты переворачивались передо мной дважды в секунду или моргание. Я объезжал город на трамваях, троллейбусах и просто пешком, подражая Морозу-воеводе, который обходит владенья свои. Между тем, мои друзья Вадим и Зося объяснили мне механизм распространения и популяризации любой акции. В тот день дочь Зоси Дунайда разговаривала с нашим Егоркой, и он показывал ей свои богатства: аккордеон, пепельницы-сфинксы, арбалеты и чайные коробки.

Одним из эпизодов этого объезда города стал поход в зоопарк, куда я рвался, так как хотел быть везде. Я рвался и опоздал. Евгения, девушка 30-х годов, тонюсенькая и с длинными волосами, в круглых очках, на чьей кухне под газовым огоньком мы курили в сталинском стоквартирном доме, где она жила в квартире номер 101, — любящая Хармса и совсем не в его

вкусе, — там мы тогда встречались, и я пытался помочь ей составить мысли и слова в верном порядке, от которых бегут без оглядки. Она пригласила меня в зоосад, куда поехала с питерским филологом Вьюшкой. Путь до зоосада лежал мимо паспортного стола, и в детстве он казался не таким далеким, как в тот вечер. Однажды мы ходили еще дальше — туда, на ДК Кирова — туда и обратно, каждая проходка отнимала по два часа. Я сорвался с дня рождения внучки моего покойного тренера по шахматам (в смерти которого винил себя), Наташи, и ринулся к Зоопарку. Благодаря мобильной связи — а у меня была трубка с гудком, возвещающим о прибытии пожарных — передвигаясь по строгим квадратам кварталов и переваливая кварталы временные — так долго казалось, и я добивался ведь общей синхронности времени. Я сорвался и бежал, и внучка шахматиста сказала мне, что 17-летие — это когда обычно гуляют всю ночь до утра. Мы встретились с Женей на улице Плановой, когда уже темнело, и она с Вьюшкой посетила меня, и мы вели какой-то разговор о несбывшемся...

Я хотел находиться одновременно везде, и здесь, и сейчас. Словно противни, вращали меня эти самые темпоральные пространства.

Еще через две недели я был уже в Красноярске, на книжной ярмарке, куда попросил проводить меня мою маму, чтобы она увиделась с братом — дядей Борей, который был вылитый ее отец, мой дед. Я действовал так, взявши формулу — не рассудок, так бес. Я ехал, чтобы встретиться со своей возлюбленной Ю. 9-го ноября, в пятницу, в день Параскевы и Хлебникова — в часовне на Караульной горе. Однако я так и не встретил ее, заранее оплакав эту встречу в поезде, где с нами ехала детская спортивная команда. К слову, мы возвращались вместе с той же командой пять дней спустя. К тому моменту мне заплатили деньги за радиостанцию для Индии, так что это я вез свою маму на встречу с братом и сестрой.

Понятно, что все дети горели каким-то остаточным свечением, словно были осенены, а парень Андрюха, сошедший в Тайге, рассказал мне, сначала желая бить мне морду, но потом поняв, что я его с кем-то попутал, рассказал, что его годовалая племянница была в реанимации, на что позже я приготовил воззвание к скорой помощи, которая была обязана была сделать все, чтобы мертвые позавидовали живым…

Тайга — особое место для нас. Когда-то мой дед, ехавший с Халхин-Гола на Финскую войну, встретился с моей бабушкой,

просто сойдя с поезда, совершенно не зная о том, куда она направляется.

За неделю до отъезда в Красноярск мне удалось попасть на концерт африканской певицы Цесарушки, с которой я работал год назад по наводке моего старшего товарища Л. Мы были в четырех городах, и каждое утро я просыпался в 6 часов, чтобы спуститься в приемную гостиницы, чтобы разговаривать с ней, хотя она плохо говорила по-французски. Но я спускался, чтобы разговаривать с ней, чтобы она не сидела одна и не заскучала. Я рассказал ей и ее компаньонке историю с видением в московском автобусе. Компаньонка, университетка, всюду сопровождала ее, даже в походе в ноябре на рынок, куда негритянка шла в одних шлепках. У нее болели ноги, и поэтому на сцену она выходила босой. В одном из номеров она должна была курить сигарету, и для этого мне пришлось подписываться за нее в службе пожарной безопасности театра.

Организатор концертов довольно долгое время проводил в Москве, решая судьбу других своих проектов, вроде «Продажи», выступление которых в Екатеринбурге провалилось. Вместо себя он выписал менеджера из Москвы, с инвалидным штырем в бедре, по которому тот получал пенсию. Он вел денежные дела, говоря между делом: «теперь будем ебать». Я же старался сделать визит африканцев как можно более человечным, в частности, водил в первую конструктивистскую поликлинику, где мне когда-то ставили гипертензию и дверь которой когда-то вынесла вторая жена моего старшего товарища Л...

Я водил в первую поликлинику шефа оркестра, у которого открылся отит, и он не мог слышать музыки — ему делали там довольно сложные притирания ушей, по-средневековому болезненные. Визит к врачу для африканского пианиста Андраде был организован не мной, я лишь ассистировал при этом. Со мной расплатились только через год.

Во второй их приезд в конце октября 2007 года меня и мою семью пропустили на концерт. На сцене я подарил певице цветок и мы расцеловались, после чего меня вывела охрана, а все музыканты оркестра бросились ко мне, крича — это наш друг, отпустите его. Мгновение спустя мы с тетей оказались в гримерной, куда меня и привела эта охрана. Музыканты были уже в новых одеждах. 12 человек разговаривали со мной и моей тетей, которая год назад давала пианисту Андраде по моей просьбе бесплатные консультации. Я вручил Цесарушке-курильщице желтую книгу с негром и белком — у нее на островах Зеленого

мыса была русская свекровь, — пачку беломора, и примы, и пакет с Зиданом. 12 теней неделю стояли перед моими глазами, они удержали меня от преступных шагов. Возможно, благодаря им я и выжил в тот год. Месяц спустя я написал стихи о «театре для себя», так называлось агентство в нске (далее ТДС), и о том, что африканская певица, забывающая имена, вернула мне бабушку.

В вечер этого концерта я встретился с любимой своей сестрой, о которой думал, что предал ее. Она занимается молекулярной биологией и процессами, которые лежат в основании жизни. Иногда она работает по 24 часа в сутки, следя, чтобы молекулы не сбежали из супа. Я рассчитывал, что она найдет решение основного вопроса — как вернуть жизнь, ушедшую вспять, как найти организм для того, чтобы вернуть ушедшие поколения. Я дал ей 50 лет на решение этого вопроса. Мы говорили о нашем детстве, о ее отце, гитаристе и чифиристе, который однажды волок меня грязного, упавшего в фонтан, домой, об отце, смерть которого она не могла осознать. Во время этого разговора ее трясло мелкой электрической дрожью, как будто я был тем пьяным, который пугал нас у забора кошачьей столовой, которую мы едва не создали в детстве.

Я ехал в Красноярск, где рассчитывал на небесное венчание с Ю., которое по моему замыслу должно было состояться в часовне на Караульной горе. Я еще верил в чудо и предполагал, что наша встреча станет венцом мира, что мгновенно сбудется то, что должно было сбыться в аккурат. Например, когда Ю. сообщила, что приедет в нск, я пятнадцать минут плясал в свете лампочки в своей комнатенке, пока вдруг на два часа не вырубили свет во всем жилмассиве.

Но, вопреки моим чаяниям, Ю. так и не появилась на большой книжной ярмарке в МВДЦ, чтобы встретиться со мной. Единственное, что я видел, это похожую рыжую в куртке с надписью Mozilla, обернувшуюся спиной, и к которой я не решился подойти. Однако вместо этого мы поднялись к часовне Параскевы с Андреем. Она была наглухо закрыта и там шла служба. Степень накала службы можно было оценить по припадочному, который рвался внутрь, биясь в падучей. Вместе с моим братом и Андреем мы также посетили императорский египетский музей с недостроенной пирамидой, и на входе я вспомнил, что был в нем в детстве, когда моя голова разламывалась в горячке в попытке запомнить все чудеса мира, которые в нем были собраны. Там мы видели корабль, на который под бой колокола в

пятницу всходят жених и невеста. Это событие происходит в городе каждую пятницу. Также мы подходили к башне самоубийц, на которой наверху было написано «Дина, я тебя люблю», довольно большими буквами. Андрей предложил мне подписаться.

Мы расстались у кинотеатра «Пикра», где в дом, давший трещину, когда-то был встроен рекламный макет одноименного самолета, врезавшегося в этот дом. Макет убрали еще до 9.11. Я уехал домой, написав текст, слово в слово повторяющий плач, сочиненный в веселом поезде, в котором я возвращался из Москвы в 2003-м. Там были такие слова: «я растоптал платок на площади, где чумаков едят кумачи, я сам стою в короткой очереди и затоплю тебя в печи».

Красноярский брат рассказал мне историю о том, как едва не погиб в автокатастрофе. На канской трассе у встречной машины отскочило колесо и прошло в сантиметрах от их кабины. Они съехали в кювет.

Он отвел меня в церковь, новый храм на берегу Енисея. Позже в церковь возле дома тети Наташи, которая строилась, когда мы с Янусом бесцеремонно и безудержно любили друг друга в 2001-м, пришел работать священником известный на весь мир богослов. Станислав, мой брат, разговаривал с ним. Брата постоянно преследовали опасные происшествия: когда к нему приехал Антон-Капитан, он перенес тяжелейшее отравление, в другой раз — угрозу аневризмы и в третий — разрыв крестообразной связки. В 2002 году он прожил у меня полгода. Зато башенный кран, упавший в улицу, по которой он проезжал за несколько минут до этого, и ТЭЦ в Норильске, которая взорвалась вскоре после его поездки мимо — не задели его.

В свою очередь, я поведал брату рассказ о том, что разрывало башку мою. Я пришел к умозаключению, что следует открыть безусловный язык, в котором не будет фальши соссюрова знака и всяческого промедления и заминки, и этот язык сделает сознание бытием. К этой «мысли» я пришел в египетском музее, после того как Андрей сказал мне, что государство времени продолжает работать, в чем я усомнился.

Вернувшись из Красноярска, я второй раз за год отправился в город Барнаул, где я, кажется, был в детстве.

В Барнауле мои друзья Колюха и Рец встретили меня и организовали вечер, на котором я выступил. Перед этим вечером мы до 4-х утра разговаривали с Рецем, и я впервые выпил за два месяца, запивая вино чаем. Рец жил тогда в комнате ци-

вильной благоустроенной общаги, в отдаленном районе. Он и Николай оформили плакатной и станковой живописью все питейные заведения города.

Уже после вечера Николай встретился со мной и прибывшей от волнения тетей, которой не понравился мой голос. Его мастерская была занавешена супрематическими плакатами. Мы также познакомились с Анной, рассказавшей в новостях о моем приезде, и Иваном, ее другом. В разговоре я без труда угадал, что отец Анны был военный, и семья постоянно переезжала.

В разговоре с Рцом накануне вечера я услышал от него, что стена и дверь, которые я вижу, на самом деле отсутствуют, и сегодня ты в Барнауле, завтра в Красноярске или Юрге. Он также рассказал, как вскрывал себе вены, спасаясь от армии, и затем забирался на Красноярские столбы, и рассказал о Диме-философе, друге Александра Федоровича. Диму-философа однажды несли на руках в факельном шествии в нске, а он рассказывал о спартанцах царя Леонида.

Николай посадил меня и тетю в красный «Икарус», в котором мы долго ехали (вспоминая) всю нашу прежнюю жизнь. Я ночевал в тети-Нюриной квартире, под шкафами из красного дерева, в комнате, где умерла тетя Галя, и где 4 года назад я читал рисунок пылинок на полу и хотел положить весь дом с потолком в пододьяльник, играя в жаркие страны.

На следующее утро я написал текст-план, идея стукнула мне в голову в метро. Это было письмо Маяковскому, в котором я предложил создать управляемую атомную реакцию под анестезией языка, который болтал во мне и не закрывался ртом. Язык призван был уловить голоса с того света и был безусловен. Филипп рассказал мне о том, что во сне его бабушка и хор голосов разрывают завесу его сознания. Атомная реакция, взывающая к простейшим, должна была дать живым неубиваемые тела, и развернуть, и свернуть всю естественную историю в огромную башню, в которой поселились бы все люди.

Примерно такими башнями Филипп уже и так застроил всю Москву, он был пиарщиком национального агентства недвижимости. Речь о башне, в которой поселились бы все люди, бывшие и небывшие, которые могли бы без мук целовать, целовать, целовать. Таким образом, людская помощь должна была быть поддержана сверху. Текст письма Маяковскому, от которого я до сих пор ожидаю ответа, был послан ЮНЧ, чтобы он передал его Егору, как знак, что помощь идет. Я почти уверен, что Егор этого текста не прочитал, но таково вообще правило

роте-фраксьон. В этот момент у меня кончились индийские радийные деньги, и родственники на второй день стали называть меня приживальщиком.

Через неделю некий Дмитрий дал мне заказ на перевод дистанционного управления немецких атомных станций с английского, 40 страниц. Когда я его выполнил, мне на глаза попала история о том, как Маяковский заперся в комнате на месяц, работая над поэмой ПРО ЭТО. Не имея ответа от Егора, я решил также внутренне запереть себя за нарисованной на потолке дверью. Оттуда я послал отповедь нскому Ватикану ЮНЧ, которому все вокруг пели славу, точа ножи, а также своему старшему товарищу Л., который когда-то говорил, что он приверженец дела Ельцина, и разве что Чечня остается темной кляксой на его светлой биографии. При этом в 96-м году он признавался мне, что Чечня сейчас везде, а какие-то швейцары, причастные к этому в Томске, говорили мне, после того, как я разобрал дверь в гостинице, где не поворачивался замок, чтобы выбраться оттуда, говорили мне о том, что так просто проверяли новое оружие.

Мой старший товарищ и друг Л., которого я называл «папайморячок», разработал доктрину «Ельцин-для-себя», как основной принцип. Так совпало, что однажды он в одном самолете летел в Америку, на русском это значит «на тот свет», с Гайдаром, которого встречал негр с табличкой «Egor», а моего друга — белый с табличкой «Igor», или наоборот. Это только часть нашей ссоры, которую он проигнорировал, притворившись недоумком. ЮНЧ родился в год образования СССР в день независимости США. Свой день рожденья он празднует целую неделю, и это настоящий карнавал. В описанный год в Новосибирске был карнавал, сравнимый только с празднованием победы 9 мая в 1945 году, сказал мне отец моего друга Пабло, который все это видел и помнил.

На второй день своего «взаперти» и «не выходи из комнаты» я написал несколько хореев, чтобы воссоздать размер моего старого товарища Л. В этом хорее я описал наши школьные хулиганства — мы учились в одной школе и с ним, и Филиппом, и с Павлом, и Димоном. В школе мы делали нашу личную любовь к лучшим и скрытным отличницам публичной прокламацией, пририсовывая огромные груди к их портретам в стенгазетах, и бросали эти листовки на туалетный красный пол.

Мой учитель гитары Вова Влакх однажды бросил в похожем туалете на пол спичку, не заметив, что там стояли газовые бал-

лоны, они добежали с товарищем до реки Обь, где только увидели, что брови их горят, и два месяца лежали в ожоговой больнице. Янка жила в одной из изб недалеко от маминова и Вовиной мамы завода, и Вова, будучи пионером, видел и навсегда запомнил ее. Ему принадлежит весь обновленный репертуар одной нской группы, которая открывала концерт памяти Егора в Академе.

Мы же с Филиппом, бросая листовки на красный туалетный пол, хотели выставить всех на театр басен. «Едет Тоша к португалам, не прощается балда», в стихах второго «дня взаперти» были такие строки. Мы считали, что слово сплетни может убивать, но мы не сплетничали, а любили. Мы искали сначала только доказательства на гибель, словно вынув из земли мертвую Сарру, подобно героям чеховского рассказа, на что мне указал мой старший товарищ Л., «Психопаты». Мы бросали листы школьной газеты прямо на пол, где директор Мичман когда-то собственноручно брил опасной бритвой хиппи.

Наша дружба с Филиппом не прекратилась и после того, как в год, когда Франция торжествовала на своем черно-бело-буром флаге во время чемпионата мира по футболу, и когда он видел в Париже Хвоста, который оставил мелкую подпись под посланием нашему старшему товарищу Л., Филипп сломал мне нос на крыльце здания Областного правительства, и я этого не заметил. Нас остановил охранник, который спросил: вы знаете, где находитесь? Павел скомандовал робкому Кудедрею и Димону, чтобы они не вмешивались. Это было после нашего первого вечера в доме-музее Кондратюка, который, как известно, построил элеватор из одних щепок и был учителем Сергея Королева.

Павел повез меня в больницу, где я придумал историю, что на нас напали, чтоб не доводить до милиции. В момент драки, которую развязал я, я в первый и в последний раз в жизни потерял контроль над собой на короткую долю секунды.

Я провожал Филиппа на вокзал, в ночную ноябрьскую ночь. Он навсегда уехал в Москву.

Что же касается создателя «Театра для себя» в нске, то это было, по его словам, лишь отголоском старых драк. Он рассказал, что когда-то при школе жил трудовик, в специальной каморке, и техничка, чьи дети бегали подле — я застал ее. В особые майские дни главную улицу города перекрывали для школьных драк на четыре квартала, как теперь в дни народных гуляний. А артисты из оперного театра и народ ходили хорово-

дом, выкликая богиню Костромку. Мой же старший товарищ и учитель Л. стал позже читать стихи на публике, сажая в зал своего адепта, который один все понимал. А происходило убийство читателя и слушателя. Двойник чтеца, солярный столб, находился рядом и уходил несколько погодя, я, по крайней мере, это видел. Само же представление показывало душу только что умершего человека, озирающегося в потемках коридора, ведущего к подножию лестницы.

Обо всем этом я написал «на четвертый день взаперти в комнатенке» в стихотворении «Конец Биографии, 96». Там же я призывал свою бабушку, каковую еще с детства воспринимал как Гингему, а в Риге жила ее родная сестра Бастинда-Зоя-Жизнь, которая умерла в прошлом году в возрасте 92-х лет...

Я призывал бабушку вернуться с ураганом назад, вылетев на убивающей кровати, где она умерла. Ни я, ни Филипп не видели мою и его бабушку в гробу. Я сказал, что не хочу видеть ее такой и не верю в это. Муж тети Эммы, подвозивший нас с сестрой до квартиры тети Нюры в 1990-м в день похорон, умер на дереве, добывая шишки. Он был шофер-водитель «УАЗа». Бабушка снилась мне только однажды, и во сне она лежала в далекой больнице и до меня доносился ее слабый голос. Я увидел в прилете Цесарки ее возвращение и компенсацию за любовь.

Примерно в те же дни нескольким моим знакомым приснился сон о том, что Ельцин не умер, а находится в больнице и ему плохо. Я видел Ельцина в 1996-м году с расстояния 20-ти шагов, в разгар известной кампании, когда после пляски ему вздумалось покататься на нском метро. Это было на первой станции, которую у нас построили — Красный проспект. Когда же приезжал его преемник, поначалу вставал целый город, а на крышах сидели снайперы.

Кажется, в описываемом 2007 году я решил зайти в гости к сестре, но увидел, что у каждого подъезда ее платяного полосатого дома стоит по человеку в синей шинели, и по человеку на каждом этаже, как во время итальянских операций расправы с предателями. Дело в том, что государь обедал в это время в «тэбэкашке», ставшей рестораном академии наук.

Итак, после того, как я заперся и «открылся» 22 декабря, в самый короткий и темный день в году, после этого прошло пять дней или неделя. В ночь на новый год, когда принято омывать себя для новой жизни, отмеряя этот день всеобщей бессонницей, к нам приехала тетя. Она привезла какие-то подарки, и искренне радовалась, и уехала около 10-ти вечера. Пе-

ред телевизором они, нарядные и любящие, устроили танцы со мной, совсем как в одном рассказе Башевиса Зингера. Танец с двумя родными старушками, вечно молодыми, был апофеозом всему неописуемому, что произошло в будущий год. Никого из друзей, которые раньше бежали сами вперед своих ног, не было и в помине. Когда тетя уехала, мы всю ночь просидели с матерью одни, а когда она заснула, я до 6 утра по старой памяти, горюя и тоскуя, читал и наткнулся на живой журнал Билобоки. Он стал моим единственным утешением в самый черный январь из других январей. Наутро я написал стихи о том, что люди прощаются навсегда, разнимая объятия, и просил о падении большой квадратной черной звезды-Кааба, по крайней мере, на наш дом, которая бы всех раздавила, а уж я как-то околею на улице. Я прибавил эпиграф из Зельченко, заменив форму «Господь небесный» на старообрядческую «Исус». Я кощунствовал, прося господа сохранить хотя бы посмертное платье Елены Гуро, ее плащаницу, если никак нельзя вернуть ее саму.

На весь январь месяц у меня сломался режим. Я ложился в 6 утра и просыпался в 3 дня. Деньги за перевод связи для атомных станций поступили лишь в старый новый год, накануне которого родился мой старый товарищ Л. Единственное утешение в подступавшем к горлу со всех сторон горю и мраку была фотография Билобоки. Травля родней продолжалась.

Однако накануне дня рождения мамы — 12 февраля — а ей исполнилось 70 лет — я получил сразу два предложения по работе: футбольным новостником на мой любимый сайт, который я читал с того дня, как впервые увидел интернет, — правда, они платили по 2 тысячи рублей в месяц, а новости нужно было ставить по уговору с 3-х дня до 12-ти ночи. Второе предложение было следующим: мне предложили перевести еще 1000 страниц французского похоронного кодекса, который предыдущий работник не довел до ума. Я согласился сделать это за три месяца. Одной из первых футбольных новостей было сообщение о смерти сенегальца Ассанчика — как его любовно прозвали в Донецке. Позже мы много времени уделяли делу Уадду — об обезьяньих криках. Уадду, взбежав на трибуну, устроил разборки с болельщиком. Еще я написал о Яше Лекхето, любимце москвичей, взобравшегося как-то по водосточной трубе на крышу одного из клубных зданий — он умер от одной из болезней в своей пандемической стране. Я видел его в матче «Локомотив Рома», когда под нашей трибуной освистывали корчившегося от боли на газоне Батистуту.

19 февраля около 8-ми вечера Вольт сообщил мне о смерти Егора. Я позвонил сестре и Александру Федоровичу — последний сперва подумал, что умер мой одноименный племянник. Два дня я не знал куда «подклонить голову», порываясь на похороны в Омск, куда в результате поехали Юфа, Злава и Коршевер из «Раздетой», но они не взяли меня. 21 числа я написал текст его памяти — в котором призвал восставших камерунцев бить в кость насмерть и родить детей, которые смогли бы вынуть саму яму из земли и закопать во Христе смерть. В день похорон я спустился в магазин, купил за 40 рублей стакан водки «Граненыч» и помянул его двумя стопками. Олёша написал мне смс — «пусть мертвые хоронят своих мертвецов, а мы помянем». Мой кровник и друг Мишган видел Егора на площади Ленина в день его последнего концерта в нске.

Я забыл рассказать о том, что мой старший товарищ и друг Л. имел созерцательное видение примерно за месяц до этого, в тот день, когда был теракт в Пакистане — убийство Бхутто. Это напомнило нам в разговоре смерть Масуда 9-го сентября 01. Мы ждали продолжения. В тот день мой старший товарищ Л. рассматривал всю ночь звездное небо, углядев в нем череп барышни смерти — веселую рожицу и звездный маятник-косу. 4 часа он остолбенело глядел туда, качаясь на стуле, — после он долго глумился надо мной, что я опять покатался-повалялся на очередной его телеге. Он назвал Егора последним человеком, последним словом своей жизни. Я не простил ему этого.

Март и разломившую землю весну я провел в переводе футбольных новостей, на мертвецкий кодекс почти не хватало сил. Одновременно Вольт стал писать мне о том, как хорошо было бы, чтобы нск присоединился к фестивальному движению. Я написал все релизы, заказал бесплатно афиши Женечеку, которая не так давно до этого переехала в один дом с моей сестрой Наташей, который я всегда путано искал, а сестра Наташа, о ней речь чуть ниже, договорилась с человеком из «Афиши», которого она знала по работе у Лондона. Владельцы площадок встретили меня встревоженно и почти в штыки — мовэз репютасьон.

Утром я не мог проснуться, когда планировал мертвецкий перевод, тогда как новости сильно меня оживляли до ночи. Я, как и весь год, о котором идет речь, прокручивал в голове песни Летова, которые одни до этого спасали меня. И я задумал нский фестиваль как прямое действие, выстрел в ответ на событие.

Женечек помог мне договориться с клубом «Труда́», директор которого, по ее словам, меня боялся, а Лена Ч. помогла с клубом «Нигде и Никогда», и я был связан клятвенными обязательствами с ними. В мой день рождения ко мне в гости пришел лишь Антон-Капитан, хотя раньше иногда собирались толпы, и никого не надо было затаскивать силой. Мы говорили с Антоном как двое военных, и он был похож на моего деда-майора-сапера. Он назвал все, что здесь сказано, тяжелым бредом и сказал, что моя теория жизни — фуфел. Также в тот день мы встретились с Даней Матеевым и отцом ТДС нска. Даня подарил мне 500 рублей для проведения выступлений. Мишас, отец ТДС, помог деньгами, а до этого в новогоднюю ночь он одиноко проскакал на коне по ночному нску, о чем я не преминул вострубить. Вообще же в этот год каждую ночь около 2-х часов под окнами моего дома раздавался конский топ и храп. Саша Большой, о котором речь ниже, муж моей сестры Наташи, дал мне «не хватит 1300» в последний день перед фестом, который прошел 17—19 апреля. Злава распечатал афиши, которые почти некому было расклеивать.

Договариваясь со всеми клубами, я выступал как скромный проситель, хотя в душе был, конечно, разбойником. Про себя я твердо знал, что, если сорву выступления, то встану под пистолет, то есть покончу с собой, и это решение несколько подкрепило меня.

Олежек, который обещал мне помочь встретить людей, этого не сделал, так что я вынужден был встречать и развозить товарищей по трем точкам города, две из которых, правда, я догадался поставить на расстоянии 300 метров друг от друга. Единственное, что сделал Олежек, это переписал мой будоражный текст в 1.5 страницы, который лучше было оставить как есть, не выполняя рерайт. А когда-то я устраивал его на ночлег в Москве, когда он весело сообщил нам, что ведет репортаж прямо из квартиры Всеволода Николаевича, и что ему негде ночевать. Всеволод Николаевич был другом ЮНЧ.

Сжав зубы и собрав себя воедино, я начал. 17-го апреля выпал снег и ударил мороз 20 градусов — я попытался предупредить об этом друзей, но они несколько легкомысленно не поверили мне, и в этом была и моя вина. Я встретил семерых в аэропорту, от которого ходит автобус прямо к вокзальной гостинице, где поселились двое. Л.К. знал город и уехал к другу Сергсам, который, кстати, организовал нам телевидение. В ответ на мой первый ничтожный вопрос Д.К. сказал: «а нам пое-

бать». Эту фразу в его исполнении, как я вспомнил потом, я уже слышал во сне. В гостинице, откуда сбрасывались некогда знакомые и в которой останавливалась Цесарка, Д.К. и Андрей поселились на 12-м этаже. В каждом из их номеров было почему-то по две кровати. Все было оплачено безналом, и это был один из первых подобных опытов. Трое других остановились в квартире, которую они сняли на свои деньги, вернув мне, — поблизости, в 300 метрах. Надо сказать, что летели они в ночь. Николая я отвел к себе. Моя мама впервые с 98 года пошла мне навстречу, освободив нам квартиру. Кажется, она понимала важность моей просьбы, до этого она уезжала лишь однажды, когда ко мне приезжал Янус, в 1998 году.

После пресс-конференции мы совершили переход по заснеженной Советской, который показался мне бесконечно долгим. Во время выступления в «Трудé» Андрей прочитал стихи про два ведра водки. Это отвечало положению дел. Отец ТДС, затесавшийся на вечер, оказавшийся там в день выступа, назвал его матерщинником. Конечно, лучше быть вежливым обломом или, наконец, вежливым Лосем. Или тетушкиным пиздецом, как иногда называют меня.

Мы выступали в клубах, которые хотели быть в моде современных движений песни, музыки и танца, где посетители обжираются и вкушают сладкую музыку.

Планируя мероприятия, я думал, что мои друзья выберут второй день для прогулки в Академе и выступят спокойно и с достоинством. При этом я осознавал, что под халатом фестиваля проходит важная прямая операция, ответ озлобленной смерти — ответ за Егора и за всех. Люди, которых я позвал, приехавшие и бросившие все, читали стихи перед зажиревшими буржуа и молодежью, у которой не было денег, чтобы войти, и которую сначала не пускали, несмотря на декларированный свободный вход. На сцене в «Труде» есть табличка «стой напряжение» — а о степени угрозы и тревоги, царившей вокруг, говорят фотографии. Клуб «Нигде и Никогда» был выбран еще потому, что его своими руками сделал второй зилот нашего старшего товарища Л. Он немало за свою жизнь разгрузил вагонов, работая как каторжник, построив с сотню квартир, и только в последнюю очередь сделав свою. Однако некоторые говорили мне открытым текстом, что срать на этом поле — славно валится! — не сядут. Старшего товарища Л. представляла его жена, спасшая ему жизнь, она пришла посмотреть на все это. Она очень красиво поет и помогла многим детям.

В зале «Труды́» было 50 человек, некоторые из которых перестали ржать и жрать, лишь когда прослышали, о чем идет речь. Нежный серийный маньяк, как назвали в отзыве журналистки Колю, сказал, что раньше за то, что он делает, детям давали молоко.

Тетя сказала мне, увидев Колю: сразу видно — это человек, а не то, что — плюнуть и растереть, — после белой горячки человечность утрачивается навсегда. Приехавшие друзья не спали две ночи, не ели два дня. Андрей погрузился в страшный кумар. Он упал на сцене в «Нигде и Никогда», но довольно ловко подскочил и продолжил чтение, ничего не видя вокруг. Мы ловили его на улице ночью, когда он прятался от ментов — бог не выдаст — свинья не съест — за ларьком у книжного магазина.

Сама квартира, где поселилась часть десанта, напомнила больничный коридор, несмотря на «элитность». Домофон, как оказалось, не работал, потому Вольт, открывая дверь, десять раз сбе́гал по лестнице. Николай разыграл ритуальный театр. В течение двух часов общего разговора он двадцать раз повторял Андрею мантру: «ты идиот»! И затем: «я люблю тебя, дай я тебя поцелую». Я сидел на взводе, терпел и наблюдал. В ответ Николаю Андрей прочитал стихи об Астарте. Выходы Андрея на мороз и попытка съездить на Обь и получить там пизды закончились потерей шарфа Николая. Дина впервые за долгие годы спела в тот вечер «в шарфе во шарфе». Люди потом говорили мне слова благодарности за ее появление. В довершение ночной беседы в Динин день Рождения — я единственный подарил ей подарок, томик Хлебникова 40-года, доставшийся мне в Иркутске 8 лет назад, — одна сцена в исполнении Д. и Андрея живо напомнила, все это ведь живые картины, читатель, картину «возвращение Блудного сына». В шесть утра по морозным улицам я пришел домой, еще не занялось. До этого на такси мы доехали с Андреем те триста метров до гостиницы, собрав наши последние деньги. У меня, правда, был проездной.

Наутро я провел эфир на радио «Злово», который организовал мой друг Лексей. Л.К. и Д.К. выговаривали все, что они обычно говорят, а я представил их. После эфира на 10-м этаже здания совета депутатов Д.К. сказал мне: «исполать тебе, детинушка», и сам похож был на молодую Ягу.

В два часа друзи, забытые в квартире у вокзала, стали пробуждаться — ночью к ним ворвалась какая-то тетка из дома, которая требовала заплатить за электричество. Николай уве-

щевал ее. Он, высокий, уместился на краешке, на бочку диван-кровати, ах пропадай, где спала электрическая Дина. Накануне мне позвонил Сокол, который поздравил ее, а меня спросил: ты счастлив? Я ответил ему — я не чувствую ничего. Он говорил очень остойчиво, хотя сказал, что мертвецки пьян.

Они просыпались два часа, и Вольт вдруг включил телеканал «Культура». Как раз в этот момент шла передача — запись выступления Райт-Ковалевой, которая читала «в пугачевском тулупчике», воспроизводя интонации Велимира. Я знал эту запись по аудио. Рассказ «будет утро, встанет солнце, пройдем по болоту, сварим суп, будет суп из болота, будет суп из микроорганизмов» не показали, а он следовал непосредственно после тулупчика.

В итоге мы на два часа опоздали на вечер в «Нигде и Никогда», из-за пробки. Прогулка по городку с горящими от мороза лбами — Акадэму, где жил когда-то дедушка Дины, настоящий академик — не получилась для отдыха. Никто из моих друзей, кроме Вадима, человека, которого в службе авиабилетов однажды приняли за 80-летнего, такой у него был голос, моего друга детства, не пришел, хотя ходьбы было 15 минут. Дина позже в разговоре объяснила мне, что значит Скво на индейском. Перед ржущими блядьми, которые мне по нраву, по словам Д.К., выступал Андрей, который читал стихи о нежности Хиросимы. Я в этот момент действовал по наитию, но не успел убрать вторую табуретку перед ним, и он упал на сцене, но тут же быстро вскочил на ноги, — это важно бывает быстро вскочить, чтобы не забили ногами. Выстраданные невыносимой болью детские стихи Дины прозвучали так тихо, что она умолкла, так что никто не заметил. Нас уже гнали со сцены. Когда отец ТДС нска потом подвозил меня на машине и я вернул ему часть долга, он спрашивал меня вкрадчиво: «Витя, кто это?» — и я отвечал: «она оплакивает всех умерших детей». Когда он спросил: «кто это?», указав на Щетникова, искаженного яростной гримасой, я ответил ему: «он строит огромные дома, в которых будут жить люди». Должна была выступать уже какая-то бабосная группа, и нас гнали со сцены, но я позволил себе прочитать стихотворение про яму, которую надо вынуть из земли. Про Андрея и Дину же люди, для которых все это делалось, написали, что это было большое, как растоптанная и поруганная душа.

Друзья вынесли. Романовский и Гаврила проводили Андрея в гостиницу и сидели с ним, пока он не захрапел. По дороге они

зашли в магазин, где Андрей заступился за воровку, укравшую продукты.

Вольт, Ушанка и Дина — мы расстались на остановке Центр возле Болгарского дома. С Николаем мы поехали ко мне и решили уже не ложиться, до вылета самолета оставалось 6 часов.

Мы говорили о выставке Павла Филонова в СПБ, где убийственно точная аппаратура навела на глаза зрителя темной комнаты истребляющий взгляд его чертежей, но потом прицел сбился. Колюха из Камня на Оби видел эту выставку! Я пытался договориться с театром, чтобы они поставили спектакль «Жизнь Павла Филонова» по либретто Николая, музыке Раннева и с декорациями предземшара Африки. Но директор оперы не читал русрепа, ему по барабану были национальные еженедельники, где печатался Африка.

В свою очередь я рассказал Николаю о том, как стоял перед нечеловеческим пределом возле комнаты, где застрелился Маяковский (С.Б. сказал мне в ответ на это позже просто: «а я был там, пока музей еще не перестроили»). Также я рассказал Николаю о том, как меня обворовали в Москве двумя днями позже, и, опасаясь того, что меня в таком состоянии убьют, я бежал в одном ботинке по декабрьскому Арбату, изображая, видимо, ту самую душу умершего человека, о которой любил судачить мой старший товарищ Л., и которую он доказал на деле, два дня пробегав по Москве в женской дохе и побрившись эскалатором.

Николай добирался в нск двумя самолетами, преодолев страшную давку в четырех электричках, пока ехал из аэропорта в аэропорт. Артист погорелого театра, так бабушка называла дедушку Николая. Меня так же величала мама, которая добавляла: «найми себе служку»! Мы оба хорошо представляем, как выглядит этот артист.

Когда я рассказывал эпизод Николаю, меня охватил какой-то внутренний трепет и преображающий свет, от пят к голове и легким, словно мне в гортань легко вдули новый язык. Николай видел все это, и у меня есть справка от ветеринара!

Мы разъехались на двух черных автомобилях от моего подъезда, где он поцеловал меня. Он — прямо в аэропорт, а я — забирать Дину, Вольта и Ушанку. Когда я подъехал к их дому, я осознал диапазон Дининых частот, когда я предложил им пройти 20 метров пешком к остановке — я боялся, что у таксиста натикают много часов, не подумав, что машина ездит быстрее бегущего человека. Затем мы проехали указанные 300 метров до «польской» гостиницы напротив вокзала, и я поднялся

на 12-й этаж, чтобы разбудить Андрея, о котором сильно беспокоился. Меня не хотели пускать на входе, но все же пропустили. Андрей не отзывался на громкий стук, но сразу же откликнулся на тихое слово «Андрей». Примерно так же я назвал его по имени, когда он, мягкий, пластичный и гибкий, чуть было не подрался с охранником «Нигде и Никогда». Когда мы вышли, я услышал, как приотворяется дверь Д.К.

Я поцеловал Андрея и Дину в губы и дал свои последние деньги, кроме того, что (я оставил на пиво), а Андрей поцеловал мне руку. Шарф Николая трепетал у него на шее. Ребятам — Вольту и Ушанке, с которыми мы расстались, как братья, удалось продать в этом городе довольно много хороших книжек.

Я шел к «Кобре», бывшему клубу имени Сталина, пил пиво и смеялся. В этот момент я действительно и второй раз в жизни был счастлив. Полет в самолете, сказал мне Н.К., был для него, как короткая черная вспышка. В воскресенье была верба.

Увидев фотографии, которые остались с вечера, но не были опубликованы, господин Ява сказал: «они атакуют»! После этого я придумал формулу для этого дела, вместо прежней —«похоронить гражданским браком» — я говорил, что лучше «бесславно напасть смертью храбрых». Вторая формула звучала: «тем, кто не отличает послания от деяний, подарите свободу сидеть за столом».

Я ошибся с датами, как говорят — попутал, я думал, что Егор умер в первый день великого поста — из-за слова, в котором нет мяса, и черного понедельника. Поэтому, как настала Пасха, то есть примерно через неделю, я пришел в церковь, а мы играли в футбол возле церкви. И я увидел на алтаре икону, на которой лик Христа был точной копией лица Егора. Каюга мне потом рассказал и показал место на площади, где Летов прожил месяц без всего, и сказал, что его жизнь была imitatio Christi. Еще он сказал, что в московском метро хочется со всеми побрататься.

К тому моменту я почувствовал в себе довольно большую силу — семеро друзей поддержали меня. Я имел наглость перефразировать известные строки: «а после выпустили сон мы, мы раздавили властное ничто». Поэтому уже в Страстную пятницу, мою собаку звали Фóма, фомочка, фомка, и он помнил мою бабушку живой и искусывал ей руки…

В Страстную я усумнился в смерти Егора и позвонил ЮНЧ. Он сказал мне: «Егор Летов умер в день освобождения кресть-

ян, об этом будут помнить вечно». В страстную я пришел к Жене, про которую повторял про себя: «Женя, Женечка и Катюша», о двух других чуть позже. Я пришел к Жене и отчитал ее, потому что Андрей чуть не погиб, а также потому, почему никак нельзя дать человеку умереть, если он того хочет, и главное, почему нельзя предавать, даже из любви к искусству. В разговоре с Женей я вообразил себе, что Егор покончил с собой, выпив крысиного яда, и таким образом причислил себя к Игнатьеву и Маяковскому и спровоцировал цепную реакцию далеких событий и взрывов. Для подобных идей и легенд было лишь одно основание. На официальном сайте «ГРОБа» было написано, что Егор тихо умер во сне, тогда как данные медэкспертизы, опубликованные позже, говорили о мучительной смерти. Я ушел от Жени, не попрощавшись.

На Пасху, которая в том году совпала с годовщиной Чернобыля, я пошел к сестре Наташе, хотя меня и не звали. В этот день родились две мои племянницы-двойняшки, которые чуть не умерли при рождении, а также первая дочь Антона-Капитана. В тот же день праздновал день рождения Саша Большой, муж сестры. Девочки играли со своей подругой-заводилой Соней, а я беседовал с Александром. Я вовсю расхваливал организацию похоронной службы Французской республики и говорил, что нужно неукоснительно сделать это и у нас, чтобы всех истребить для воскресения. Он, выросший в Сухарке и Нахаловке, откуда людей потом переселяли целыми домами в новые кварталы и все всех знали (это был общий принцип для нашего города), он выступил за жизнь всех людей, сказав, что истреблять никого нельзя, и я с ним согласился.

Мы пили красное вино с его друзьями, и это было уже второй раз — о первой встрече в сестрин день рождения я забыл. Женечка, которая одна нарисовала мне бесплатно афиши и договорилась с «Трудóй», переехала в соседний подъезд с моей сестрой. Однажды моя сестра увидела у себя под дверью такого же лабрадора и звонила мне, но пес Женечки находился дома. Я видел уже друзей Саныча — на дне рождения сестры, которая родилась в один день с Эмилией Сергеевной, нашей соседкой по площадке. Ее муж Александр Олимпиевич работал в том же СНИИГИМСе, что и бабушка Филиппа.

Счастливый и уверенный во всеобщем скором воскресении, я впервые за долгое время спокойно вернулся домой и только утром узнал, что в пасхальный вечер чуть не зарезали Романовского.

Утром понедельника я купил микрофон на украденные из маминого кармана 90 рублей. В последующие три дня до первого мая я записал почти все свои тексты, довольно истошно вабя, озаглавив их как «Правдивая История». Само место и время назывались DA OPEN GROB KOMNATA, которая развивалась по стадиям сороковин, и другим, и измерялась в компьютерных метрах площади и временем 48 часов. В последующий месяц моя квартира была открыта для всех, но пришел только Димон, чтобы наладить микрофон, который я воткнул не в то гнездо. Накануне первого мая приехал Рец, которого я просил к 9 мая сделать фильм о нашей фракции и устроить закрытый показ. В эти же дни я построил иерархию, которую слово проходит от мысли до события и обратно, и отправил его Лили, но она этой структурой до сих пор не воспользовалась, так как не умела писать даже простые новостные сообщения, как выяснилось позже.

Слово бегает от мысли до события и обратно, и обратно из 7-ми или 8-ми ступеней. Рец сказал, что сделает фильм, в последнем кадре которого черная завеса штор экрана должна была упасть, открывая живое окно майского воздуха. Но ему нужно было время, хотя весь архив видео, аудио и проч. был собран у меня. В ночь на первое мая мы пошли на сатурналию в закрытый найт-клаб «НЕФТЬ», где я наблюдал нечто похожее на распад бесплотного символа, как написала в национальном еженедельнике Ю. В ту ночь какая-то девушка действительно плясала на крыше чужой белой «Тойоты». А я плясал танец с саблей-рукой, но мне сказали, что за соседним столиком следили за наркотрафикантами, и я ретировался, очень, очень быстро — за минуту, наверное, добежав до совпартшколы, где прыгнул в такси.

Мне того показалось мало, и второго мая я поехал к сестре отсканировать похоронный кодекс. Вместо сканирования, которое у меня не пошло из-за полной рассеянности внимания в пространстве и сосредоточенности в мыслях, я отсканировал только компьютерный код, который прилагался к файлу 1000-страничного кодекса и включил на мощнейших колонках составленную сборку Егора, махал руками. Люди шли по улице, не меняя шага, как ни в чем не бывало. Первая песня была «Песней красноармейца» с концерта, где Егор говорит: «сделайте голос микрофона погромче». Я сделал голос микрофона погромче. Через час непрерывного исполнения песен прибежала тетя — ей позвонила соседка тетя Эмма, муж которой умер

на дереве в тайге, и который увозил нас на уазике из этой квартиры в день смерти бабушки.

С этого дня меня стали колоть лошадиными дозами нейролептиков и снотворным, которые полтора месяца не могли меня свалить, я опять бегал по городу, пел, плясал и всячески отрывался. Вместо сна я лишь грезил, и по 5 часов в день переводил похоронный кодекс — понимание было мгновенным, но вот превращение понимания в слова, которое я хотел бы автоматизировать, давалось очень медленно, а печать по буквам на клавиатуре — еще медленнее.

7-го мая в день радио я пошел в парк, где состоялся концерт, посвященный инаугурации президента. До этого была Радуница, которую мы с тетей провели у монумента погибшим во время атомных катастроф и репрессий. За эти дни сестра полсуток сканировала мне этот кодекс. Я не оставлял футбольных новостей до дня, когда «Зенит» выиграл Кубок УЕФА — я дал специальный репортаж об этом из Барнаула. Я надеялся, что Ю. все же снизойдет до меня и приедет. Я проходил по городу с табличкой «ГДЕ и КОГДА?» на трех языках в тот момент, когда увидел, как падает с театра оперы и балета билборд под названием «СТИКС», его полотно. Каждые пять минут перед моими окнами проходили рыжие девушки, каждая из которых могла быть ею. В один из дней я встретил Щетникова и сказал ему, что теперь никто не помешает мне привести мой план «Аварийное воскресение» или «Вынужденное пришествие» в исполнение.

9-го мая я пошел на парад — все было забито людьми. В этот день моя мама и тетя вернулись с кладбища особенно молодыми и полными неизъяснимой красоты. Я прибежал дважды на площадь Ленина в рубашке «Фоли», которую потом подарил Желаку в больнице. Я сплясал на пустой площади танец черного царя под смех и улюлюканье. Возле ТЮЗа и стеклянного шара, куда я наведывался каждый день, забирая газету, сидела рыжая девушка — настоящая жар-птица, Тамара, или молодая Ю., такая, как десять лет назад. Он посмотрела на меня, но мне нужна была настоящая Ю., меня не устраивали копии. Я отвернулся и прошел через фонтан под общий веселый и беззаботный смех.

Уставший, вернувшись домой, я в первый раз позвонил Ю. Она не сняла трубку. Я ждал двадцать минут в ожидании и, желая выброситься из окна, из которого едва не выбросился зимой 94 года, впервые оскорбив мать. Ю. позвонила и назвала

мои слова и-сте-рои-дны-ми, на что я возразил, что 40 тысяч одинаковых красавиц обычно просто так не появляются в одном городе в один день. Еще через час она попросила меня не забрасывать ее письмами и сказала, что любит другого человека. Отмазка меня устроила. В этот вечер, 9-го мая, я сжег свой портрет «Мышкин», ее колонку «русрепа» и рукопись «стихи для спящего Пушкина» 1994 года. После этого я записал стихотворение Эдгара По «Улялюм», вставив некоторые слова. Мама впервые прочитала его до конца и назвала этот текст страшным богохульством. В заключении своего варианта текста — я читал по памяти — я добавил строки bonna pulcella fust Eulalia. Я послал запись Билобоке.

В день же инаугурации президента я также пришел пешком в центр города, на середине дороги возле дома Филиппа, и вспомнил, что уже проходил с теми же мыслями этой дорогой, влюбленный в Н.Л. В Первомайском сквере я поймал более глубокий флэшбэк, о том, что глубоко в детстве видел уже этот парк и взрослого дядьку, которым здесь и сейчас был я сам, и все трещинки, елочки и тряпочки этого парка. Когда я возвращался, полный счастья и сил, позвонила К. и страшным голосом сказала: «Виктор, Андрей»... Я думал, что Андрея, которого ждала неделя кумаров, просто не стало, и страшно вздрогнул, но оказалось, что он забыл в гостинице свою рабочую тетрадь — гроссбух.

Разговевшиеся горничные улыбались мне и встречали меня — они провели меня наверх без всяких препонов. Я забрал тетрадь, плавки и шнур для мобильника. На 12-м этаже в одной из комнат с открытой дверью загорали голые по пояс какие-то разбойники в синих наколках. Дальнейшее, конечно, можно восстановить, но в этом нет нужды, я работал, как мог, надиктовывая в микрофон тексты похоронного кодекса. Я впервые в жизни ничего не боялся, но только хотел все время разговаривать с Диной и Соколом и ждал, что они все-таки прилетят вместе — а Сокол пообещал приехать по железной дороге — вместе мы могли бы поехать в Хакасию, где в 90-е годы организовал пещерное христианство учитель сестры Паша.

Я сильно задолбал Дину звонками, но надеюсь, что она простила меня. В тот день, когда я встретил Щетникова, я проходил под мостом — шел состав, я загадал желание — чтобы все былое сбылось. Однажды в курилке НГАТОИБ во время концерта Цесарушки, который я проспал в зерцоге под двумя «тизерцинами» (я много видел сладких снов под этими зерцинами) и

двумя «бернами» в кресле, и когда мама бросилась прямо на сцену и музыканты провели ее внутрь, что вообще-то нельзя, за полчаса до этого в курилке встретились три Витька, каждый загадал желание — но тогда я загадал, чтобы концерт не сорвался и бог хранил Цесарушку. У отца ТДС в нске по возвращению из Омска — откуда они улетели — из почки пошел камень — там есть такая по дороге одна какая-то большая кочка. Я думал, желания выполняются мгновенно. В бумажной версии «аргументов» можно видеть мою фотографию на фоне певицы, с возведенными горе очами.

В один из дней мая отрубился интернет, и я ходил играть в волейбол, собирался в футбол с детьми, но они меня боялись. Не нашлось никого, кроме кладбищенских цыган. Там я помолился у кладбищенской, самой красивой в городе церкви — она открывается только в Троицу, я так подумал. В тот день я в первый раз не сделал футбольных новостей.

Почему «Женя, Женечка и Катюша» — в день смерти Слоника Нагасаки, который незадолго до этого залез на фонарный столб, после съемок одной из сцен в фильме Аристакисяна, я случайно окликнул Катю, которая была соседкой по дому моей тети. Ее подъезд, единственный в Академе, не закрывался. На остановке она была очень радостная и веселая, и мы поцеловались. Мы договорились встретиться вечером. В 5 часов я узнал, что Нагасаки умер. Это было 19-го мая, я успел смотаться в город и вернуться в Академ. Я хотел пойти в лесную церковь после разговора с Диной об этом (смерти Нагасаки), но дошел только до квартиры сестры, откуда дал одну ссылочку на «Переключая каналы». Только Мишган прочитал этот текст. Между тем Жаворонков (Нагасаки) и Сокол разработали некий генератор реальных событий, который всего лишь уточнял известную формулу о «небольшой погрешности». Вся эта описанная мной беготня была направлена на еще большее уточнение чисел, которые не успевали за образами, но все это всегда было всем известно и без нас. Некую числовую выкладку этому придал математик Перельман, но не автор «Живой математики». Так что нечего было кипешиться. Мы лишь равняли козыри «моховой и малой бронной».

За семь лет до этого я поссорился с Катей, после того как мы с друзьями три дня и три ночи набирали ее диплом на компьютере. В бешенстве выскочив из сестриной квартиры, я сказал ей, что она получит три. Она болела неделю после этого — но получила пятерку. Она никогда не простила меня. Я любил ее.

15-го февраля, в ее день рождения, после длинного вступления я хотел сказать ей простые слова, как в комнату вошел Янус, совершенно неожиданно пришедший в гости. Во мне все рухнуло. На следующий день после нашего разговора в описываемом году Катя сказала, что она, конечно, еще встретится со мной, но не хочет этого делать, не хочет видеть меня никогда. В этот день я понял, что такое судьба и за что такое наказание.

Всю ночь после мы с Деном и Вадиком ходили по ночному городку, а до этого я оттолкнул мою тетю примерно так же, как стерпел когда-то пощечину от нее — в сестриной квартире, — чем в этот раз до смерти напугал моего любимого племянника Егорку, который два месяца боялся меня, а так мы дружили. Мы немножко пошатались с Деном по городку, пока не пошел дождь. В ту ночь случился приступ у Вовкиного дедушки. Я думал, что что-то пострашней, — я надел что-то похожее на бушлат, взятый у Вадика, и спел известную песню, барабаня по клавишам. То, что мы вышли на улицу, означало «резать их сонных». Когда мы дошли до лесочка у ДУ, мы, не сговариваясь, с Деном спели про «траурный зайчик», так, что тряслись окна.

Алкоголь действовал на меня тревожно и просто так, что я терял ориентиры в пространстве, забывал все слова и готов был бросить кони. После концерта памяти Егора и того, что я шатался ночью по Кольцово и говорил с Лерой о страшных вещах, представляя каждое слово живой картиной — господин Ява видел это — это была наша первая встреча после общей ссоры в квартире в Щ ровно за год до этого. Лера стала бабушкой в тот год в 36 лет. А с концерта памяти Егора я убежал на измене, потому что не мог выносить уже его живого лица на кадрах кинохроники. В тот день была наша последняя встреча с Александром Федоровичем, когда я прочитал ему стихотворение про яму, и он понял меня. Не хочется вспоминать, как чуть не затравили его беременную жену наши преподаватели на дипломе, во имя науки, которой и меня научили.

В день победы «Зенита» барнаульские болельщики пели «Зенитушка, гори!». Я уехал в Барнаул на деньги Женечки, Рец в этот день оперировал нос, который ему сломали 9-го мая. Я действовал молниеносно, никого не предупредив. Колюха в ночь только вернулся из Греции. Я проблуждал ночь и полдня по городу и прочитал проповедь о любви христовой разодравшимся на проводах в армию людям — одну в ночь, а другую утром следующего дня. Я сказал им, что бить человека по лицу нельзя. На одном из углов меня чуть не прибили местные мо-

лодые ребята, которые бухали водку. Еще одна попытка насилия ко мне была предпринята утром пьяным, — но его унял друг, чей отец был главным строителем города и не знал моего дядю Колю, — который вылитый дедушка «музыка агрессия», и который построил полгорода своими руками. 9-го мая Рцу сломали нос неизвестно где, и он меня не встретил. Я потерял сандалии в Оби и продолжил разговаривать с людьми, радоваться жаркому солнцу и стрелять сигареты. Ребята, за которыми я увязался, утащили мой портфель, где был обратный билет и ключи от дома, которые сломались напополам в двери, когда я однажды бросился на улицу, увидев из окна проходившего на книжную ярмарку моего лучшего друга.

Молодые люди, среди которых был организатор мартовского теракта в нске, когда на Красном проспекте неизвестные били прохожих в девять вечера, поняли, что кроме ненависти есть еще и что-то посильнее, такой «красный цветок». В результате за мной приехала тетя, в который раз. Она была очень недовольна Рцом, который паясничал перед ней по мобильному. Мы уехали на маршрутке — где я разговорился с двумя турецкими эфебами. Один из мужиков, который околачивался на вокзале, после того как я попросил у него вторую бийскую беломорину, сказал — «я же не табачная фабрика» и очень осердился. В тот день сияло солнышко и было сорок градусов — что, по словам Сокола, обычно предотвращает угрозу обморожения.

На вокзал в Барнаул меня провожали Гаврила, Саша и Михаил, от которых я очень быстро убежал по единственному переходу между ветками в нске. Они сказали: «мы настигли тебя», и при этом было изрядное портретное сходство.

Я жил без денег, без еды и питья по большому счету, без сна этот месяц и представлял себе, что вновь очутился в свободной стране. В ночь музеев я быстро убежал от 70-летней матери, поссорившись с ней, а бегаю я быстро, но она догнала меня, и ее лицо сверкало, как разрубленная молнией икона. Но я убежал от нее снова, и на второй рывок ее не хватило. В тот день я хотел уехать во Владивосток и имел беседу с начальником поезда, который ответил мне, что без билетов и документов никак нельзя. Он был в бурке. Я рапортовал ему.

В утро одного из тех дней у меня страшно разболелся зуб, который нарывал неделю. Врач ставил мне укольчики, желая заработать денег на платном лечении, — все они вертятся, как белки в колесе, добывая средства на жизнь. Последние деньги матери я потратил на то, чтобы у медсестер, которые зуб все-

таки вырвали, но, кажется, еще через два дня, чтоб у медсестер был шоколад ко дню медика. После вырванного зуба я совершил хадж к старой гарнизонной мечети во дворе площади кондратюка, от зубной поликлиники.

Каждый день я ловил до 100 флэшбэков, смеялся и плакал. В «Ночь музеев» нам с мамой не удалось посетить музей дома офицеров, он не участвовал в акции. Потом мы попытались вломиться в военный трибунал, откуда во сне моего старшего товарища Л. вышел красивый 73-летний Маяковский, но нас выставили оттуда, зато я забрал у спящего бомжа китайские часы.

В один из дней я в шлепках, купленных в Барнауле, прибежал к Антону-Капитану, где сильно напугал их подругу, дети же мне обрадовались. Я сбежал с чемоданами с 6-го этажа, примерно так же, как когда-то по лестницам этого дома, а также щаковской поликлиники, гонялись друг за другом Каюга и Зося, но проводил подругу на вокзал, и она оставила мне свой имейл.

Футбольный сайт отказался от моих услуг. Я добился отсрочки с похоронным кодексом. Переговоры потом завершила тетя. Последний текст, который я перевел, касался воинских кладбищ. Я думал, что, лишь как только я набиваю буквы, как кладбища оживают и встают. Я рассказал Саше Катраню, ветерану первой чеченской, чудом уцелевшему в ней, о том, что умер Егор. Он не знал об этом. Из-за Егора мы когда-то перестали с ним разговаривать, когда я не мог выносить его, Сашиных, и Егоровых слов, песню «праздники войны».

ЮНЧ назначил мне встречу в один из этих дней, я рассказал ему вкратце, что делала все эти годы наша фракция, он выслушал меня и рассказал о некоторых математических выкладках академии, которые совпали со смертью в реке филолога М. Во время первого разговора он читал мои мысли, а я угадывал его слова. В завершении этого разговора он сказал: «теперь здесь лучше, чем наверху», и взмахнул рукой.

Я хотел организовать римейк спектакля «Победа над солнцем» и таки оперу «Жизнь Филонова», о которой говорил выше, и общую встречу нашего неубывшего полку, на лужайке, как во время свадьбы Митяса, на которой я не присутствовал, из-за того что был отлучен от игры в «доппелькопф» и от их компании, где были одни свадьбы и свиньи.

Кажется, на следующий день после Духова дня или вскоре после 1-го июня, который я провел в ночном клубе с Евгенией,

заработавшей на это 400 рублей, и после чего я шарашился по Лаврентьева до тети, разбудивший ее среди ночи после ночного дежурства, невменяемый...

Поскольку я был совершенно неуправляем и мог умереть в любой момент от нагрузок и веселых покойницких песен своих, я согласился лечь в больницу — она стояла возле храма и монастыря Христа с девичьим лицом — а до этого я посетил с проверкой храм «Александра Зверского», по выражению моего одноклассника Руси Брындина, друга Селяна, которого я иногда встречаю — в храме я увидел иконы младенцев, шествующих в огненных скафандрах, я щелкнул каблуком, потому что в тот день по всему городу объявили повышенную тревогу, так как в Москве ликвидировали крупный теракт и шла какая-то операция.

В тот день я купил беломор и рижское и ждал встречи со своим дедом, пока вдруг не понял, что «я за него», и увидел бабушку в своей сестре и тетке. В Москве в то время жгли автомобили — как у нас переворачивали когда-то, в один из июльских дней. В Новосибирске тоже сожгли вуатюрку, но это, я знаю, был фейк, правда, об этом мы дали сообщение в новостях. Накануне сдачи в больницу во второй раз, после врачебного отпуска, во время которого состоялась партия в шахматы с ЮНЧ, куда я позволил себе опоздать на час, выпивая девятку и вспоминая, что при Ельцине мусорные баки цвели и воняли лучше, чем сейчас. Во время партии «что я, где я» я пожертвовал ему все фигуры и ждал, что он «срубит черного короля». Потом мы с Каюгой спустились во двор старого города и встретили Антона-Капитана и его жену Наташу. Андрей распустил волосы, и я ужаснулся его виду, он сказал мне, что библия — это все поповские побасенки, а сам был как перс-Христофор. Разговор с Махди удался.

Когда мы встретились с Ольгой, матерью погибшей девочки, на Грибоедова 1 дробь два, куда когда-то ветер занес Суховей и Элен, — она потом встретила Каюгу на выходе из электрички, на которой мы вместе с Элен добирались, а Щетников, провожавший нас, указав на фонарь на гостинице, сказал, что это посильнее «фотонного радио», которое я разработал.

Ольга вскрикнула — «это Гатина?», — увидев мой плакатик, на котором была напечатана страница моей диссертации с разбором иконы человека по имени Николай. Как сказал Сокол — в мавзолее должен лежать Грибоедов! Андрей попытался пожать плечами, но материнское чувство не обманешь.

В больнице меня свалили лекарствами и немножко привели в порядок. Я нашел себе занятие — работал писарем — большинство пациентов не знали грамоты и на воле убивали людей в Чечне и Афгане, — сочинил 85 стихотворных посланий к моим друзьям, под названием «моя гражданочка», она же божья коровка, с помощью этого шифра я записал эту повесть.

Еще одна встреча произошла без нас и давно. Моя и Пашина бабушка жили в соседних квартирах в доме под часами на Коммунистической, где двери всегда были открыты для коллонтайского быта. Мы выяснили это с Пабло много позже. Когда я должен был пойти в школу в первый класс, мама попала под троллейбус и ходила на костылях. Однажды автобус волок меня по земле, зажав дверью, после чего я встретил Каюгу и нас чуть не убило молнией. Павел встретил своего отца, скачущего верхом после 140-километрового прохода от Аргута. Их встреча случилась на перевале Кара-Тюрек под Белухой.

Как-то раз мы с Пожарником пошли в костел, где встретили сумасшедшего христианина Алексея Черника, который живет на пенсии. Он был очень важен и сказал нам, что жена его научного руководителя, а речь о ЮНЧ, простая их прихожанка. С какой-то точки зрения он был прав. Через год на голову Эллалалала упала полка, которая чуть не рассекла надвое ее лицо. Она называла меня Алешей, полушутя-полунарочито. Пожарник так и не уехал в Польшу — а это была цель нашего прихода в костел — мы только поговорили с монахиней, которая была сделана уже не из мяса, и взгляд которой мог бы убивать на месте, но темнел как два конских глазных яблока. Она спросила: вы поляки? Я ответил, что понимаю ее, но не могу говорить.

Меня выписали накануне нского полного солнечного затмения первого августа — я хотел встретить его у себя на кухне, как тогда, когда мы впервые увидели с бабушкой Маней, как комната сделалась черной, как стакан чаю, и когда она была со мною живой, а не памятью. Но мы уехали за полярный круг и не видели того затмения, лишь блик золотистого с виду каучукового мячика.

20—28, 30 октября 2010, Берлин

Памятный календарик

Брат Элен родился со мной в один день, 11 апреля.
Элен и Михаил родились в один день — 7 ноября.
Мой лучший друг родился в один день с моей сестрой и Андреем — 8 января.
Димон и мамина сестра родились в один день — 27 июня.
Романовский родился в один день с моей мамой — 12 февраля.
Янус и Женечек родились в день рождения Моцарта — 27 января.
Зося и Н. Л. родились в один день, одна в полночь, а другая в полдень в Астрахани — 23 ноября.
Пожарник родился в один день с Диной — 17 апреля.
Филипп родился в день рождения Маяковского, 19 июля.
Пабло родился в один день с Хвостом, 14 ноября.
Коля и Лада родились в день смерти Маяковского — 14 апреля.
Вова Влакх родился в день смерти Ильи, 9 августа.
Каюга родился в день смерти Елены Шварц, 12 марта.
Мой дядя родился в день смерти трех моих дедов, 6 января.
Наташа родилась в день рождения Рембо, 20 октября, а Ольга — 9 ноября в день рождения Велимира Хлебникова.

но все это, кроме последнего, в разные годы

Шаровая молния,
или
Квадратная звезда

Поэма

Виселому парню Игоряхе

Потайная комнатка

Золотая краска, золотая краска, надписи подновлены ей: амфитеатр, первый, второй и третий ярус. А в хрустальной комнатке музей. Там знамена с бахромой и в ящичках под стеклами со всего света собраны кораблики, чайные коробки раскрашенные, а на них картинки, а на картинках индианки, восьмиглазые, вишневые, и божки китайские, лодочки малайские, кожаная бумага с выжженными буквами, и морские кортики, подарки музею. А в хрустальной комнате потайная комнатка, а в ней дяденька, музейный хранитель.

Выбегает мальчик на корму ямы оркестровой, где музыканты спрятались, и выносит палочку, что ему хранитель дал. И Хачатурян берет палочку, взмахивает палочкой, красный занавес греется от прожекторов и взлетает ввысь. А вторая яма уже в партере, и над ней люстра огромная висит друзою, кристаллом, пирамидами, и голова закружится и шея заболит. А в нишах красных греческие боги мраморные высоко стоят, но нераскрашенные. Убежит мальчик обратно в потайную комнатку, и расскажет хранитель-дяденька про Харьков, 19-й год. В Харькове поспели, расцвели вишни, и ходит по Харькову, завернутый тряпицею, высокий длинноносый юноша-дедушка, он на крыше соломенной ночью спит. А дяденька-хранитель теперь старенький, но его никак не может позабыть.

Вот веду я мальчика, сам уже дяденька, мимо зеркала с огромной шишкою кривой, он боится в туалет. Этот мальчик на уроке стукнул другого мальчика, и его все ненавидят, говорят, что он психованный, и ему десять лет. А потом вдруг видим, что нету больше занавеса, и огромное колесо машины крутит в глубине за сценой театра Корабля, колесо огромное, и шестерни его всё приводят в движение, даже маленьких танцовщиц. А потом рабочие залезут на стропила и начнут друг с другом говорить. А один из них прямо балансирует, очень нервный и издерганный, он чифирист.

А потом ворота тайные открываются, и въезжает прямо на сцену черный Мерседес. Из него выходит певица с голосом жалостным, так что виллисы плачут, ее кругом обступив. А за сорок

метров от сцены, куда везут ее на коляске, там роскошными яствами стол для нее накрыт. И какой-то дяденька, что за нее расписался по пожарной безопасности, в рубашке красной индийской и неделю небритый, как убитый, в кресле коридорном спит. Снится ему мальчик, забытый в амфитеатре, когда свет погашен люстры огромной бессонной, шепчутся белые и движутся статуи, мальчик плачет и маму зовет. Видно, до утра будет ему страшно, видно, до утра его никто не найдет.

Другие 48 часов

В восемь утра прохожу по морозным темным улицам, хочу занять денег. Всю ночь по городу ездил и у всех назанимал, чуть-чуть не хватает. Квартиру вижу то ли на втором, то ли на третьем этаже — темный кирпич, а днем он оранжевый, и окно без шторы, и окно это горит. Уже светает, а окно горит уже весь день, и по нему видно, что и всю ночь оно горело. Звоню в звонок тихо, но никто не открывает, или вовсе не работает он. Стучу костяшкой в дверь, потом кулаком барабаню, потом бью пятой. Дверь распахивается плавно и стукает о синюю стену, а толкнувшая ее рука отлетает, где квартиры глубина. Он стоит в майке, на которой болтается длинная шея, а на ней раскачивается и летает голова. Вхожу в светлый куб комнаты, на полу разорванная книга, а на лице его надломленная коврига, перепонки губ и век сухие, кровь запеклась, но вытерта и смыта с лица.

Женщина ушла позавчера, с кем-то гуляла, и жирное красное мясо варила в большом тазу, как в чуме своем. Он прикуривает между тем Приму от накаленной спиральки, тухнет сигарета, бросает на пол и тянется за второй. Мысли между тем мои бегут довольно быстро, я по городу бегал, как куриный волк-игрушка, собирал очки. Отбираю сигареты, отбираю спички, отбираю зажигалки, отбираю коробки, а он говорит: зачем пришел. Выхожу на балкон и вижу незамеченные прежде разбомбленные тыквы на мостовой, и представляю себе старух в белых балахонах, в которых он их швырял, смотрю, нет ли мертвой старухи, и мысль приходит об автопробеге через Кубань, когда жители кидали арбузы и дыни в автомобили, что вызвало много аварий.

Между тем он не приходит в себя, а я вижу на балконе маленьком следы пожара и разлитую замерзшую воду, а я спал, говорит он, а они с лестницы тушили огонь. Тут он повторяет, зачем пришел ты, и заваривает на плитке со спиралькой чай густой. Я говорю, взять взаймы денег, он расставляет руки, хочет вприсядку, падает на пол и говорит, возьми тысячу, две тысячи, возьми десять тысяч, только сам найди, я не помню где.

Надо идти мне, не могу сидеть с ним, на вокзал надо ломиться и бежать. Поезд у меня отходит, поезд в Питер, я вчера решил туда поехать, было часов пять. Говорю, закройтесь, затворите двери, и вот уже на улице слышу: закрою потом. Уже перед своим подъездом замираю от мысли, как бы он в таком виде не замерз, из дому не ушел. Мама еще дома, увидела мои разбросанные вещи, зеленый рюкзак и разворошенные носки. Она говорит, что ты никуда не поедешь, и вот полчаса крики, и вот бегу в аптеку, мама «слегла», и не лжет почти.

Десять часов, включаю телевизор, сам думаю, что в его квартире ребенок, а в другой комнате охранник, а в третьей подпольный публичный дом. Включаю новый цветной телевизор, там прямая трансляция, показывают горящий ЦУМ.

Рельсовая шесть

Утром дымные дорожки гаревые, потому что пахнет сажей, гарью и дымом, топят трубы возле школы маленьких изб. Показался месяц белый из-за тучи синей, вот уже три или четыре звездочки зажглись. Возле дома котлован разрыли, это метрострой, и в строителей мы с братом кидаем засохшие пряники и яблоки, и кубики, он научил. Но сегодня мимо здания КГБ через железную дорогу мама на трамвай не побежит. А трамвай едет мимо рынка, мимо парка, мимо стадиона и бассейна Спартак, едет трамвай по кольцу мимо театра, мимо швейной фабрики и пересекает Восход. Там находится синий, белый и с одинокой башенкой, мамин там находится радиозавод.

Но сегодня мама на работу не едет, потому что в поликлинику меня она ведет. Вчера читал я к школе книжку, октябрь-месяц, лампочка горела, в свитере, холодно еще. А сегодня заболел я, все перед глазами плывет. Мы идем в больницу мимо башен Народ и Партия, а Едины остается в стороне, там Праздничный

зал. Мы идем, проходим по лестнице мимо почти отвесной горки-клумбы, там, где ресторан Садко и Океан. Мы идем в Поликлинику, а затем на Горбольницу, Рельсовая шесть и Дуси Ковальчук. В узких коридорах желтые картинки, окошко для новорожденных, там написано про Рахит. В школе тоже врач есть, Тамара Сергеевна, а у Ромы большое красное манту. Я уже не помню, голова закружилась, в жилах свинец, олово, потолок перевернулся, и я в него нырну.

Просто не надо было в марте снимать и дышать в шапку, давно, а так солнце греет и воздух синий холодит. Автобус везет нас везет к нашим шефам, Львів на нем написано, и сильно тошнит. Там в плавильном цехе огромные печи, темно и через трубу надувают стекло, выдувают огненное стекло гигантские человеки и глотают, глотают огненную змею. Шапку забываешь, черную бурую медвежью шапку, забываешь сменную обувь, до дома двадцать шесть секунд. А потом ударит мороз сорок градусов, темно, и как я за шапкою пойду.

Бабушка встречает на крыльце, которое я бы назвал теперь портиком, в зеленом пальто, сером пуховом платке, охранит от дядек, которые к нам могут прийти. Я ее назвал бы, назвал бы слоненком, но она не различает цвета почти. Бабушка потом к маминой сестре переедет, и в клетчатом пальто и в шапке крупной вязки, что я еще до сих пор ношу, выйдет из автобуса номер восемь или девять, бабушка, как я тебя люблю.

Но теперь вот март, и атропин накапали, расплывается в глазу мелкая бисерная крупа. Возле школы квадратные лужи мы выкапываем, и сосульки плакают, и от мороза красная рука. Я почти поправился, но буквы оранжевые, на пятой пластинке «на концертах Владимира Высоцкого», кто сказал, что все это сгорело дотла?

В цеху

Пальцы намозолили, серыми они стали и болят от трансформаторных пластинок, которые собирал. В цеху одни женщины в синих халатах, как уборщицы, как в работных домах. Я один среди них, а они все чьи-то, наверное, матери, нет, не матери, а женщины, тетки или даже бабы, и они оглушительно друг друга матерят.

Вова тоже работал на этом заводе, но только в другом цехе, и возле дома его дребезжит, колотит все стекло трамвай. Летом он работает, а весь год ходит в школу, там кислородные баллоны в туалете стоят. Вот они бросили спичку, потом бабахнуло, они добежали до реки, и брови у его друга тлеют, как папироска, горят.

А потом он курит и в трамвай садится этот старый бордовый, с желтым верхом и мордой насупленной, где желтые глаза. Вот садится он в двенадцать, в пять возвращается, а где был, не помнит, интересно, что ничего не потерял. Бросил школу он после восьмого класса, а потом его государь в армию забрал. В армии была у него страшная драка, с верзилой, потому что тот был череп, а этот дух. Но шепнул ему перед дракой маленький китаец, ты дерись, а я потом тебе помогу. Вот он выплевывает окровавленные зубы, но смертно бьется, и сознанье потерял. Над ним склоняется друг-китаец, говорит: очнись, я его прибрал.

Вова там начал учиться играть на гитаре, когда его послали на далекую станцию в лес. Там он жил один, и не было никого, кроме радио, а лес был синий, зеленый, перекрашенный весь. Он нашел там старые лохани-танки, которые остались после отступленья Колчака. У меня был револьвер огромный, квадратный, он рассказывал, величиной по локоть, но я его продал.
Вова белый джазмен, слух у него музыкальный, в мускулах его ритмическая кровь. И при этом человек он правильный, чистый и кристальный, масса Вова, да хранит его Христос. Он учил меня, да не выучил, потому что я оказался бездарный, но это от тремора и от болезней, не склеилось, не срослось.

Деньги

Алеша Попов находил часто деньги, зеленые три, синие пять, красные десять, а однажды нашел двадцать пять. Они уехали, оставили свою мебель в поселке Кирова, а нам сказали ее забрать. А меня перевели из трансформаторного цеха в ОКБ, где инженеры, там я графики чертил на бумаге для выкроек и складывал их в папку для бумаг. Смотрел я на датчик, кажется, собранного мной прежде трансформатора, и все записывал и в тетрадке отмечал.

Дома я часто слышал от мамы фамилии Порохов, Помин, Заглемба, Цукерко, а теперь оказалось, что они рядом где-то сидят, но я их не узнаю. На стене висели их портреты, а сбоку был кармашек пластмассовый этот, на котором было написано «темник узких мест».

Боря Столешников и его два сына были с нами в Сочи, белые майки носили они. Они были уже довольно большие, довольно высокие в те синие и светлые солнечные дни.

Наступил август-месяц, и мне заплатили деньги, красные с Лениным тридцать три рубля. Я хотел купить коллекцию английских пластинок, но мне не хватило, купил Антроп Тропилло, христианские приходы, все же не зря.

А потом деньги старые отменили, и с работы мама стала приходить вообще без денег, потому что им платили рычки. Это по фамилии директора завода, на которые там же можно было отоварить немного масла, немного хлеба, немного сахара, немного муки. Сигареты были у цыган с вокзала, а так мы собирали и нюхали бычки.

А потом, когда хозяйство перестало быть натуральным, как раз мы закончили этот год по истории в школе, с похоронной вестью каждый месяц люди умирали, Порохов, Помин, Заглемба и их жены.

А потом в школе ученики стали ходить в Хибару, танцевать на улице и петь: Фаина Фаина фай-на-на! Там в хибаре напустили они столько туману, что кемарили кумаром, а просыпались под крышкою из дерева «сосна».

Ночь бы простоять, день бы продержаться, долго ли, коротко, седьмой уже год. И друзья приходят и видят если маминого сотрудника, родственником зовут, кто остался живой. И теперь в заводе новая проходная, новый офисный директора кабинет. А цехам, в которых работает мать моя родная, семьдесят лет, и ведь это станки, и приборы, и детали обрабатывают токаря скелет.

Пищу мы едим или нас ест пища, курит нас табак и водка нас пьет. Инженер, и врач, и учительница никогда, никогда теперь не умрет.

Домашний театр

В Стоквартирном доме, победившем на выставке 1938 года в городе Париже, в сто первой квартире Евгения живет. В ванне окно метра три или четыре, выходит на построенный каретный двор. Женя поет в ванне, когда купается, или слушает, как птички поют и мяукает кот.

В коридор заходишь, за обитой кожей дверью кажется, что за каждой комнатой будет новый коридор и новая комната, но скоро понимаешь, что это обман. Женя рассказала про мужика страшного, черного и голого, который жевал во сне из тарелки лагман.

У нее нашел я книгу детскую Шинель Гоголя, с черными иллюстрациями, пропечатанными на пожелтевшей брошюры бумаге. А на кухне большой мы курим у встроенного мусоропровода, и в его желобе гулко стукает испорченная еда.

Там же на этой кухне, когда дети на каток новогодний едут, сидит ее отец, пьет водку в одного и читает Ночь перед Рождеством. И ведет свою с ним длиною в жизнь беседу, и в руках дымится красной Явы уголек.

Папа хозяйствует, варит суп, уху, борщ и рассольник с почками, которые я только в детстве глубоком у бабушки едал. На лестничной площадке сейф стоит с замочком, там собраны архивы закрытого теперь института, директором которого он тридцать лет назад стал.

Дочка играет на аккордеоне и поет песни про мировую войну. Она варит кофе на цинамоне, цианиде, кордиамине и кардамоне, а потом говорит: я при родителях не курю, но они знают, что я курю.

Дочка делает кукол по детской прямоугольной книжке для вырезок и показывает тени при свете лампы на стене. Там лету-

чая мышь пищит, в плащ укутываясь синий, квакает лягушка, лает собака и ходит мужик в зипуне.

По полгода Женя, воспитательница детсада, живет в городе Санкт-Петербурге, там живет ее любимый человек. Его зовут Жека, и в том вся моя досада, он осветитель цирковой и вообще электрик и храбрец.

Храбрость его в том состоит, что пьет он каждый день в рюмочных водку, и его знают все официантки в окрестных кафе. А потом он садится на стуле и рассказывает про чахотку, про сухотку, про зубную чечетку множество историй, и на каждую присловье, и так каждый день они прокручиваются в его голове.

И поет он голосом народного артиста Царева народную песню о друге, о далеком друге, что услышал когда-то в кино, встретились на вокзале два друга, где-то на юге, видимо, не виделись давно, долго обнимались, целовались, словно бы не стало одного.

И я рассказывал Жене об одном своем друге, который жил в доме пятиугольном, называемом в народе Пентагон, у его бабушки, бабушки, бабули три комнаты сходились здороваться в коридор. Там на стене закопченная фотография ее мужа, утопленного подосланными людьми в реке в сороковом. Там алтарь в шкапу, китайские тарелки и тончайшее на окнах кружево, старые книги и трофейное ружье размером с детскую руку, и порошок зубной.

Но только Женя мне не верит, не верит рассказам про друга, все она смеется надо мной.

И мне не передать страшного и веселого своего испуга, когда мы на набережную идем гулять в выходной.

Там на набережной мост, по которому я ходил и смотрел в мутную зеленоватую воду, на два километра тянется тот мост, в самую плохую и ветреную погоду Женя рассказала мне, что к ней пришел однажды гость.

В память об этой встрече она сделала его тряпичную куклу, пришила к ней пачку Примы и нарисовала очки. Мне показалась эта затея глупой, и я готов был поссориться с ней почти.

Но она рассказала, что человек этот однажды два дня бегал по Москве в женской дохе, сам не зная, что так он переодетый, а как будто бы голый, измазанный в меду и в муке, извареный в кипятке.

Что за мука, что за тоска и сердечная мука, ждать сутками, бояться, что обманывает тебя любовь твоя, а если не обманывает, тогда предстоять может вечная разлука, потому что, когда ты без памяти, можешь попасть под трамвай.

Голова Неру

Город новый, построенный заново, где казармы в военном городке, здание больницы, выставил новые, как волос, зеркальные небоскребы. Я прошел по мостику от здания Совнаркома, а товарищ мой ходит здесь и повторяет с фистулой, что-то стало мне все незнакомо.

Дай мне пропитание, пельмень, и открыли шавермочную, дай мне Приму и чай, прозываемый за черноту мыслей Змей. А потом мне бы выспаться, выспаться-высыпаться, до потолка подпрыгнуть, чтобы было веселей.

Я ведь знаю слово хорошее, правильное, правда моя вам колет глаза. И не дай мне никакого другого праздника, чтобы называть по имени тебя мудака, козла.

Ведь ты зеленый весь, а ходишь с девчонкой, я тебя застукал, и потом сон прошел. Ты работаешь и выдерживаешь страшные нагрузки, но мне-то похуй, что ты не спал в эту и в прошлую ночь и чуть из дому не ушел.

Потому что зовут меня виселый парень Игоряха, но я знаю про себя, что я тоже мудак и пидорас. Это знание мне очень помогает в правильной, праведной жизни, и поэтому после смерти я попаду обязательно в рай.

Возле парка стоит старая красная вечерняя школа, а рядом с ней больница номер один, это сталинский ампир с башенкой. А в больнице той лечат все, и катаракту, и глаукому, и оспу, и лишай, и коклюш, и больную голову, и живот.

В этой больнице исполосованные люди слепые, глухие, язвенные, едва живые. Их развозит автобус красный, собирает по городу по ночам. И потом в морге сваливает вместе с другими, которые никогда в жизни не обращались к врачам.

Солнечный день, и барышня, и новые стекляшки — это все иллюзия, майи и богородицы светлый покров. Слышу, как дудочка пастушья подзывает ко мне барашка, и у него звездочка шестиконечная между загнутых рогов.

Барашек мой, тебя я должен зарезать, чтобы потом друзей своих тобой накормить. У друзей моих вставные зубы золотые и современные протезы, отбросили костыли они, потому что смогли их купить, потому что научились ходить.

У друзей моих маленькие дети, у того два, у того три, у того пять, у того один. Этому дала, этого сосчитала у матушки смерти, этому голос перековала, но вот идет и тринадцатый господин.

Сабелькой махнет, скача на коне деревянном, как скачет по горящему Нью-Йорку Кинг-Конг-Жив, огромная обезьяна. А про нас говорят, что мы уже в Чикаго, и, как тысячеглазая стрекоза, как мертвая пчела, глядит детским взглядом, и кто чайной ваткой глаз этот промоет, утрет!

И я повторяю, я, забытый товарищами на ночь в двухметровой Голове Неру, в старом музее, улица Божедомка семь, что я понесу страшную ахинею, а пока ограничусь тем,

что говорила мне, гипнотизируя, цыганка, что пропью я жизнь свою до последнего ломаного алтына и гроша: душа человеческая по природе своей христианка, вот пуста моя банка, и нет ни булыжника в руке, ни даже голыша. Я стою и круги по воде считаю, и колокол бьет в набат дон дон дон. Я возьму тебя, христианка душа, растопчу, чтоб большая, и скажу так, как Игоря-

хин друг, санитар леса, черный риэлтор, умерший от подступивших к горлу блевот:

Серый заяц смотрит на волка, калачом со сметаной распарывает лисе мозга и живот,

Дети тайного засадного полка, сто сорок четыре тысячи детских заячьих рот,

ВПЕРЕД!

И программка к домашнему театру

Когда появился телевизор, стали говорить, что история шагнула прямо в наш дом. В книгах стали даже писать про волшебный телевизор. Чтобы он заработал, надо было говорить: пикапу-трикапу-кикапу, лорики-ёрики-морики, ящик, ящичек, будь добренький, покажи нам мертвую царевну о семи богатырях, покажи нам фею Элли в серебряных башмачках.

Но скоро, очень скоро наш дом, в который пришел телевизор, сам оденется, застегнется на все пуговицы и вежливо попасть захочет в гости к истории, правда, подозреваю, что может выбежать оттуда, сломя голову, голышом или в одном ботинке.

Я много раз в жизни небрежительно относился к театральным программкам, хотя многие мои знакомые, напротив, бережно хранили их в ящичках стола, или в сундуках, или в больших черных чемоданах, чтобы потом, по прошествии лет, показывать их своим внукам и правнукам. Но тут вот я узнал про то, что Домашний Театр ставит новый спектакль, который уже гремит, как выстрел из пушки, в самых удаленных уголках нашей родины. Мимо этого спектакля я никак не мог пройти, и поэтому вышел из дома, чтобы этот театр поскорее найти. Но внизу программки я прочитал, что этот спектакль можно видеть даже не выходя из дома, он неназойливо в нашем доме погостит, и его можно будет видеть на расстоянии протянутой или хотя бы вытянутой руки. И спектакль этот не имеет названия.

Начинается он в кабаке, где собирается большая компания, веселится и пьет водку. В компании встречаются юноша и девушка, они разговаривают, а потом ссорятся, потому что девушка хочет сохранить верность своему мужу, который смотрит дома телевизор и уже начинает жалеть, что ее отпустил. Но это так кажется непроверенному зрителю, это обман ожидания, потому что девушка — представитель красного подполья, а юноша — охранки агент. И беседа их вокруг да около ведется о крупном террористическом акте по убийству значительного лица и чиновника в Первопрестольной, и девушка, и девушка, только напившись до беспамятства, прозревает это и решает устроить побег.

Друзья же из веселящейся компании, ничего не подозревая, деньги ей, пьяной вусмерть, за воротник, за шиворот суют, ей купюры суют и ведут ее к такси. Но за своим веселым балагурством они ее теряют, как им кажется, и замечают, только когда муж начинает им звонить через два часа и душу из них трясти.

Но мы-то понимаем, поскольку нам невольно передаются мысли девушки, что таксисты все охранкой подкуплены, и увезут ее в тюрьму, и будут пытать. Или просто выбросят мертвую в канаву сточную, именно поэтому она решается бежать.

Телезрители спектакля на время теряют ее из вида, и расходятся спать, и утром идут по своим делам. Но делов-то немного, потому что воскресенье, кто идет в церковь, кто в бассейн, кто в спортзал. Там одному от нагрузки чрезмерной становится плохо, когда он вспоминает о девушке, блуждающей по городу ночью, но он не знает, что принимает она специальные анаболики, в которых неосознанно находит дорогу. И вот он гол в ворота свои пропускает, зритель наш, а потом, при мысли о девушке, изнасилованной или просто зарезанной или попавшей под трамвай и зарезанной им, и начинает его выворачивать, и начинает он блевать, но он молодой, хотя молодого тоже иногда может хватить инфаркт.

Но мысль о смерти любимой бывает сладка, когда ее представляешь отвлеченно, и вот начинает он горевать. Девушка же тем временем, проблуждав ночь, выключается, позабыв, что ей надо чиновника высокопоставленного убивать.

Она просыпается на дороге в Теплом стане, но режиссер забыл сгустить краски, поэтому не зима и всего около ноля. Проснувшись, девушка не находит денег в кармане, и ботинка не достанет, это она называет — остаться без ничего. После этого она весь день до вечера ковыляет до дому, у ней с мужем один на двоих сотовый телефон. А он не спит всю ночь, так задумано, потому что спектакль длится ровно сутки, и при закравшейся мысли волосы дыбом стоят у него. Начинает он звонить знакомым из той веселой компании, что теперь пристыжены, что потеряли ее, но мужниных оскорблений не намерены терпеть. Он ведь говорит, что они ее спаивают, ставя на стол водку, от которой глаза ее начинают гореть, а от водки она может, по его мнению, мгновенно умереть.

Зрители еще не знают финала истории, но уже не могут других мыслей иметь, кроме этой одной. И некоторые ломают руки, а другие молятся, не могут отвлечься они от мысли этой заводной.

И только один зритель, который в курсе, выключил волшебный телевизор и варит себе на неделю суп. Он вернулся только что из города Бобруйска, где на березах выросли яблоки, а петух снес яйцо.

Он мельком попадает в кадр, и это вселяет успокоительное питательное спокойствие, надежду на счастливый финал и разрешение всех страстей. В супе много вкусного красного мяса, такого свойства, в котором нет, нет совсем костей.

И вот финал, упавших в обморок приводят в чувство, девушка найдена, и сеанс гипноза почти завершен. Мастерски укладывает в ложе прокрустово свою героиню великий режиссер.

И вот девушка обращается к залу с речью: мы все когда-нибудь, когда-то умрем. Нельзя зависеть от любви чужого, но слово «любовь» мы сейчас уберем. У меня 12 лет, я алкоголик со стажем, а когда я два года не пила, то не могла и есть и действительно чуть не умерла. Я знаю много *голов*, в которые заложена и не такая программа, и ничего, живут, такие дела. А когда умрут, тогда поскорбим о них мы, как сказал великий поэт, пусть их степь отпоет. Но если вы будете постоянно есть аскорбинку, то каждый из вас любого переживет.

Я как актер предыдущего и устаревшего уже спектакля, который транслировался с опозданием на двенадцать часовых поясов, я примерз языком к решетке зоопарка, был декабрь-месяц, и был я без ничего, в ботинке одном.

Говорят, что, когда совещаются апостолы, над ними загораются языки пламени, и все их видят, а не только они одни. И наступает у них полнейшее со всеми людьми взаимопонимание и спокойствие, спокойствие и взаимопонимание, и мысли у них у всех общие, одни.

Что же до чиновника высокопоставленного, то тут не обошлось без помощи британских спецслужб. Дело в том, что в городе Лондоне повсюду поставлены камеры, так что видно, как ты выгребаешься из собственных двух кровавых луж.

Ну, все, ломятся зрители, требующие прекратить безобразие, надо ноги уносить, заговорился я, играет туш.

Сестра моя, вот и спел я очередную матерую песенку,

Как всегда, о мире, войне и голоде, моем городе и нашей семье,

И я хочу, чтоб тебе стало весело,

Но времени от этого будет не по себе.

29, 30 сентября 2007 года

The Automnic Stories

Рассказы

Die Erzählungen «Октябрь. Диск», «Черный лекарь», «Мнежарко и Попивасику», «Чага не спасет», «Deutsche Lenka» entstanden während eines Aufenthaltes in Berlin, gefördert durch das Projekt «Literarisches Tandem» der Stiftung Brandenburger Tor, der mein Dank gilt.

НЕГРА

В животе своем сына тяжелого своего я носила, а когда родился он, звездочка на небе загорелась, и луч просился в окошко комнатки его. И побрел он слоновьими ножками своими по улице, и запрудил вмиг движение. И увидел он красные, желтые, синие, зеленые и белые автомобили, и услышал трамвайные гудки когда, то так затрубил, что спустился с облачка специальный человек, чтобы успокоить его.

И она запела печальным и мечтательным голосом песню о лодочке, на которой рыбак вышел в море и утонул, и как лежал он на золотом дне и смотрел на месяц из слоновой кости. И браслеты на тонких запястьях, и кольца на черно-желтых от табака пальцах задрожали, как гремушки.

Взяли сына ее выступать на канате в цирке, и такие он там коленца выделывал, что в обмороке лежали и правая, и левая сторона. И была у него любимая дрессировщица тигров, с которой убежали они в Африку, кажется, в Египет.

А на родине его в городе Петербурге тогда умер царь, а новый обещал всем помилование.

И вот вернулся сын ее из Африки, и устроился служить в министерство иностранных дел.

Въехал он в город верхом на крокодиле, и зуб золотой его сверкал на солнце, а народ закидывал его венками и букетами гвоздик.

Новый царь же, видя такую любовь к нему, возревновал, и закипел яростью, и решил сгубить. Только как к нему было подобраться, когда народ так его любил? И задумал царь ночью подослать к нему убийц, пока он спал в своем большом алькове. Но что-то подсказало ему об опасности, и когда ворвались в квартиру подосланные убийцы, выхватил он черный пистолет и одним выстрелом всех их поубивал.

А за это бросили его в тюрьму, и скоро повели на расстрел на тюремный двор ранним утречком. Но тогда специальный человек вновь спустился с облака, на этот раз на огненной колеснице, распугал стражу, развязал путы и забрал его с собой на небо.

А я осталась здесь, и вспоминаю, как пела ему колыбельные песни, и горько плачу, и жду одной только смерти. И, действительно, от скорби ее глаза побелели, голос охрип от плача, но до сих пор она поет песню о буре, которая придет с неба и унесет ее убивающий домик.

ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ

Как будто лампочка неоновая в голове засветилась, и тонкие ледяные виски растаяли в лужице, и в окоем вошла торжественная и глухонемая природа, огляделась и засвистела петухом. Тревожный и зябкий сон, которым он было забылся, пропал, и осталось от него одно только мечтание. Вошел он в холодное озерцо воздуха голышом и покрылся цыплячей кожей и прилепами листьев, и поскакал верхом на курице по двору и по улице, под горчичником октябрьского солнца. Деревья округлились двойными изумрудными тенями и, как дородные матроны, зашагали, баскуя ярмарочными нарядами. Дети, подняв головы с телег, как подсолнухи, жевали леденцы петушков.

Дети, мальчик и девочка, собирались уже играть в доктора или в поцелуйчики, а взрослые тоже хотели предаться курортным играм бархатного сезона, на пляже, покрытом чепчиками, долго выпивая воду из пластмассовых бутылочек и выслушивая сводку погоды, остановившимся взглядом уставившись на циферблат вокзальных адлерских часов, как вдруг от стрелок пошли чертовой дюжиной тени, а на небе увидели целых четыре солнца, и большая, и малая вдруг распрямили занывшие, занемевшие ноги и пошли гулять в обратную сторону, поворачивая на лето.

На кухне под ящиком, вытягивающим дым из печи, помещалась чайная кукла. Она первая увидела пряничное солнце и сотни пчел, сосущих из него золотую пыльцу, словно с бахромы знамени Победы. В тот день с юга нам принесли инжир, весь сморщенный, черный и сладкий. Связанные с сестрой общею тайной кошачьей подземной столовой, мы были сиамскими, как две руки, левая и правая, как половинки ножниц, что вырезали из цветной бумаги прямоугольники, круги и трапеции. Но только приход родителей разомкнул пальцы наших рук, которые пели: встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. И сестру увезли на Черное море, Кавказ, в азербайджанскую деревню Куруш, где были красные спиртовые яблоки и горцы учили ее плести из проволоки косички и делать кинжалы из иголки. Недолго я плакал в комнате, прижимая к груди игрушечных собак Альму и Авву, которых только сестра могла отличить друг от друга, и жалуясь тряпичной кукле Вите, которая носила мое же имя. Я завидовал сестре, предательнице, которая вернется такой загорелой, тогда как моя кожа так и останется бледной.

Но тут вошла мама, и от нее по комнате распространилась белая тень отпуска. Мама была везде: и в обеденном времени столовой, и в шариках мороженого, и в молочном коктейле, и даже в спичках и жвачке Педро. От нее исходили белые сны, усеянные горошинами и градинами ситцевые платья висели в шкафу, и из уст исходили утешные, как птички, слова. А поедем-ка в Бердск, попроведаем Наталью Яковлевну.

Наталья Яковлевна — это жена дедушкиного командира. Они вместе жили и дружили еще с Советской Гавани, это на Дальнем Востоке. Туда их перебросили еще во время войны с японцами. У твоих дедушки и бабушки была одна половина дома, а у Натальи Яковлевны — другая. Там был яблоневый сад, который цвел белой пеной. Я бегала тогда на учения, и меня кормили из полевой кухни. Там росли огромные синие, красные и желтые цветы, над которыми летали махаоны. Пойдем, попроведаем Наталью Яковлевну!

Раньше здесь не ходил автобус, сказала мама, когда мы проехали Сеятель, который я видел на зеленой марке с серпом, двадцатого года. А старый Бердск был деревянным, и его затопили. Мне представилась синяя река, и плавающие крыши домов, и большие белые льдины с черными от солнца людьми на них. Туда-то мы и едем, подумалось. Смолистый воздух зеленых сосен, загораживающих море на станции Речкуновка, Бердская коса и Голубой залив пронеслись мимо окон Икаруса, желтого и летящего прямо в солнце, взметающего перья в расплавленной смоле, новенького и дерзкого. От пассажиров веяло дремотой, тогда как меня бодрило утро, политые тротуары, темно-зеленые подстриженные аллеи, и роскошные цветущие клумбы, и веселые лица прохожих. Незаметно мы подъехали к Бердску.

Молодой, новый город, весь в новеньких аккуратных фиолетовых девятиэтажках, встречал светящимися стеклянными газетными киосками, газированной водой, тенями, бегущими, как велосипедные спицы.

Мы прошли мимо хлебного магазина и поднялись на лифте на восьмой этаж. Наталья Яковлевна нам очень обрадовалась. Она была седа, лицо пересекли морщинки, но она выглядела моложе бабушки. Она подала печенье и чай. Мы достали наши подарки. Печенье оказалось невкусным. Пойди, поиграй, сказала мама.

Я зашел в единственную комнату, где обнаружил тахту с белыми мучными треугольниками подушек, швейную машинку и

большое зеркало. И когда я подошел к этому зеркалу, вдруг почувствовал оцепенение. Как завороженный глядел я в него, а на меня смотрел из него тот, который отсутствовал, карточный валет, который глядит на себя, по пояс в воде. Громко тикали часы, казалось, из недостающей второй комнаты, или половины дома, где сад и белая пенка цветущих яблонь, японцы, цветы, и Советская Гавань, и день Победы, и ликующие лица. Но потом я пригляделся, и меня накрыла эта убивающая сердце пустота, как коробка от цедры, отверстая пустота накрененной могилы, только когда боль о вырванном у тебя из рук умершем уже иссякла и превратилась в память. И этот двор, где был сад, уже зарос травой и бурьяном, а посреди стоит голое дерево с лысой макушкой, на которое не садятся птицы. И в ужасе я оторвался от этого зеркала, и подбежал к маме, и заплакал, и вынудил увести себя. Больше мы не поехали к Наталье Яковлевне, вдове дедушкиного командира.

ГИПНОТИЗЕР

Мы в номере у старшего мальчика с суеверным страхом глядим на его будильник с черным циферблатом и бритвенные принадлежности — он уже бреется. Тем временем он вытаскивает ножик, раскладывает его и держит в руке, а потом, улыбаясь, заносит прямо над нашими головами, и опять держит. Мы сначала смеемся и переглядываемся — веселая игра, но он не отпускает, и постепенно мы впадаем в оцепенение, ведь не можем пошевелиться, он чутко за нами следит. Подступает под ложечку неприятный испуг, поднимается по пищеводу к горлу и становится страхом. Почувствовав власть над нами и оценив градус напряжения, он, как гипнотизер, мановением руки возвращает нас в номер, где мы сидим на кровати и даже не можем достать до пола онемевшими ногами, как зайчики, и складывает приборчик и даже дает его нам потрогать. Потом для полной внушительности делает махи ногами в спортивных брюках фирмы «Адидас» почти до люстры и чувствует себя хозяином положения. Затем мы идем купаться. Но море штормит, темно, как ночью, и только белая пена бьется о черные зубы волнорезов.

Воздух полон жаркой влагой, смердят магнолии сладким гнилым запахом и красиво цветут. В сумерках не откроешь книги, и мы проходим по дорожкам Ривьеры — там, где в ярком солнце вчера девочка Юля садилась на спину трехглавому леопарду, и сам я прыгал с ней в скакалку и даже в резиночку, но не мог освоить причудливых фигур, скрещиваний и вращений.

Вечером мама уходит в кино и потом рассказывает, что показывают одни «тяжелые» фильмы, умер Папанов, мама сопереживает. И вот финал: я объелся фруктами и увезен в больницу.

Врачи на пятый день уже смеются надо мной, а мальчики собираются в кружок и рассказывают непонятные анекдоты, после чего возбужденно смеются. Теперь все позади, рассказчика прооперировали, а ведь он был под угрозой смерти. Но вот приходит мой спаситель, четырнадцатилетний хозяин ножика и будильника, строит веселые рожицы, и меня забирают.

Он играет в метровых волнах, а его мать в желтом купальнике с достоинством окунается. Другие представительницы технической интеллигенции загорают на шезлонгах или прячутся под зонтиками. Но мама потеряла золотое кольцо, мы перебираем песок в радиусе пяти метров, но все напрасно. Это кольцо ее прабабки, фамильная редкость, теперь мы никогда не расплатимся.

ЛЮБИМЫЙ РАДЖА

Белое футбольное поле было полно до краев синей водой, и в нем плавали ослепительные белые льдины, а на них — юные гребцы в ушаночках, словно прикрепленные крестами черных иссиня теней. Но на следующий день небо заволокло, и ботинки хлюпали по серому снегу луж, как хлюпается сердце на своих присосках внутри водянистого телесного мешка. И взгляд опять было не оторвать от земли, в круге грязного и тошнотворного экрана головокружения. И просилось на уста слово «землица», взятое из книг с куполами черных церквей на обложках, поселявших в душу тревогу и разламывавших корешок горла.

И на прогулке, когда рвался к желтым пятнам на снегу маленький, но уже сильный щенок Фома, в редкий солнечный час отрады весенних каникул после долгой, выгнувшейся шеями двоек усыпительной третьей четверти надеялось, что бабушка не умрет. Но она умирала.

В маленькой комнатке, огороженной шкафом, она лежала, разметав волосы вороненка по белой подушке. Мы плакали и шептали ей слова любви, но она не слышала их, не понимала, не отвечала. И в сырых сумерках мы шли в кино, где показывали Индию, Индию, Индию, потому что ходили мы на все сеансы, любимого Раджу. Красный бархат теней, пятнышко на лбу, заломленные руки и пение сообщали детской душе траурную торжественность, и прыскали в сердце забвение.

И вот настало утро 4 апреля, когда проснулся рано в детской вперед сестры, проснулся в мягкой фланелевой пижаме, и солнце нежно било в окно от радости нового дня, зашли в комнату сразу мать и тетка, две черные плакальщицы, и сказали, что бабушка умерла.

Я не хочу видеть ее мертвого тела, она не умерла, а осталась со мною живой. И постель моя перенеслась в город, к тете Нюре, где мы с сестрой плакали, как сироты, и для нас раскрылись запретные прежде книги, с немецкими картинками, спальня с розовыми одеялами, бильбоке и медные фарфоровые и золотые статуэтки танцовщиц, и сама утешная фея прилетела рассказывать свои сказки.

После, увидев в комнате утрамбованный и забитый по самое горло страданием квадрат пустоты там, где прежде была бабушка, мысли сами собой отвлеклись на «Спартак — Черноморец» и белый кувшинчик с надписью «Нарзан». И из стеклянно-

го шкапа с советского иконостаса глядели, как китайские божки, Ленин, и Горький, и родственники, и родственницы с выставочных фотокарточек. Троица глядела на меня: мечтательная брюнетка тетя — слева, лучистая и спящая наяву мама справа, и она — черноголовая бабушка Маня, молодая, величественная и торжественная.

Каникулы кончились. Как же вы празднуете день рождения, когда девять дней еще не прошло, сказал в классе Огоренко.

ГИТАРА

Дальневосточная черемуха, стволы которой облазили кожей, измазала все руки смолистым соком. С мелких кустов аллеи глядели белые глаза волчьей ягоды. В глубине чащицы было маленькое болотце с настоящей ряской, все, что надо для маленького леса, тот же обманывающий и заманивающий шепот листвы и смех фавна. Вот и он сам, в виде пьяного, страшного, с остекленелым взором, как увидел его, беги без оглядки.

Улица Золотодолинская спускается в ботанический сад, напуская спокойные тени и образуя круг с другими улицами. Дома, похожие на острова Тани и Вани, куда можно ходить зимой по льду водохранилища, которое называют здесь морем, поселяют в душе мир. Со мной мальчик Коля Гоцманов, он говорит, что там дальше живут поляки, которые убивают детей. Я не верю ему.

Нам встречается мальчик Алеша Кеплер, у него оттопырены уши, и веснушки, про которые мама сказала Коле, что такие бывают только у очень плохих людей. Мои уши вроде бы прижаты к голове кепкой, но все же я начинаю беспокоиться. Меня Коля называет Витер-Свитер.

Несмотря на уши, нас приглашают на день рождения к Коле, мы возбуждены только что просмотренным фильмом про бакинское подполье и, кажется, комиссаров, черная нефть изливается в море, маячат ночные вышки и революционеры присаживаются завязать шнурок начищенных ботинок, чтобы обернуться, нет ли хвоста. Завтра мы немного поиграем в революцию, но потом вернемся к московским пряткам и казакам-разбойникам, которые ставят на домах крестики, как Али-Баба. Мы вспоминаем про Баку всякий раз, когда нам посылают курабье.

Мать Коли, рыжая, как лиса Алиса, встречает нас тортом и играет на пианино. Она учительница музыки. Она рассказывает нам, что на синей шукшинской Катуни хотят построить ГЭС, и как это плохо, и говорит, что надо обязательно побывать в Сростках. На стене висит маленькая лакированная семиструнная гитара.

Но вот приходит отец Коли, кандидат физических наук, спортсмен и красавец Гоцманов, и говорит жене: а давай споем нашу, русскую песню! И они, а вслед за ними и дети, затягивают до конца «Эх, дороги»! В глаза словно летит рыжая ядовитая

пыльца и в словах звучит какая-то непонятная и тревожная угроза.

Горбачев плохой, потому что он царь, говорит мне, оглядываясь вокруг, Коля, и мне удивительно и страшно слышать эти слова. Мой папа ходит в общество «Память», добавляет он.

КОРРИДА

Желтые солнечные дорожки с бархатной красной пылью бросало октябрьское солнце. Стеклянные здания замерли на мелованных проспектах. И скоро длинная рука опускала за горизонт тусклый фонарь. И тогда статуя Паллады с выломанной гримасой рта и с завязанными глазами выходила жмурить в улицы нас, детей. Мы зажигали свет и передвигали желтые и черные лакированные шахматные фигурки, щелкая по кнопкам над близнецами часов. Наконец наступало отупение и в глазах бились падающие флажки, и голова собеседницы покидала шею и катилась по кругу вплоть до трамвайной линии, и подмигивала, и шептала слова любви.

Все затаилось и ждало зимы, которая дула бореем на воздух и воду в обе щеки и куковала эхом в пустом лесу, где можно было встретить себя самого и не узнать, и сбить шапку из настоящего пистолета, и завертеть жестяную рыбку, как в тире.

Любовь этого лета сбежавшим солнышком прокатилась по песчаным дорожкам и, отяжеленная молодильными яблочками, останавливалась, забеременев, под умильное благословение кивающих и достойных матрон и училок. И как образ последний раз увиденного человека, которому не пережить этой зимы, все вокруг заколело.

Высокий черноголовый подросток затеял игру возле первой поликлиники и театра. Загадав время, спокойно шел по дороге, обреваемый холодным воздухом проносящихся автомобилей. Он хотел встретиться с собственной смертью, но она, ласково улыбаясь, только гладила его по голове и шептала ему: мой гордый мальчик, настоящая коррида еще ждет тебя!

ЗА ЗЕЛЕНЫМ ЗАБОРОМ

Зеленый забор начинался от площади, а когда он кончался, бежали деревья, кудрявые, как страшно переживающие женщины. Потолок Жигулей наполнился черным горошком, и укачало. Политая листва и начало маминого лета сулили мороженое, там, в неизвестных странах через дорогу!

Как колыбелька, отправленная в веночках по речке, усыпительное детство ищет берега дном. Из своей пасхальной усыпальницы цветущих яблонек глядит боженька. На расчерченных звездами, кругами и крестиками проспектах почивают покой и нега. И только едкая молодая листва жжет глаза и говорит, что распустится и без тебя.

Солнце греет синей лампой и открывает за страшными глазастыми обрубками, тревожными почками во лбу, спокойные и теплые ноябрьские полдники. Вот куда бы причалить твоей лодочке, когда там красуются флотилии, бросающие тени сосновых высоких стволов кораблей на часах!

А в снах за далеким виадуком зеленеет город опушек, но, когда идешь до него, находишь гроба-шашлычные, где химическим карандашом подрисовывает тебе губы соляная статуя Папы, собак, жующих пластмассовые дома, в городе, где не найдешь уже даже Ленина с кортежем крестьян, солдат и женщины с колоском.

И куда-то дальше уносит твою колыбельку, где спеленут, как в орешке, и вот вскидываешься на кровати и кричишь, кричишь слово «Я», а имени своего вспомнить уже никогда не сможешь.

СТАНЦИЯ ШЕПЕТОВКА

Затопленный лес встречал его бумажным шепотом прогорклой листвы, корявое дерево торчало из синей воды, проплывали бесшумные облака, и он шел под ними, расставаясь с собой — ведь некому было смотреть. Страх убегал от него, прятался за поворотом темной тропы и поджидал там. На веточках сами собой развесились мысли, как лица детей в елочных шариках, и засмеялись над ним, заплывшие в одну рожицу говорящей химеры.

Горячая голова солнца на ножках теней уплыла в зенит и больше не касалась стопами земли, так смуглолицая бабушка поднимала его, здорового, у коридорного окна дома под часами и показывала ему высокого звонкого жаворонка, а потом опускала и хохотала, надорвавшись.

Отца не было. Родители не дали совершиться браку, таковы были правила еврейских семейств. Для облегчения матери найден был утешитель, проведший в доме неделю в беспамятстве. Папа Боря и папа Степа дарили по субботам леденцы, деревянных гимнастов, делавших «солнышко», и пистонные пистолеты. Мальчик был резонер.

Десятые классы выстроилась стеной и смертно дрались с Первомайкой. Враги бежали. Это во дворе. А в парке, где тогда между дерев еще чернели надгробия, — речники. Я бегу — темно от «ракушек», рассказывал Жека. А в темной тополевой аллее, тянущейся вдоль всего проспекта, воры, пьяная музыка и школьная любовь. Из двора, у зеленого фонтанчика выволакивали утром жмуров.

На первое мая сделали бумажного «дядю Борю», трапециевидное туловище без головы и ног, и понесли вместо транспаранта, десять штук. Внимания тогда не обратили. Сын актёрки показывал связанного Пугачева и скалил зубы. Отправились на пляж, на реку, солнышко закрыло лицо ладошкой и подглядывало сквозь пальчики. Агдам, он теплый, как молоко, сказал Зубатов. Все тогда потерялись и на следующий день собрались там же, по условному сигналу, искали друг друга, ботинки, часы. Собрались и разбежались в четыре стороны света.

Научился декламировать перед публикой, только надо было посадить в зале знающего человека, а остальных установка убивать, и еще вскочить на зал верхом, и пустить его в гопакгалоп, самому вознестись на небо, в Раи. И спускается тогда с

неба квадратная черная звезда, и проваливает крышу дома, только ты выйдешь, словно кто-то тебя позвал.

И пока ночь пылает в стакане двора, осознавал он, что именно эти детали запомнит все до мельчайшей подробности, эти желтые от табака пальцы и кровавый отпечаток ладони на стене, и то, как переходил с балкона на балкон на двенадцатом этаже, и потом эту жарптицу, вынувшую душу и вдунувшую в тело горящую водку страдания, и падение, от которого уползал, валяясь в блевотине, по лестницам и канавам, а потом очнулся, умерев под забором, но утром проснулся, когда прокричал петух. Посмотрелся лицом в зеркало, как будто били вчера, клок бороды вырван бритвой эскалатора, запеклась кровяка, но ведь за ради страдания только, один год прошел, как десять лет, но ведь жил ты по-ленински эту декаду!

Бывает, в метро заходит женщина, и пока она молчит, остальные тоже приспосабливаются к вагону, но только отворит рот, причитая о смерти детей своих, и заплачет о болезнях и запросит милости, как тотчас образуется вокруг нее двухметровый в радиусе остолбенелый и завороженный круг. Так и он сейчас стоял в этом круге, но голос пропал, и понял, что сейчас кинутся и разорвут на части.

Жил он тогда на даче, где-то возле здания филармонии, и вышел в магазин. Только вышел во двор, как увидел, как на другой даче, напротив, стоит во дворе рыжая дамочка и загорает. Глядь, а не дамочка, уже, а железная свинья, с воем взлетает она в небо и падает на крышу его дома, где все: и мать, и бабушка, и сестры, и дочери. И тогда он оказывается уже в районе театра, за трамвайной линией, и понимает, что не найти ему уже дороги до этой дачи, ходит он кругами и не находит, и останков родных ему уже даже не найти. И даже памятника Ленину не найти.

И оказывается он в связи с этим в больнице, на койке, в палате, а на соседней койке лежу я. И он спрашивает, где же памятник Ленину, рабочие, крестьяне и женщина с колоском? И я отвечаю ему: вчера я видел, как они ушли. Тогда его вызывают к врачу в другую часть здания, но он не возвращается, видимо, не находит дороги уже и к самой своей койке.

И я вспоминаю его слова: перехожу я дорогу с четырехсторонним движением и стою на самом островке посредине. Шевельнуться нельзя, собьет машиной, нельзя сделать и шагу. И так каждый день, каждый день!

СКОРОЧТЕНИЕ

Муж занимался. Включался метроном, и он читал вслух на скорость. Потом метроном сломался, и он выстукивал шилом на деревянной ручке каждое слово, все быстрее и быстрее. Потом остался только его стук. Постылый. Мыслями он был далеко, облака проносились над страницами книги, но она знала, что он читает ее, о том, что ей снится порнография, и от этого хочется удавиться. Мертвый отец и загорелая сестра были в этих горных облаках.

Муж лежал на матрасе, и мысли его сладким черным миазмом текли сквозь ухо. Он заставлял ее лежать рядом с ним неподвижно и прислушиваться к звукам из кухни, где умирал черный кот. Кровь вытекла вся еще в ветеринарной клинике, теперь он только стонал, и вот замолчал и, наконец, издал звук, подобный звуку выскочившей пробки. Теперь надо плакать, сказал муж, но побоялся прикоснуться к мертвому телу животного. В коробку мать положила сухую веточку.

Пили портвейн и коньяк с загорелой сестрой, мужем и братом сестры. Смотрели первый «Бумер». Она побежала по лестнице и подвернула ногу. Потом побежала в лес, упала под куст и обморочно эманировала. Муж сестры послонялся на расстоянии десяти метров, что-то понял и ушел. Брат и сестра отнесли ее домой, где она разговаривала во сне с четырех до шести утра. Они полюбили друг друга.

Мать сестры звонила в дверь, а они затаились, выключили свет и не открывали. Потом внук бросал птичье дерьмо на балкон, а в нее бросил камень. Постылый. Потом позвонил муж и сказал: я пойду на похороны, умер ребенок. И ты не можешь остаться в стороне, сказала она.

Черные под нещадным солнцем стояли достойнейшие из женщин. Скрипач играл. Лысый великан обнимал его и друга, и они уткнулись головами в его подмышки. На голове было мокрое полотенце. Было одно желание, лучистое, как взгляд ребенка, сохранить этот столбик света в темной комнате, падающей в колодец двора. Это нежное желание захлебывалось в горле.

Муж стоял у окна, и ему казалось, что люди идут ровно, как на параде, и так же ровно движутся машины, которыми он командовал без устали. И его голос был услышан, Путин проследил за авариями. Только опять подвел он друга своего.

Друг восхищался кидалами, которые уже не кидалы, и не друзья, а энтузиастические тела, которые прыгают с вышки и ударяются головой о дно, но как-то все же выныривают. Друг восхищался ельцинскими кидалами, которые кинули, которые предали. Товарищ и друг, подвел он его, не прошел по ранжиру, а товарищ и друг знал две только песни: «любовь, любовь есть наслажденье, веселое занятьи-це!». И «детская смертность, ах, детская смертность, когда же научатся тебя побеждать!».

ЛЕТО, ОСЕНЬ, ЗИМА, ВЕСНА

Впереди всегда долгое лето — выпуклый глобусный затылок, синее море, голубое небо, зеленая трава, самые длинные дни, юный июнь, ювенильный июль, августейший август.

Новые сандалии, белая панамка, короткие рукава. Сбор ягод — виктории, смородины, малины — в коробки из-под молока, государственный сбор до позднего вечера, и себе тоже забираем. А еще поедем в Ключи — там клубника полевая и полигон, остаются гильзы. Будем ходить на море по сосновому оранжевому смолистому чистому лесу, будем петь с мамой весело. Впереди лето, счастливая пора!

Осень улыбается щербато, на зубах блестит сентябрьский луч. Заморозит стоматолог октября, онемеешь, холодно в сухонькой белой даче, белой хате, где газеты и журналы царских, сталинских времен, вот он, первый день календаря. И ноябрь в ухо зашепчет и надует, оплывет и заболит оно. Собираем на болоте клюкву молодую, и несем гвоздики красные к памятнику Ленину. Кончилась и осень.

В полдень уже темень вокруг тусклого солнца, и вторая четверть близится к концу. Только ты уже не в школе, не в школе, а на воле, что боишься ты простоволосой бабушки в лесу? Вспомним декабристов, день выборов в думу, только недавно отменили выходной. Все готовятся, и к чему, подумай, к Рождеству Христову, и блестит на елке шарик золотой. А затем январской стуже дуть на прорубь, где купается и стар и млад, а называются моржи. Не воскреснет мертвый, так исцелится хворый, только что ты делал 21-го, скажи? Был ты с товарищем, товарищем старшим, помнит он еще те ленинские славные деньки. А потом наступит день рождения Наташи, это новый праздник, Святой Валентин.

И по мартовскому топкому, желтому снегу поведет на ледоход смотреть тебя старый твой дружок. Кровь твоя взбунтуется, разорвет плотину и запустит в небо глазастый пирожок. Столько лет прошло, а 22-го, в субботник, все озеленят и дочиста землю, как квартиру, приберут. И кто будет, кто будет в красном куте, правильно, Никола, Никола, что умер на миру. Столько лет живут на свете ты и твой товарищ старший, а все неизменно, припеваем цельный, круглый год. Страна всколыхнется, сказал Дмитрий Алексаныч, если только Ленина по всей стране провезут и потом погребут.

май 2006 — июль 2007

Д Ю Ш Е С

Кто только не писал о «синенькой жилке на виске»! Как она пульсирует, как бьется, как хочется на нее надавить. Какие шишки и синяки вокруг нее надуваются. Но в одной книге, которую я прочитал давно, а фамилии автора припомнить не могу, хотя нет, вспомнил, это Василий Бензин, забытый всеми поэт из Ширá, рассказывается об этой жилке и всем, что с ней связано, так подробно, так безмятежно, так хорошо, одним словом, что я хочу передать вам эту историю.

В городке Шира обосновались когда-то деятели молодых лютеранских движений, они построили там церкви, организовали приходы и зажили за счет сильной церкви. В тех землях вырастали благоухающие прекрасные сады, текли ручьи и на улицах росли финики, вишни и груши. Один из лютеран, однако, решил бросить церковь, отрекшись от Нового бога, который показался ему страшным, и поехал на заработки в свой родной город.

Его родители долго искали его, и потому рады-радешеньки были его возвращению, и постарались вернуть его в семью и устроить в институт. В институт он поступил, потому что определенный ценз тогда отменили, и там он сошелся с одной студенткой. Студентка эта познакомила его с двумя-тремя молодыми людьми, которые не смогли прибиться ни к компании, которая варила винт, ни к той, которая торговала ханкой.

В ту пору было много опасностей для жизни, и девушка понимала это очень хорошо. И она подумала, что для сохранения своей безопасности хорошо было бы создать круг друзей из восьми человек и держаться вместе. А в моду тогда входили различные пирамиды с буквенными обозначениями, и вот она придумала компанию Пирамидальный тополь. Она приехала из города Воронежа, где на нее сильное впечатление эти тополя произвели. Они там росли повсюду, особенно вокруг дворов, которые в Петербурге называют колодцами, но только там они тянутся квадратами длиною в квартал.

Закон, установленный в компании, был прост: разрешалось неограниченное употребление алкоголя, но запрещались сексуальные отношения, которые, тем не менее, проистекали на уровне слов, жестов, мимики. В компанию не мог проникнуть посторонний. Члены же компании собирались в сторожках, поликлиниках, квартирах, напивались вусмерть и предавались

радостям простого сельского быта, рассказывая друг другу сны, в которых повторялся один сюжет.

Сюжет был следующим: царица ждет царя в городе, полном руин и гниющих мусорных куч. Люди укрываются в летних кухнях дачной постройки и ждут сигнала. Сигнал посылается им с помощью ночных мотыльков или тараканьих полчищ, которые либо ломятся столбом в окна без штор этих кухонь, либо убегают из города в лес рыжей рекой.

Чертеж всех городов тайно скрыт в этом городе, который рисуется в форме магендовида.

Но царь не приходит слишком долго, алкоголь разрушает нервную систему компании и она распадается, после того как входящий в ее состав жиголо, брат нашего лютеранина, обмораживает себе руки и лицо. Он две недели лежит в больнице и с трудом подбирает два слова. Постепенно жрица нашей компании обнаруживает, что все ее женские подруги беременны, причем дети получаются похожи друг на друга, как две капли воды, и у всех у них бьется на виске синяя жилка.

И тогда наша царица, устав от деревенского быта, уезжает к мужчине, давно ждавшему ее в Воронеже, где пирамидальные тополя и груши. Лютеранин хранит ее письма, блуждает по улицам босой и разговаривает с торговками с базара и водителями маршрутных такси, куда его уже не впускают. Книга называется «Дюшес».

ХОРОШИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

В жизни есть много хороших впечатлений, сказал мне товарищ. Я позвонил ему по телефону и напомнил историю, от которой он сначала заохал, а потом сказал. В жизни есть много хороших впечатлений, они обязательно должны быть.

Я рассказал ему, как мы ходили к нему в гости, на день рождения. Сначала мы с Павлом и Филиппом купили портвейна «Кавказ». Потом мы пошли гулять по апрельскому лесу, пересекли просеку, шоссе, поднялись по виадуку, спустились по лесенке и сели на бережку моря. Солнце припекало чудесно, скоро все звуки исчезли вокруг нас, и мы, оглушенные, сидели и грелись, глядя на текущие со склонов вавилонские молочные реки, как по семи лестницам спускаются прекрасные люди и глядят, как в проталинах растут цветы. Небо разломилось от радости и человеческой теплоты. Город облаков пригрезился нам, и мы мечтали.

Потом набежало облачко, и мы вспомнили про день рожденья. У меня был тюбик крема-пасты для бритья, и еще утром я нарисовал им на ступеньках университета надпись: Лена, я тебя люблю. Люди кричали матерные слова в адрес меня, увидев эту пену на своих ботинках.

Потом мы купили корзиночку роз и поехали. День рожденья был не у нашего товарища, а у его жены Лиды. Там были ее друзья, они пили вино и водку. Павел оставил нас. Филипп танцевал с супругой нашего товарища, а я на кухне разговаривал с десятью господами, ее гостями, одновременно.

Потом мы ушли ко мне домой. Утром Филиппу стало плохо. Я вымыл за ним пол в своей комнате из железного тазика и опохмелился. Филипп не опохмелялся. Свежий и взъерошенный, я побежал к нашему товарищу, у которого мы были вчера в гостях. Он сидел на полу в позе иога и что-то шептал, а его жена брила ему голову финской трофейной машинкой. Водка стояла подле. Я отдал свою мыльную пену для бритья. Он был в этой белой пене и повторял до бесконечности: как я люблю Лиду, как я люблю Лиду.

Должны быть хорошие впечатления, сказал товарищ, перестав охать. Я расскажу тебе историю, которая меня, закаленного волка, очень потрясла, сказал он. У меня был одноклассник, при встрече с которым было неудобство в разговоре. Он что ли все время пытался к кому-то примазаться, в общем, всегда хотелось отмахнуться. Но вот я поселился в этом доме с моей су-

пругой, Лидой. И стал ходить в столовую неподалеку. Путь лежал мимо бань. Бани на одной стороне, а на другой лежат веники. И рядом киоск по продаже овощей, овощная лавочка. И этот мой одноклассник оказался владельцем лавочки. Как увидит меня, так выскакивает и рассказывает какие-то непонятные историйки про своего зятя, свояка, про родню. И так каждый день, значит, узнаю от него новости. И так тошно мне стало, что бросил я ходить в эту столовую, стал огибать, давать крюк километра на четыре, там, возле прачечной и молочной кухни. И ты знаешь, представляешь себе, мой одноклассник надолго сел за решетку.

Каким же образом? Однажды, будучи пьяным, заснул он в сугробе. Отвезли его в больницу, в обычную больницу, с отмороженной рукой. Положили на койку, и захотелось ему спать. А на соседней койке помещался больной, который от боли сильно стонал. Перестань стонать, сказал ему мой одноклассник. Но тот не мог уже перестать. И тогда одноклассник мой убил его. Одной рукой? НОГАМИ!!! Забил до смерти. А где были врачи? Наверное, у них были хорошие впечатления, сказал мой товарищ.

Первая школьная любовь всегда сопровождает нас, селится в тех же городах, что и мы, но мы все равно запомним ее такой, какой она была на заре нашей юности, даже если нам доведется встретиться где-то еще.

МОРОЗЕЦ

Только утром хотел вернуться к вчерашним занятиям, дела поделать, как поглядел в окно. А там морозец, и какой-то неприютный, температурный, горячный морозец. И сморил сон, музыка играет то тише, то громче, а мысли спят, и вот просыпаются, и опять засыпают, и видят сон, из приятных. Но вот дела! Надо поделать дела. Сидишь и делаешь, а горячность растет, как тогда, десять лет назад, бегал с горящими глазами, и погода, погода та же. И вот звонит дружок, вызывает на улицу пойдем, ах так, не пойдешь, и тянет, и тянет. И вот, как и знал, вышел, видишь домов туманные контуры и расписание электрички. И дружок все подкалывает, угощает пирогами и чаем, а подмаргивает, вот я-то, смотри, каков!

И тут, как и знал! выходит мужичок, и знаешь, что денег попросит. Вот рассказывает мужичок: я приехал с Тогучина, брата похоронил. Нелепость, но деньги даешь на мерзавчик. От такого вранья про брата только мерзавчик спасет. Хотя тебе ли судить! А может, и правда. А дружок все смеется, смеется. И приходит к тебе в гости, и заполняет телом своим доброхотным все комнаты, сразу становится много. Вот ушел. И садишься читать.

И читаешь историю про двух дружков, которые влюблены были в одну девушку. А она выбирала к своему красивому имени ту фамилию одного из друзей, которая покрасивее. А фамилии-то у них смешнее одна другой. В общем, заплакали два друга и решили: будем дружить друг с другом, а замуж никого не возьмем. И тут понимаешь от неприютности, чувство, вот оно, кого-то словно убил.

И звонишь третьему дружку, который говорит: да знаю, и у меня было, но теперь полегче, полегче. Послушаю музыку, фильм какой посмотрю. А в фильме, представляешь, два брюнета и одна дамочка пьяные собачкой нарядились и поют, так весело. И прибавляет: а Х. во сне в другом городе увидела черта. И мужу позвонила, а он и ответил: ну что ж, в такой ты поехала город.

СТРАШНЫЙ ЗВОНОК

Вчера так весело было смотреть на поющую ряженую собачку. А спать нельзя оказалось.

Всю ночь так и этак ворочался, тяжело лежать было. Походил по квартире. Ходил и курил. А дела отложил. Только новостями интересовался. Так и утро застало, как сижу и слушаю новости.

А вот уже и на работу. Но подумал — вдруг свалюсь и засну или еще, наоборот, подпрыгну и вытворю что-нибудь не то. И позвонил, сказался заболевшим. А ведь если не позвонил бы, так не пришел бы, и тогда и завтра не пришел бы, и послезавтра, и потом перестал бы ходить вообще. И тогда позвонили бы оттуда. Страшный бы раздался звонок!

Но позвонил. И сразу заснул. И что видел во сне, да не важно, что видел! А ведь видел же, как по бревнышку, по досочке иду через страшный поток, и со мной моя знакомая. И упала в поток. И я нырнул за ней, вот приближается страшная балка, за которой все, конец, но вынырнул, вытащил на берег живой. А на берегу идет мероприятие. И я в таком виде, представляете, оказывается, должен там выступить, чтоб товарищей своих не подвести. И отказался. Но подходят верные товарищи и показывают за окно: танки на улицах, приехали, только чтоб ты поучаствовал в нашем собрании на открытии нового здания. И хотел отказаться все равно, но тут подходит Вергудис в своих красных штанах и с бутылкой и говорит: помоги, брат, выступи, скажи свое слово. И при виде нищего Вергудиса сжалилось было сердце, но вот проснулся, не выступив.

Проснулся. Дела стоят. Включил было брюнетов с собачкой, но вместо них прислали румын с дудками. Не могу румын. Уберите румын. Включил собачку веселую. Ну и не могу и собачку, все, осточертела собачка. Выпить мне нельзя, и собачку больше нельзя послушать. И так всегда с Восстания Декабристов до Старого нового года. Невыносимая мука. Огонечки светятся, снежки летят, пахнут еловые лапы. Удавиться хочется. А, вернее, так, как будто уже удавился!

ПОЧТА

Первого ноября отправились на прогулку. Были на почте. На почте оказалась очередь.

Пошли за железнодорожную линию. Там, у железной дороги, за высоким и новым отелем с пряничными окошками, оказалась уличка, где не был. На уличке домики, все сгнившие, а кое-где поновее, вот белье висит, вот собачки бегают. И здание клуба: немцы пленные построили. Но вот и больница, банк, а вот и почта, верно ты сказал, где сбербанк, там и почта. Но закрыта почта на обед. На, возьми деньги и купи бухлища, нет, газировки хочешь американской? И вот лесенка, торговлишка, рыночек, прямо у вокзала. Там женщины в шалях и цветастых платьях, торгуют.

А на почту-то надо, потому что пришло письмо. Нужно дать ответ. Пишет старик, бисерным почерком, все про певца, который переоделся собачкой. И прислал факты своей жизни. Вот он на концерте певца, вот какие у него есть пластинки, вот какие у него вырезки. Старик, радиолюбитель. Прекрасное чувство. И ты, я вижу, настроен благожелательно и позитивно. Рассуждаешь здраво. Что, говоришь, черта увидел во сне?

Веселился вчера поди? Мне и сна не надо! Вот пошел в магазин, а там черти бегают все раскрашенные. Рядятся ведьмами, нищенками красавицы из состоятельных семей и пугают себя, друг друга и прохожих.

Вот и площадь, вот и башня высокой гостиницы, поляки строили. И говорит: а ты знаешь, что вчера, например, отсюда сбросилась менеджер высшего звена, из общих знакомых?

И тут нога проскальзывает, и чуть не удерживаюсь от падения в грязную землю со снегом. Черная пыль летает, смешиваясь с запахом мыла с мыловарни.

А ты знаешь, например, что вчера в Коченево разбились одноклассники сына? И думается мне, что стройка эта не кончится тоже добром!

Вот и почта. При вокзале. Закрыто. Обед. Ну ладно, я пойду, завтра отправлю из института, там в общежитии — почта. А ты знаешь, что ты теперь закрыл в институт себе все пути?

Первое ноября — день поминовения усопших. Европейцы приносят в этот день на могилы цветы, пряники и конфеты.

ПАМЯТЬ СЕКСА

В луга зеленые с цветами выходят веселые поселянки. В луга дендрария выходят они и там гуляют. Песочные дорожки греет славное солнышко. Ровные тени слагают знамена свои. Красивые и нарядные, входят они в прохладную деревянную церковь, и в колокола юбок бьют двумя языками ног. От счастья растопляют воск они и длинными соломинами шагают. Перешептываются перед зеркалами они, углубляющими комнаты.

После бессонницы набит мой пустой затылок, как у деревянной обезьяны, и схвачен крепко с другими предметами вращающегося земного полушария. Вхожу я в комнату и попираю ногами постель. Заглядываю за гладкую и зеркальную спину, и на меня глядит вошедшее в комнату время. Чтобы увидеться с ним, прихожу я в эту квартиру с измалеванной красками дверью. Ругается старая ключница, она же, за неимением оной, хозяйка, и выпинывает мою голову за дверь, и она катится по лестницам под лай семи собак безумной собачницы и валяется в помоях.

Закатываюсь на крышу, прыгаю на верхний балкон. Я один в комнате, где зеркала и время, сладкая тоска вора. Уверенная почему-то, что я там, входит хозяйка, бледные руки, бледное лицо, черные тени, ни кровинки на лице, хочется убить, чтобы осталось что-то одно, неубиваемое, сладкие речи, белые обмороки, короткие встречи, долгие проводы.

Два года прошло. В руках моих только карточка, на которой актёр, который видел здесь, в этой комнате, многих мужчин. И вот он подмигивает мне и говорит — иди в ту квартиру, в ту комнату, где зеленый сумрак, зеркала и говорящие животные. И иду я, и хочу вернуть будущее, и вхожу я двенадцатым в эту комнату, и вот раскрывается она и катится, как голова, по девяти дорогам, сорока аллеям, и докатывается до красного магазина. Везде теперь эта комната, где я, но уже не я, а бес, привлеченный гаданием, и всё, и дома, и земля, и прах, и трава, и машины, и проплешины, и, и, делает солнышко, делает колесо и при этом до бесконечности совокупляется. Потому что хозяйка моя — богиня секса или, за неимением оной, его жрица, живой автомат. Но с детства чудилось мне, что в слове секс скрыто слово секунда. И за эту секунду, не успел я даже подумать, всё со скрежетом кувыркается в преисподнюю, а меня выбрасывает голым в лужу помоев, а вокруг стоят веселые поселяне и хохочут надо мной во все горло. И, потерев помоями с песком

плешь свою, приподымаюсь я и обращаюсь к ним с такими речами:

Некоторые видят сны самые яркие, уста имеют самые сахарные, едят яства самые сладкие, плоды самые спелые, спят на самых мягких перинах и речи ведут самые дерзкие. Старух шлют на перекрестки за дьяволом, а сами натираются маслом и воскуривают курения. Надевают на шею вместо золотого крестика ладонь с глазастой звездой и воздрачиваются в ожидании прихода гостя дорогого. Дни проводят в глубоком сне, а ночью бодрствуют, а дням теряют счет.

И, сивиллиной мудростью язык свой изострив, к старости всем косточки моют, память потеряв, а совесть продав. И страха не имеют ни перед геенной огненной, ни перед смертью с косой, ни пред позором публичным. И раскрывают рты свои, точно пизда говорливая, и хулят весь белый свет, особливо мужей самых достойных, девушек самых чистых и матрон самых верных.

Другие же, слов сказать не умея, не вовсе в ложе своем помещаются, тряпицей одной тело укрывают от срама, и идут на голоса Сирен, и о себе забыв, и о вони своей, и верят каждому печатному слову в книге света, как дети беспечные, как старцы беззубые, и пускаются во все тяжкие, скорбный путь матери нашей повторяя в ее падении, и, в кротости ей угождая, дурацтво обманутое одно лишь показывают, не зная ни чисел больших, ни пропасти, над которой ногу заносят, ни песен ангельских, в которых оплаканы, ни ума обезьяньего и поражательного, ни стила писцов, которое одно только и выводит их имена, в руке фараона на дне склянки мерной лишь пузыриками испаряющиеся, и во вздохах Озириса воскресшего лишь примешанной пылью бывшие.

И, услыхав свои слова, добрые и веселые поселяне замолкают вдруг озадаченно, а потом, сообразив, пиздят меня ногами до полусмерти, так что забываю я и о времени, и о себе, а уж о сексе никогда больше не вспомню.

ЦЫГАНОЧКА

Кирилл некоторое время не спал, просто не мог заснуть, или не просто, в общем, бессонницы его длились неделями. Зато когда он, наконец, засыпал, ему виделись чудные сны. Он был глух на одно ухо. В детстве, купаясь в море, соленая вода с водорослями образовали там небольшую пробку. Море было Черным, как и кожа его и его семьи: бабушки, отца, матери и двух сестер. Все они были смуглы, потому что приехали когда-то с Адриатики, из Италии. Рассказывали, что прадед его держал во Флоренции типографию, а потом, вскоре после приезда нескольких художников из России, которые ездили в Рим и Флоренцию учиться по работам Джиотто и Рафаэля, перебрался в Россию, где устроился в одну из газет тем, кого обычно называют бумагомарателями. Марал он черной типографской краской — сделанной из черных, как кровь, италианских чернил — страницы небольшого петербургского журнала «Наш современник».

Купался наш Кирилл в Черном море в городе Сочи, где адлерские часы останавливают знойное солнце, томительно спят. Часы-то спят, спят-поспят, а друг наш вот долго не мог заснуть, слишком впечатлительный был он, тогда мальчик, черномазый лягушонок, нильский заморыш. В детском саду его сильно притесняли две грузные белые девочки, такие толстые и дебелые, с коленками, как два мешка сахару. Но детский сад начинался только осенью, и тогда воспиталка, которая сильно его любила, брала с собой мальчика незадолго до прихода родителей в магазин, где выбирала себе платья и примеряла их. Но это было далеко теперь, когда на Черном море в двадцатиметровых волнах купался он, загорал, бросал блинчики и рассматривал курортников в панамках на шезлонгах, девчонок в желтых и синих закрытых купальниках, таких же тощих и слабогрудых, и их счастливых и больших матерей.

В Сочи был он с отцом, и, вот беда, отец вышел за газетой, нужно было подъехать одну остановку, и в автобусе цыганка вытащила у него кошелек, где были все деньги на всю поездку, а жить оставалось в городе еще неделю. Спрятала в пеструю юбку и исчезла, поскольку цыганки исчезают молниеносно, вот ее бледное личико мелькнет, улыбнется вам, подмигнет, и уже скроется она на вершине лестницы, куда слетаются ее подружки, товарки этого веселого индийского, как вишневый сок, племени, и исчезнет в толпе. Отец, однако, не растерялся и погнал-

ся за воровкой, думая настигнуть ее, то ли хитростью, то ли умыслом, — не рассудок, так бес! Отобрать у нее то, что просил у него сын, а именно: абрикосы и базарные фрукты, белые модели аэропланов и, главное, фотоаппарат Киев-автомат, маленькую украинскую черную камеру для мгновенной фотографии, которые дома с сестрой они бы напечатали в темной комнате, завесив окно черным в красный квадрат одеялом, и потом показывали бы друзьям. Фотокамеру они как раз сегодня собирались купить…

И, надо же, так случилось, что сгустились уже ранние южные сумерки, и мальчик наш лягушонок, видя, что отца нет, сообразил, что нужно возвращаться в гостиницу, благо до нее недалеко было, скоренько оделся и в мокрой одежде побрел. А прямо за пляжем торчала старая сухая ветла, от обгоревшей молнии, и вот залюбовался мальчик, как села на нее птичка-голубка, и подошел ближе, и сам не заметил, как оказался в деревне в сумерках, и выбежала на двор страшная черная собака и залаяла на него, и вышла из избушки белая почему-то и не загорелая женщина, и сказала: поздно уже, милок, гулять, оставайся ночевать почивать, а папу твоего мы завтра найдем.

И остался мальчик спать на белой печке — зимой здесь сыро, и приходилось топить, и разыгралась ночью на небе страшная гроза, и молнии били, и собака черная все лаяла, лаяла. Тревожно было Кириллу-лягушонку, вылез он на чердак и стал смотреть, как бились синие и трепетали зеленые молнии, и как море шло на штурм волнорезов, дерущих горло страшным криком мальчика Кирилла, поскольку молния ударила прямо в громоотвод домика, на чердаке которого он стоял и глядел в черную ночь.

9 МАЯ

«Квартиру в Риге отдали старым владельцам. Отец давно расстался с нами, а отчим, Путаник-Глебов, посмеялся, предложив матери быть ее сутенером. Учеба моя в техникуме была не закончена, но начатками программирования я овладел. Оказались мы в Петербурге, и расстались мы с милой матерью моей в слезах, оплакивая нашу сирую участь, решая выбираться поодиночке. Неделю я побродяжил по городу, спал на скамейках, благо было лето, а потом приблудился в одно общежитие, где дали мне постой. По объявлению нашел я работу в типографии, где научили меня компьютерной верстке, а разноске бумаги с двенадцатого этажа на первый сам я научился. Работал я по двенадцать часов в день и получал за это 150 долларов в рублях. Потом получил я заказ от одного банка на создание сложной программы для их черно-белой финансовой ведомости, и справился с этим делом хорошо, но они, памятуя о семитской вежливости своей, заплатили мне только 18-го августа 1998 года, уже по новому курсу. Как раз в этот день предложил мне комендант общежития переехать с пятого на первый этаж. И на следующий же день новые соседи мои, оказавшиеся наркоманами, ограбили и жестоко избили меня.

Спустя две недели отправился я на новую работу, стараясь проходить по освещенной стороне улицы, раз уж нельзя было в светлое время дня. Яркие огни тревожно плыли по дорожной воде, и казалось, что это я плыву и только голова моя торчит. Действительно, я приближался к Неве, и с острова входил в мою бедную голову немыслимый по протяженности квадрат тюрьмы, и каждый следующий шаг привязывал к щиколотке гирю. Сквозь глухой кирпич, казалось, слышны были крики, и в окна взмывали руки избиваемых. Тяжелая ртуть наваливалась в руки, и даже камни не могли поднять лиц к солнцу.

Не так давно мне рассказывали, как однажды на том берегу реки собралась небольшая компания, распустила в воздухе синие воздушные шарики и, таинственно жестикулируя, благостный белобородый старичок, ее предводитель, покачиваясь на ниточках ножек, сообщил девушке из другого города, что они собрались здесь для презабавной и интересной экскурсии, а посвященные молодые естествоиспытатели, посмеиваясь, молчали. И прямиком направились в эту тюрьму, где впечатлительная девушка увидела Настоящих заключенных, но не могла поверить, до того казалось ей, что это для нее все специаль-

но разыграно, и потом на сто раз рассказывала это всем своим подружкам.

Меня только один вид валявшихся во множестве по дороге скатанных белых шариков, утяжеленных хлебными катышами, которые зэки выстреливали из оконец, приводил в такое уныние, что хотелось плакать горько, да не было слез. Но проходил я, минуя это тянущееся целую американскую милю исправительное учреждение, проходил и вскоре попадал на работу в офис. Но время шло, а зарплаты все не было, и выгнали, наконец, и из общежития.

Наступил конец сентября, быстрые тучи беззвучно летели и сеяли сумрак. Мерзнул я на лавочке, и подумывал уже отдаться кому-нибудь в рабство, ибо мое воспитание не позволяло мне даже подумать о воровстве. И вот утречком обнаруживаю себя на голубой скамейке перед домом, с ломотой в костях и голодом в желудке, а надо мной склоняется бритый старичок со сверкающими молодыми глазами, и манит к себе, и обращается ко мне с такими словами:

— Молодой человек, второй раз уже вас здесь замечаю, вижу бедственное положение ваше, не хотите ли подработать за кров и харчи?

Пришлось соглашаться. Поднялись и увидали мы в квартирке комнатку, лесенку и чердачок. В комнате были разложены в строгом, как солдатики, порядке идолы для ритуалов всех национальностей, погребальные принадлежности, завешенные зеркала и открытые окна. При разговоре дяденька оказался безумным врачом, потерявшим ногу — сразу от голода и усталости я не заметил, — открывшим клинику метемпсихоза. Загорелый старикан помогал нуждающимся отправляться в тот скорбный путь к загробному миру, куда я, казалось, и двигался. Специальным разговором заговорщицкий дядян облегчал страдания душам, отправившимся на тот свет.

За ужином, или обедом, не помню, Дядян сказал мне, что ему нужен помощник в этом трудном его деле. Иди, поспи пока.

Я поднялся по лесенке на чердачок и заснул. И где-то под утро провалился в такой сон. Девушка, которая ждала меня в городе Винограде, писала мне письма и присылала смешные фотографии, ласково ласкательно желая, чтобы у нее был ребенок со мной, приснилась мне. Вижу дальше, приходят два человека и уводят ее под белы рученьки, всю в фенечках и счастливых слезах, и тут же одновременно приводят мне другую — вместо той, высокой — маленькую, кудрявую и добрую, как

дочь. Вот теперь она вместо нее, говорят во сне. Проснулся я в комнате на чердачке и оглядел ее — там стояла большая тахта, столик, и стульчик, и маленькое окошко было. Выглянул из него — летят, вижу, голуби у Пяти углов. Спустился, позавтракали со стариком. Говорю ему — надо мне бы курева купить. Он говорит: да, курить — дело благородное! Спускаюсь к киоску, прошел метров сорок, а там вижу женщину, отдаленно — вижу я плохо — напоминающую мою мать. Подходим друг к другу, и точно — мама родная моя! После плача и утешений говорит она мне, что заработала денег, занимаясь сайнтологией, сектанты ей помогли, и вот иди купи себе компьютер и снимем квартирку, будем жить. Но я ответил ей: мамо, ждет меня далекий город Виноград, уезжаю туда. Ну, я к тебе потом приеду.

Сел я в поезд с компьютером, выхожу в городе Винограде — а там еще надо спускаться по ступенькам на платформы, нет еще новшеств — шагнул, и вперед. Около полуночи. И встречают меня — та девушка, которую от меня во сне увели, и паренек в полосатой маечке и кудряш. И вдруг подходит к нам бомж и говорит: выпейте со мной. Черный бомж, с бородой, но без слюней, как в Москве. Я говорю: сегодня же девятое мая! И поцеловал его».

БИЙСКИЙ «ЛУЧ»

1.

Я проснулся рано, лег поздновато, потому обошлось без снов. Забыл выпить чаю даже, пошел за куревом, забыл и зажигалку, пришлось купить и ее. Встретил Витю, вчера он был неделю немыт, потерял мобильник, а сегодня побыл у девчонки и был чист. Он второй раз уже запоминал мой мобильник вчера «боинг тушка сорок семь», хотя давно было, в прошлый раз-то. Он пообещал рассказать мне про Гоа. Жекин друг туда тоже ездил, ходил, обернувшись, обернувшись в тряпицу. Он работает проводником.

Недавно спускался по лесенке, и малютка цыганочка с лицом энгельсяночки подарила взглядом. Но денег не попросила, даже руку поцеловать с земли не успела. Это на Восходе, на виноградной лесенке. На Восходе пивзавод был. Лемеш как-то зашел на завод и перепутал туалет с кабинетом директора, а его друг перепутал туалет с платяным шкафом, шифоньером, в своей квартире, да еще при матери. Видел и Лемеша у кафе Мечта, возле дома Эммы Моисеевны, пианистки из Дома офицеров, которую баба Зоя тайно крестила. Как там настройщик Герман и как там его сын аккордеонист?

Побежал к Паше. Поговорили с отцом его. Друзьям прощают, а родителям вот нет, сказал дядя Гена. Паша мамин сын, учительницы музыки, а Леон — папин, аккордеониста. Я, и то простил. Все таки Паша Димин, а я Филов. Шел Паша как-то в горах. Поднимался в тумане один. Нашел сорвавшегося поляка. Тот был мертвый человек. То, что он мертвый, а, к тому же, поляк, выяснилось, когда Паша вниз спустился в туман, а забрался уже до конца почти. Через час, когда Паша вновь поднялся наверх, он увидел, как отец его скачет, от земли до звезд подпрыгивает с другой стороны горы. Старшой мой сынок, сказал отец, мой сынок старшой. Обнялись, ну, проводник коня дальше повел с отцом, а Паша перевалил гору и там заночевал.

Настроить пообещал Павла отец мне фортепиано. Я туда шел когда, девушки в черном попадались все больше печальные, а обратно все в белом — это как к аэропорту идти вверх. А по той стороне, бибикая, таксисты проехали, трезвоня черным кортежем. Перешел опять под мостом с люками, да про Ленку все думал, забыл об энгельсяночке загадать. Перешел на ту сторону

на свою, у общественного каменного туалета, гранитно-булыжного, теперь там продукты.

А давеча, когда проходил по тоннелю по Линии, загадал. Тоннельное зрение развилось: далеко, кажется, идти, а идти-то три минуты. А раньше долго казалось. Часики быстро идут, а часы долго тянутся.

Солнце вышло, как перешел от туалета, тут и сон прошел. В автобусе кондуктор цыганил, жаркие женские тела, и женщина с розою на губе от ожога. Как у слонятки хобта. Только подошли, как Ленка вышла, красивая, поющая, побежали с Яшкой куда-то. Защемило от смеха ее, да еще на мамины пришоптывания ругался. Поехали на дачу. Говорили про собак. В доме черное колесико, да чайку попил, да полез на второй этаж сон дневной досматривать. Тахта, тети-Нюрин стол, все из фанерки. Тети-Галин табурет с кожей из «той, хорошей страны». Курить хочется, мотыльки, и лампа круглая горит. Славно, привольно. Да, в больнице были покрывала с улицы Энгельса.

2.

Ночь подошла, и спящий рыжий ребенок, переигравший в пионербол и перекупавшийся в заливе в Сосновке, разжег костер, и мы заговорили о том, как вернуть нам собаку. Я рассказал ему об Ахетатоне и о том, какие мы, Витим и Динго, — собаки.

Пили чай, и тетя рассказала, как забыла, что ее накрывал где-то над озером башлыком паренек, о котором она забыла, потому что не любила. А тот, кого любила, женился на ровеснице и уехал строить гидроэлектростанции.

Дядя Алик умер. Он жил в деревне, за аэропортом, возле кладбища, пил чи́фир и делал оптику, отвлекшись от торговли книгами. Но его интересовали только военные самолеты, поля времени и гитарная музыка.

Всю ночь я грезил о том, как мы разносили газеты в день сдачи марксовой экономики, как валялись в лесу пьяные, как не спал ночами и выпивал за 20 секунд бутылку портера, как Рец выходил из окна и стоял на козырьке совпартшколы, как я развязал драку с любимым другом, как Леха побрил голову, и я его не узнал, и как планировали вдоль улицы газеты, и как горели, как сгорел и старый дом наш, оставшийся только в гугле, как отец сонного ребенка стоял на пепелище, и как теперь все

хорошо. Тетя выбегала, как матрона, в ночнушке, и глаза, больные бессонницей, посверкивали.

Да, бессоннице я научился у Фила.

Утром познакомился с пожарником Вовкой, который спасал и восемь месяцев валялся в госпитале, обгоревший. Он шел на рыбалку и там помазал меня дегтем, рассказал про серку и чугунку и сказал, что просыпается с коровьим ревом. Я сказал ему в ответ, что моя гражданочка хорошая далеко и скорее напоминает божью коровку. Бийский «Луч» горек, а «Тамбовский вожак» сладок, товарищи-граждане.

РАССКАЗ СОБАКИ ВИТИМА

Вскоре после первого мая, когда зигзагообразными кусками сгорела земля и постройки на дачах (пожар начался от ворот промзоны, граничащей с кладбищем), и люди с ведрами и песком отбивали пламя до приезда пожарной команды, спасая плодовые деревья, которые зацвели на следующий день, отправился я в город Барнаул. Товарищи мои меня не встретили. Ночь я провел в городе, блуждая кругами под лай собак и встречая случайных спутников, заходя в казино, чтобы сдать памятные мне часы музыканта Андраде за сто рублей, там же оставил я и ключи в портфеле, танцевал на подиуме местного клуба Африка, но был согнан, а сандалии утопил в реке Обь, спускаясь с обрыва высотой с полет коршуна.

Столь негаданное мое появление здесь встревожило мою тетушку, которая и нашла меня босым и голодным, лежащим на тумбе недалеко от монумента славы героям на площади при вокзале в горизонтальном положении. Было жарко, и нас, Нежную скорую красную армию, в которую вошли я и моя тетушка, военный врач, посадили силы вокзальной милиции в маршрутку. В которой разговорились мы с двумя турецкими эфебами, один из которых был красив, как темная гроздь винограда, а второй был его стражем. Мы говорили о проблемах моей сестры молнии, секте асассинов и русских дервишах, отвлекшись от простой алгебры и мнимых чисел. На следующее утро я, пересилив снотворное и разбросав по квартире свою семью, посадил эфебов на поезд, и они пригласили меня и мою сестру-молнию по имени Джинния в Стамбул. Как только вышел я из маршрутки, все баскующие женщины окрасились для меня черным влечением кааба, и тетушка, прирожденная чеченка, была выдворена мной, поскольку столь нежна была ее кожа, столь жарко было ее тело и столь явственно ее воображение.

На следующий день я встретил гитариста В., который сказал мне, что остался только с гитарой и собакой и будет выступать в военном оркестре.

И вот прошло две недели отнюдь не буколического сна, как очутился я дома и получил долгожданный telephone call from Histanbull, однако вместо того чтобы преодолеть размолвку с моей сестрой, которую до восьми раз в день выходил встречать на двор к себе, направился я в клинику на дамбе, довольно большой плотине через Обское море, что ведет до Камня.

Там я увидел сквозь окошечко снующих людей, к которым вскоре и присоединился, оказавшись во второй палате. Все, что я там делал, почувствовав себя как дома, так это пел и танцевал, за что ввергнут был в наблюдательную палату, караульную, где лежал визирь всего гарема больницы. Желак, так его звали. Он носил на голове повязку, спал, просил сладкого и сбивал с ног попавших сюда в бега воров, разбойников, умалишенных. Там же я подружился с Евгеном, с которым мы провели много забавного времени. От него я узнал, что, скитаясь со старшим братом, он в драке был облит бензином, за драку уже в тюрьме сломали ему ключицу, а когда хозяйка (так именуют веревку) оборвалась, он увидел вокруг себя четверых милиционеров и в черном бреду пробыл четыре дня, пока его не перевели в эту больницу.

Там же в караульной палате находился еще вор-отказник, с двумя клеймами под мышками, по имени Володя, он отказывался работать на тюрьме и сидел в этой, позволю сказать, санатории тоже около 10-ти лет. Он ходил в черной куртке и жаловался на то, что ему не хватало черного пистолета. В санатории категорически не хватало табака и чая, и красивый Цыган Николай Иванович мыл, похожий на гимнаста Тибула, полы в караульной палате. Там же оказались живой труп, который чуть не зашиб врача табуреткой, классификатор — записывающий шифром свои истории, — оклеветанный в изнасиловании матери пожиратель бычков и токсикоман. И старик, говоривший причудливыми рифмами, а также майор милиции, забывавший свою койку, но помнящий о еде и о пении старых певцов.

Выход из палаты охраняли ногой Желак и санитар Вася, и выход имелся только до киосочка с таблетками, туалета и столовой, где кормили вкусно и сытно. В туалете помещалось два амвона с поручнями и унитаз, на котором курили, как и на скамейках, показывая черные и белые гениталии, дрались и ели нефиля.

В один из светлых полдников подошел человек, читавший утешение по православного календарю из апостола Павла, после чего старик, говоривший присказками, возвращаясь в палату, раб божий Владимир, 27 лет не бывший в больнице, скончался, подавившись булочкой, от эпилептического припадка. Мы его оплакали, а затем меня перевели в палату Холл санатории, где лежало около 30-ти человек и все кашляли, поскольку приму делили на общак.

Там оказался кларнетист, прокручивающий дела с ворами в законе, его друг Сережа, цыганский барон, цыган Николай Иванович, красиво смотрящийся в зеркало, человек-ослик, говоривший фуфу и туту, и безбровый немецкий зайчик. Солнце по вечерам било в окно, и вскоре кларнетиста, который собрался строить храм и говорил, что задавил сатану и что во сне ему явился Христос, выписали. Перед этим он обмолвился, что бог создал вора, а дьявол — прокурора. Нежные и томительные русские песни о больной матери, к которой возвращается вместо сына отец, пели всей палатой, переписывая слова друга у друга, пели все — и Евген, и Ленин, от которого ушла жена Юля и вместо которой он найдет себе жену из фильма «Вылет задерживается», ну, что еще сказать. Томление душевное, неописуемое страдание о далекой Костроме, самом страшном лагере психов, для которых скоро наступит амнистия, по обещанию государя, вынули меня из этой темницы с двором, где гуляли собаки и старушки, цвели газоны и все, казалось бы, так, что Массих аль Джилал, разрубленный пополам, не снес первомайским пламенем с воем всех золотых иконостасов, и новые воины ислама, черный от курева и бледный от никотина ребенок, не подняли нового зеленого знамени. Да хранит Вас Аллах, всемилостивый и милосердный, а я, свободный, но под домашним арестом, жду, что скажет в ответ мне сестра-молния, что скажет сестра-молния отряду бойцов за нетленную плоть, либо стану человеком с гитарой, расстроенным пианино и без собаки моей индинго.

НОВЫЙ ТАБАК

Сложил папиросы и, достав одну, закурил ее. Стал смотреть на ночные огни, и потихоньку собирал дедовский чемодан, черный, тяжелый, из дверцы которого, кажется, появился на свет. Лампочка горела в окне. Чемодан поместился на кухонный стол. Туда поместил шахматные часы, срубленные флажки которых висели, а механизм правой половины засорился и сломался.

Постепенно, может, от чайных паров, а, может, от мечтания, пока ночь глядела в окно, продираясь лапами сквозь чащи дыма и света, голова его и рука стали рукой, протягивающей собачью голову от подбородка, голову-лампу, источающую бессмысленный свет бормотания. Да, он словно бы забормотал, и на экране, что был за лампою-головой, стали проходить белесые отсветы дней, прошедших с начала прошлой недели, дней, ставших белыми, светлыми бессонными ночами, будто бы погрузившими фамильные чашки и зеркальце шкафа в прорубь, а платяной шифоньер поставивши на землю, выше подбородка, а потом уронивши плашмя, в выгребную высокую яму.

И вот, как в ряби, в воде потянулись прямо картины: купленный Агдам, дети, играющие в футбол, не хотевшие принимать, поход за аэропорт, где цыгане кладбищенские приняли, в волейбол, и мяч, бьющий в дерево-сосну, выше кладбища, ниже солнышка, и как потом закрылись ворота и подбежали собаки, и как протягивал к ним руки, и как глядел не на него, и не на вас, и не на нас самый старый пес, и как плакал, лакая воздух, и как под этим взглядом испарялась водка и сжиралась поминальная корка. И как шел потом через лес дурачком, глядя на нелетающие самолеты, и как перевернула волшебница на голове изумрудовое блюдо земли.

Выходил потом, покупал папиросы и шел, ожидая открытия главного гроба, ждал, когда вернется дед, и узнавал себя в нем, а в бабушке — смуглую тетку, и как горела ткань платьев от человеческого пота, и как горели глаза, и какие беседы бежали из оскверняющего рта, и что произносил, какой богородичный мат, вынимающий из могил. И как видел словно стремящиеся к нему тени, восставший хор, помрачающий в сумерках радостными, прорезавшимися глазками, от водки, от выпитой водки, легкие руки теней, что несли и ласково укатывали солнышко за горизонт, точно за шкаф, и надвигали ночное светило, тем-

ное, как чай, в котором воздевали темные горящие, плазменные, газовые руки.

И как укладывался на кровать, и глядел в окно без шторы, пока не начинали проступать очертания толпы домов, подходивших в старых пальто и кряжисто садившихся на ступени, и как в короткой вспышке сна слетал на него пресветлый образ волшебницы, с пением целующей в уста и распахивающей рубаху точно двумя ножницами острых крыл, вскрикивающей и улетавшей туда, за высокую гору.

Две недели в беспамятных сумерках, истончавших лица людей и женские фигуры, и лица наделявших трепетом воскресных платьев, нежностью, непереносимой, смертной и убийственной нежностью, которая могла бы исцелить все раны и оживить, вернуть из-за горы, из-за выгребной ямы, вынуть и поставить на место, такая нежность это была.

И вот собран чемодан и куплен билет, и невдомек ведь было, что не ждет тебя никакая волшебница на том конце городов-поездов, не вернется дед, и бабушка, а родителей видел в последний раз. Потому что нашли тебя у другого берега реки, на отмели, а чемодан так и остался стоять на мосту, с него, с этого моста и с этого чемодана и сбросился ты, думая вмиг перескочить, в мерцании спички и дымка папиросы, чье табачное дыхание ты думал вдунуть в малютку прабабку, бушменку, в глину и в прах, за горой и за ямой, в которой дымились платяные шкафы и ерзали черви.

И потом говорил почтенный ученый муж, переживший не только всех своих и твоих одноклассников, но и меня, и тебя, и Егора, рассказывая в Нью-Орлеане своей первой возлюбленной: «вот Витюхан, хороший был парень, пока не слетел со всех столбов», и выключил тем самым лампочку, что горела где-то на затылке, там, за высокой горой.

ЗНАМЕНКИ

Воздушные головы и плечи, отрада воздуха, когда они вышли искупанные, а до этого были по пояс в воде, купались в грозу, и молнии били по дальним радиусам, по дальным кругам, выбегали ошпаренными и шли по горячим тропинкам в горку, и жарились пятки, горели сандалии. Потом лес затопило водой, и торчали одинокие ветлы, и поплыли на лодке, отражаясь в воде, плеская веслом. И долго плыли, и заплыли так далеко, что не думали возвращаться.

И вышли из леса, и оказались на Золотой горке, а за ней были Знаменки. Знаменки — это было воскресенье. И дошли до избы, до белой хаты, и там встретила дородная женщина с черной сковородой, только что отошла от жаркой печи, сама в белом с черным сарафане и в платке шелковом. Остановились у нее, попили чайку. Оставайтесь у меня, попросила женщина, но они отказались и дальше пошли. Дальше начинались поля, ровные белые поля, оживленные деревцами.

Оказалось, что не поля только, а ровные квадраты воды. Сели в лодочку и поплыли, и плыли долго, да так и не доплыли, вернулись в Знаменки. Глядь, а Знаменок нет, нет и Золотой горки, нету солнышка, нету луны, нету понедельника, нету пятницы, нету полночи, нету полдня, а есть одно долгое пустое болотце. И заплакали на болотце, и обнаружили, что разучились говорить. И сидят надутые, немые. Не знают, сколько времени прошло.

Потерялись мы в лесу, думают. И нырнули в болотце, и плыли до самого дна, а дна нет, и нет воздуха. Все, утонули, думают, и легли на дно, и заснули. И увидели во сне светлый город, прозрачные улицы и веселых пляшущих негров. Негрушки, спрашивают, а где же Знаменки, где воскресенье, где солнышко? И отвечают негрушки — из далекой приехали вы страны, а здесь все люди полосатые носят штаны, и везде, вся земля — Знаменки, вся неделя — воскресенье, все звезды — солнышко, все — молоды, а далекая ваша страна слышали, говорят, потонула, потому что с нашего стола голода хватанула. Оставайтесь, живите, ходите свободно, нате, ешьте, пейте и все позабудьте плохое и злое, потому что есть три царства — медное, серебряное и золотое.

И подумали: вот они, Знаменки, вот оно, воскресение, не будем, решили, просыпаться обратно, никого не помнить решили, да забыть то, что было, и есть невозвратно, только вот забыть

поспешили. Там, в начале их сна, где далекая их страна, есть собачка Полкан, что осталась одна, лает, тявкает, плачет, никак не поймет, что значит, где же солнышко, где же луна, и Полкан тот один, думает, где его господин, лишь болотце и кладбище, на котором лежат все, кто в Знаменках спит, ничего не помнит, и собака им этого никогда не простит.

июнь—ноябрь 2008

— Мне сказали, что видели меня в Казани. Это, конечно, был не я! Оказалось потом, что в городе живет человек «твое лицо», мне сказали. Вчера он приснился мне. Он был такой прибитый к земле, так, что верх его торчал из земли, и он смотрел на меня. Были сумерки. Он смотрел так, как будто я — не-я. Он был моим грибом. Вместе мы занимались музыкой.

— Когда я выхожу на улицы нашего городка, я каждый день встречаю одних и тех же людей на одних и тех же местах. И они, кажется, тоже видят меня. Карандаши истончаются, десять пальчиков на руках тоже тонкие. Огрызки, выбитые зубы. И все равно не замечаешь, если кого-то не достанет. Потому что каждый день встречаешь. Сорок раз встретишь одного человека, как будто сорок человек, и даже на сороковой день не заметишь. А еще обязательно кого-то хоронят. Каждый день хоронят и на кладбище везут. В пенале для одного карандаша. Но сам на кладбище редко. Вот бы увидеть, как «твое лицо» в гробу лежит! Или хотя бы чтобы он тебя увидел. Да или познакомиться. Вдруг он старый, или нет, вру, вдруг он молодой! Тоже интересно.

— А я весь город объездил, чтобы всех-всех перевидать, каждый день бы ездил, и все таращился, все бы узнавал. И еще я сорок раз один раз ее встретил. Выглянул из окошка — вот она проходит на той стороне главной улицы. Побежал за ней, вот пошла другой стороной. И так однажды одновременно прошла.

— И я за ней трижды на площадь девятого мая сбегал. А там музыка играла, и я танцевал. Посреди главной площади танцевал. И каждый день заходил в кофейню шарообразную. Зайду, потопчусь, возьму «ведомости» — она там печатается, и убегу. И вот подхожу 9-го мая — сидит она у фонтана, только не она, а моложе, молодая совсем, жар-птица просто, и на меня глядит. И вдруг доносится смех — я ведь не подошел, а прямо так сбоку от фонтана — и мокрый весь. А ведь прямо на меня глядит. А ведь больше и не встретишь. Вот знаешь — здесь прошла, а ведь больше и не встретишь. Никогда не увидишь. Потому что толпа приезжих выносит тебя из метро, и все глядят на тебя. И узнаешь ведь. Как будто в первый раз. А потому что улетела она, и все сорок тысяч братьев ее, как сказал Шекспир, улетели. А когда не узнаешь, то под пол готов провалиться — не нравится ведь, что на тебя смотрят, разглядывают. Понаехали тут!

ЛЫЖИ
(С НОВЫМ ГОДОМ, ЛЕВ СЕМЕНОВИЧ)

Наш рассказ вполне серьозен,
Родилась в одном колхозе,
Расцвела подобно розе
Манечка

Поехал. Отправился я в отдаленную часть города (Есенина, кв. 184) за лыжами. Когда-то давно я там бывал, мне доводилось бывать там. Ехали тогда очень долго. Там жил старший мальчик Вова, он носил очки, он дружил со мной, дядя Семен и мама Вовы. Но тогда у него уже не было сестры, (имя я забыл) сбила машина. Тогда так и говорили, (не хочу вас обманывать) сбила машина. Самая длинная улица города (Бориса Богаткова), частный сектор. Вот девятиэтажка, дом-книга, дом-клюшка. Как я узнаю дом? Так не помню, увижу, тогда вспомню. Вот поворот, здесь сбила машина. Вот спуск по лесенке, вот первый этаж. Вот предбанник в девятиэтажке, здесь курит Вова. Вот квартира, там мы играли с Вовой и фотографировались, он обнимает меня, приобнял за плечо. Мама Вовы. Вова спит, но звонит будильник. Мама Вовы отдает лыжи. Дядя Семен умер в горах, за ним посылали вертолет.

Забираю лыжи. На улице стоит пять мужиков, они ругаются матом, (матерятся).

Поехал назад. Лыжи лесные, большие, не помещаются в автобус. Дядя Семен умер в горах. Не могу вспомнить имени, вспомнил фамилию, (Феофанов) умер, а последний день провел в лесу, собирая грибы. За час до работы. Они работали вместе, хоть ехать долго, (улица Богаткова) и никогда не опаздывали. Товарищ рассказывал, что его сосед тоже умер, когда поехал за грибами, но прямо в лесу (на грибах). Рассказывали, что когда видишь в последний раз, точно знаешь (когда вспоминаешь). Последний день. Некоторых видишь один только раз. Один лишь раз. Один лишь раз. Когда видишь второй раз, иногда как будто расстались вчера. (Д. А.) купил будильник (мне нужен будильник). Автобус.

В автобусе. Кружит по городу, едет по прямой. В городе комнаты, заглядывали в окна? Человек, стоящий у окна. Кружится квадрат (кровать). Был у Дани, спал на кровати его матери. Жи-

вем один раз. Один лишь раз. А Христос воскрес. Но все равно живем один раз. В автобусе. Четыре сидения на возвышении. Посчитай, один, два, три, четыре. И на них сидят. Никогда не видел, но сразу узнал. Хотя видел, два раза уже видел, другие, но все равно сразу узнал. Ну и хер с ним. Лыжи не помещаются. Вышел, приехал.

31-е, делать уборку. Квартира пуста. Мама в магазин пошла. Радио играет. «Едут, ищут, нет ответа, едут, едут, Маня, где ты, отыскали, ты ли это? Манечка».

Улица (Богаткова), остановка (Есенина), остановка (Доватора), там совсем с другими людьми, только переехали. Остановка (Дм. Донского), это как ехать «за аэропорт». Магазин «АЛПИ» (это фамилия). В автобусе. Девушка (кондуктор), с наступающим вас, третий раз сегодня с вами.

31 декабря 2007

Изготовился сосредоточенно бить в лицо. И ударил. Рука прошла мимо и утонула, слабая, как в дошедшей до глаз воде. Разминулись в этот раз кулак с головой.

А так приезжал поездами, выходил из вагона в кепке бейсбольной. Негритос негритосом, с челночными сумками, пересек всю страну, расстегнув нараспашку ворот. И шатучими руками с размаху упал. Помимо тебя! Это сделают помимо тебя.

А с шеи свесился обрывок веревки — рукав белозубых черепов бус, столобым движением одной головы, и скатерть смела чашки. Место себе на столе застолбил!

Так и укрылся в одеяло, угрызся в подушку зубами и спал на ногах стоймя. Долго будили меня! А загорелся пожаром второй этаж, так и угарного газа нам весело надышал. До потолка прыгал, отмывался водой, что по капельке внутрь. И сделал рыбу из капельниц, что болтается у него над рулем. И говорил отрывисто так, дерганый, как будто бы только сейчас надышался, хотя приехал уж почитай полгода назад.

И вывалился в сугроб, сапог торчит до сих пор, и шапку, и голову там бы оставил, как она, врач, педагог, что босая по снегу бегала, лечилась, физкультурная, как статуя голоногая. А елку так и не подожгли. С другом шли туда, сорвать Новый год, и спички уже подносили. Как газовый друг, вот исчез, а вместо друга сугроб, потонула в сугробе рука.

Садился после книжку читать, разламывая корешок, как, знаете, шпагу ломали над головой, накрыл лицо книгой и так спал. А только читать начинал, как понимал, что вот выросла макушка, и глаз на затылке хоть нет, но вот понимал, как только все прочитал, — что вот оно, коромысло окон и плеч унося, выходит, сбрасывая плащ и пальто, твое время, на оконечности вот он, затылок твой, а, верней, двойника, словно ладонью толкни его в лоб, упадет, а сам иди дальше, но страшно, что там, в этом дальше, с оглоблей и дышлом.

Увидел на площади падает замертво лошадь. Ребенком увидел, и вот теперь тяпкою лупит капустные головы, лупит свой огород — и в том утонул огороде.

Таким он приехал ко мне, угоревшим, бессонным, и нервы извел, как жену. И весь перрон перевернулся в глазах на четыре стороны, как бил поклоны, стуча своим лбом, об ковер-самолет. В кепке сидел, развернувши назад, а обувь, да, обувь, ботинки, те снял, в стороне, собачьими мордами взвыли.

Зашел в пустую он комнату мою, в голову мою бедовую, заложенную в ломбарде, пустую ужасную комнату, где из меня вышел весь страх. Страх ночи, убийства, мертвого тела, проводов мертвого тела, встреч друга живого. И хуяк! опрокинул стакан, и еще и еще. Что? — мою руки, да мои ли они, или это уж ноги мне моют? Таким был он — настоящий Джонни Мнемоник.

ОКНА, МЕНТЫ И ДВЕРИ

Мальчик стоял на двускатной крыше деревенского дома, на месте, где должен быть сказочный, леденцовый конек-петушок, и глядел в зеркало двора, как на глубокий и прозрачный пруд, и там отражалась высота, которой он не боялся. Ведь рядом, на крыльце, была мать и верная собака. На мальчика, сруб, крышу и двор наползала глубокая тень, хотя вовсю жарило вертикальное солнце.

Прошло десять, а, может, и двадцать лет. Он выбрался на уступ из окна совпартшколы и стоял там за углом стены, там, где падал снег, так, что из комнаты казалось, что его нет. Это была высокая мастерская, так что он забирался на высокую двухэтажную кровать без первого этажа и там обычно спал, так что вызывал удивление и смешок-испуг у тех, кто приходил утром — да, а ты уже здесь…

На скамейках у театра, на плешке, сидели в шляпах и пили «мартовское». Хотя был уже май и падали снежинки — в тот холодный и особенный весенний денек. Садились голуби на примороженные лужи, а они курили сигареты «Астор», которые потом продавать перестали.

Потом с картофельными рюкзаками тянулся люд в сторону рынка за трамвайной линией. И возле общежития в магазинчике продавали по дешевке просроченный портер. С рюкзаками ходили за ним, с рюкзаками. Затемняли комнату, включали пластинки, трубили в мегафон. А однажды боролись-дрались, и побили все стекла, а потом спал на стеклах железный человек. Спустились потом к Коле, этажом ниже. А когда вернулись — все побито, все разбросано, мыли и убирали все последнее воскресенье года.

Этих комнат знакомых, где спал, ел, где встречался, не перечесть. Но помнятся они, с темными тенями, со светлыми окнами. «Копты мне не снятся, не снятся Заир и Конго, снится мне старая квартира, окна, менты и двери», — писал он потом. И когда сидели в одной из комнат домов, которые эшелонами шли через память, он сказал — потянув руку вправо — здесь стена — но на самом деле нет этой стены. Пройди сквозь нее, и выйдешь в другом городе, незнакомым и новым человеком.

И когда виделись в последний раз, он улыбнулся смуглым лицом своим, с желтыми смоляными, как у индейца, зубами, а был в холщовых полосатых, самим их сшитых, штанах, которые янки носят, закрывая звездное небо, взял — и поцеловал в лоб.

После он уехал в Персию, и, да, видел его по телевизору — мелькнул в толпе, забившей до отказа площадь у мавзолея вождя исламской революции. И потом показали — на крыше дома стояла тень с автоматом, или как еще вы прикажете думать о смерти?

БУМАЖКА

В Баку, где моют лицо нефтью и ходят негром, на площади, окруженной приветливыми зданиями и новыми трубами, которые навели свои минаретные пушки в небо, Каспий мыл ноги Валентине, и она гуляла одна в свободной стране.

Трубили пароходы, которые шли в Персию и из Персии. В воздухе летали пери, ослепленные солнцем и падающие с Девичьей Башни. Они разбивались о землю, черную, как изумруд. Их встречали мужчины с железными цепями, которые били себя в грудь и надрезали лоб ударами сабель.

Старый город темнел домами, спрятав окна глаз во двор — на арабских глухих стенах гуляли двери из угла в угол, с первого этажа под крышу, из-под крыши в другой угол освещенного солнцем прямоугольника. Город лапами оврагов сбегал к морю, и Каспий бил его волнами по морде, как большого черного льва.

Там, где раньше мальчишки чистили сапоги, теперь сидели художники. Валя попросила портрет. Высокая белая красавица, с вишневыми глазами, в простом платье, с еще не проколотыми ушами, села на подставленный складной стул и грустила. Тонкая кисточка вывела цвета из красок, художник помогал грифелем. Истомилась на солнце. Расплатилась с художником. В отпуск приехали? Да, в отпуск.

Заглянула в сумочку, достала записку с адресом. Глянула на часы: пора. Спокойно пошла на вокзал, хотя ноги несли, и почти перешла на бег. Солнце закатывалось в глазах. Время тянулось — и пугало обманами просьб. Маета ожидания боролась с достоинством и тревогой. Он знала, что была честной. На нее заглядывались, но сразу же отворачивалась, в ошпаренном обмороке.

Прибыл заколоченный состав. Сердце зашлось, заколотилось. В стены вагона барабанили с той стороны, крупными градинами. Бросилась вместе с толпой других женщин и сунула портрет конвоиру. Поезд тронулся. Алеша, закричала она — и темная глазастая тень мелькнула в проеме задвинутой дверцы вагона.

НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО

Светлый был августовский денечек. Собрались в аэропорт городской моя прабабка-бушменка, моя тетушка-эфиопка, моя спящая наяву мама и бабушка моя черноголовая. Челку перекидывала одна, вторая пела, третья давала всем прикурить, а четвертая опаздывала на суточное дежурство в город Нижний Тагил.

Времени много было, разрезали дома арбуз, большим ножом раскололи его на две половины, а перед этим постукивали по нему гулко. Воскресный день был. Ровный свет падал на черные чемоданы, и была видна каждая буква на газете, которой били поганок-мух. Посидели на дорожку, да и пошли от площади пешком по тенистой тополевой аллее.

Весело идти вчетвером, а прощаться все равно в слезах, как тогда — в войну, когда не знали, свидятся ли. А шагать все равно вместе весело, и близорукой бабушке, и прабабке-курильщице, и томной и скорбной тете, и беспокойной сонной маме.

Вот белый шпиль городского аэропорта, видны белейшие самолеты, белее самого света, белее развешанных крахмальных простыней. И пух лежит ровным платком. Бабушка идет, приплясывает, прабабка пошла за папиросами, мама торопит, тетя спешит. Приходят, а часы забыли с утра завести. Приходят, вернее, даже прибежали, а на самолет опоздали.

Вокзал пустой. Взяли билет на другой самолет. Расстались с прабабушкой. А мама с бабушкой полетели вместе с тетей, потому как беспокоились за нее — как там она одна на дежурстве, как устроится, как квартира, как соседи.

Прилетели. И, не занося чемоданы, отправились в парк, чтобы воспитывать волю. Это значит — только смотреть на карусели, не покупать мороженого, прохаживаться весело и радоваться тому, что все люди братья. На черной голове белая косынка, в крокодильем портфеле врачебная трубка, на ногах сабо, и платье в горошек.

А на первом дежурстве бессонная лампа, темнота, порезы, ссадины, разбитые головы, реанимация, — все, что должно оставаться незримым для жителей хорошей страны. Бледная, бессонная Таня, бедовая голова, неделя пролетела. Мама и бабушка назад собрались.

Субботним утром, нежась под долгим утренним солнцем, нашла «вечерку». Пробежала, а там внизу маленький квадратик в черной рамке. Самолет, на котором они туда прилететь были должны, разбился, погибли все пассажиры.

АРБУЗНОЕ ТЕМЕЧКО

Это было время, когда в полдневные улицы, усеянные летящим и сгорающим тополиным пухом, белым, как снег, и ставшим большой подвенечной фатой новобрачных, высыпали десятки и сотни столетних старух, женщин без возраста, вдов, с белыми телами, грузных и с большими широкими лицами. Они управляли страной, властно отправляя своих детей, недоделанных сыновей с печальной судьбой стариков, в магазин за продуктами, индийским чаем и русской водкой, чтобы потом те могли сидеть на кухнях, прильнув ушами к радиоточкам. Это было мирное время с последней большой войной, про которую пели: «в Афганистане, в черном тюльпане».

Две женщины встретились на углу, затягиваясь беломоринами, постояли у хлебного. Одна носила платье и походкой старой цыганки гоняла воробьев. Большие выпуклые глаза ведьмы, насылающей на район бури, снег и град в первые числа июня, которых так боялись мальчишки, глядели косо.

Другая, достойнейшая августейшего рода, была в черном. С большой седой головой, полная жизнью простого быта — также переселенка из дальнего города, сегодня пришла за алтайским, маленьким, как затылок бутуза, арбузом, постукивала темечко. Она попросила папироску у первой.

Трубы текли, потолки осыпались, росли две дочери: первая — широколицая, молодая красавица, вздорно смеющаяся, и уже также курящая, направлявшая лодку своей жизни через Дунай, прекрасный и голубой, выросла большая и веселая, несмотря ни на что, ни на то, что пришлось мыть полы, ни на то, что пришлось наслушаться разговоров про распил головы.

Вторая — индеанка, любившая носить красный атлас платьев, и синий, и фиолетовый шелк, и сама, как швея. С умным взором двух глаз, с диковинами снов, где по радио транслировались голоса с того света, всех любимых и самых любимых людей. Первая никогда не готовила. Вторая выращивала на балконе помидоры, маленькие, красные и желтые, размером с крупную ягоду.

Была еще и сестра, но она уехала далеко. И теперь, уезжая в далекий город, одна надеялась вернуться с мужем, а вторая всегда возвращалась одна. И, пока матери стояли у хлебного, две подружки пришли в кухню квартиры с круглым или квадратным столом, и первая, с веселым смехом проглатывающая любую утрату и самую страшную скорбь, закурила сигарету с

ментолом и рассказала второй, что случилось с кем-то, кого она потеряла.

Он стоял перед комнатой, загороженной цепью в красном и черном чехле, как японские ножны, и за этой заградой виднелись стол, тахта и чайник, и краешек зеркала. Комната осталась в полностью перестроенном доме, и в этой комнате кто-то застрелился. И он понимал, что хочет войти в эту комнату, и сделай он так, ничего бы не произошло, лишь бы не наругали и не накричали. Но порог обозначал тот предел, который не преодолеешь, ведь эта была комната смерти. Невероятная сила прижала его стопы к земле, как будто бы вбила по шею в песок.

И мгновенная вспышка перебросила внутрь его тень, и он увидел свое отражение в зеркале, да теперь только двигались тени, а тела лежали ничком. Словно руки-стрелы часов, бродившие по кругу, побежали обратно, и только негрские негативы стали жить в газовом безвоздушном пространстве камеры.

И наша красавица поехала за ним, потому что больше не было писем, — куда пропал человек? — наводила справки, стала сестрой милосердия, стала монахиней, и долго тогда ехали поезда, и долго плыли пароходы, и много проплакано было глаз, и волосы утратили цвет.

А он лишь обернулся и, пристукнув пятками, вышел из теневого кабинета и оказался на ступеньках военного трибунала, молодым стариком, и спустился по лесенке и сфотографировался, а после поехал на пыльном «Лиазе», и вот вышел на Морском и подошел к хлебному, и первая старуха, ведьма, перекрестилась, а вторая выронила младенца-арбузика из неловких измученных рук.

ДВА РАССКАЗА ДМИТРИЯ ДАНИЛОВА

Вторую ночь подряд мне снится писатель Дмитрий Данилов, причем не сам по себе, не только сам по себе, но еще он пишет в моем сне рассказы. Один рассказ получился длиннее, а второй короче, но зато уже был опубликован. В книге Данилова Дом десять. Так как второй рассказ вышел покороче, а первый рассказывать дольше, я начну сразу же со второго рассказа. Я проснулся среди ночи и решил записать рассказы, потому что понял, что третьего рассказа могу и не выдержать. Не бывать ему, третьему рассказу, в моем сне.

Мне приснилось, что Дмитрий Данилов стоит у прилавка магазина Надежда — это старый магазин, я в нем бывал еще в детстве и помню всех продавцов, наверное, потому что в хлебном отделе — там раньше был хлебный отдел — работала мама моей одноклассницы кассиром. Последний раз я видел одноклассницу десять лет назад. Я выглянул в окно и увидел, что на другой стороне самой широкой нашей улицы — Красного проспекта — или, как говорит Николай Кононов, улицы Красной — лежит человек без движения. Я встревожился и тревожно прильнул к окну — подъехала скорая и подтвердила мои худшие опасения, то есть, приехала и уехала. Человек, значит, был настолько мертв, что его даже скорая не берет.

Я спустился по лестнице с пятого этажа, перешел дорогу и подбежал к лежащему человеку. Он оказался еще живым. Хорошо, подумал я, и догадался, что он просто пьян. Я поднял его, взвалил наполовину на себя и через полчаса дотащил до дому. Там я увидел свою одноклассницу, он оказался ее соседом, и мне сказали, что он выдумал все, что касалось его семьи, на которую жаловался, и посмеялись над моей сердобольностью. А теперь хлебный отдел, как таковой, закрылся, и большие вентиляторы под потолком больше не вращаются. Зато там продаются конфеты.

Именно за конфетами и пришел Дмитрий Данилов в магазин. Он собирался к своему другу и выбирал конфеты. Выбирал он их в вино-водочном только отделе — он попросил посмотреть пастилу двух цветов, красную и белую, а потом еще синюю. Затем Данилов, который держал эти пачки с пастилами, попросил еще ирисок. После ирисок он спросил про батончики, а затем —

сосательные конфеты и карамель. Все это горкой складывалось у него в руках. Затем Данилов сказал, обращаясь ко мне: спасибо, мне всего этого не надо, ничего не буду покупать. Тут появилась книжка Дом десять, и я закончил читать второй рассказ писателя Данилова и проснулся.

А в первом рассказе было следующее: Дмитрий Данилов отправился к другу в больницу — навестить — за город. Я присутствовал при этом — сели мы в электричку, которая ехала по автомобильной дороге. Хорошо было ехать — едем, едем, хорошо. Неожиданно перед Даниловым появляется его друг — прямо напротив нас, хотя он и лежит в больнице — лежит, а чувствует, по его собственным словам, хорошо. Тут в электричке появляется палата, в которой лежит друг, коридор и столик медсестры.

Потом электричка останавливается и мы оказываемся в дачах — возле реки. Солнечно, хорошо, свежо. И доходим до предпоследней грядки — то есть, Данилов доходит — и я дохожу, и при этом я только читаю рассказ Данилова — не из книжки Дом десять, а другой. И тут выбегает нам навстречу женщина — хозяйка огорода, которая корпит над ним, и ведра выносит. Тут мы проходим последнюю гряду, и нам становится ясно — потому что об этом громко объявляют в моем сознании — что умер Гурий, последний представитель федерации летчиков.

июнь—октябрь 2009

ОКТЯБРЬ. ДИСК

Бывают дни, когда солнце светит низко, нависая тяжким диском, как будто бы не закатится никогда. Люди словно погружены в приземистый сухой от сметенной раструбами листвы погреб. Кучки листвы поджигают на дне для просушки. Но кажется, что уже не все смогут выбраться наверх, дохнув веселого воздуха. А если кто и поднимется из такого колодца, то тут же грянется оземь.

В такой день встречались ему люди с запрокинутыми небу головами-солончаками, протянувшие лица солнцу, напоминающие обмылки статуй Пергамона, сумрачные и молчаливые, бормочущие о своей тени. И тогда он побежал с разбегу и перевернул пустую урну.

Бомжи, стоявшие вокруг, переглянулись и зарычали на него. Он пошел, озираясь назад, в сторону витрины магазина.

Помойки прели арбузным и яблочным мусором, и собаки грызли объедки. Они выбегали неизвестно откуда, едва опускались сумерки. Выбегали гуськом и стайкой на центральную площадь города, и нитка ядовитой слюны блестела у каждой. Но собаки боялись здесь нападать и только поскуливали.

В темноте от коричневатых фонарей начинали болеть и плохо видеть глаза, и надписи названий контор и магазинов читались хуже и по слогам. Они казались такими, словно видишь их в первый раз.

А все потому, что обмыл губы от белены, смыл уксусом пену у рта.

Когда-то он увидел мусорный бакен, из которого, как у акробатена, торчали ноги человека, которые казались похожими на руки в туфлях. Сделав кувырок, акробайтер выглянул из ящика. Веснусчато поморщился и сказал, сплюнув в сторону, — чего тебе надобно, старче?

Он передернулся, вздрогнув, и отошел.

Весь день он глядел словно через какую-то сетку, какие бывают в спортзалах и стелются по земле. Да, теперь мимо помойной ямы проехал городской голова и велел все убрать. Куда теперь тащить черное пианино, белую, а, вернее, желтую ванну и окна, старые, не раз выбитые окна? Откуда-то прибегали соседи из соседних домов и из этого, которые разводили цветники в автомобильных покрышках и считали, что мусор надо са-

мим пожирать, голосили как базарные бабы. Пока его не было, в квартиру вломился молодой когда-то, а теперь запасной, со второго этажа, и стал приказывать матери, чтобы она исползала весь подъезд, чтобы не осталось ни одной песчинки. В ответ на отказ, не на следующее утро, а так, денька через два-три, он толкнул мать, вернее, это сделала его маленькая задорная собачка. Мать упала в простенок, а он прошел, словно ничего не заметив, на свой второй этаж, нацепив кепку.

Через неделю, а то и через месяц, когда во двор столпилось собрание, организованное как встреча с депутатом-коммунистом, мать сказала собачатнику: я упала. Он сказал: а я знаю.

На пятый день позвонил человек, с которым ехали в поезде. Он сказал тогда, что запоминает тот момент, когда засыпает, а когда просыпается, говорит: здравствуй мир, здравствуй солнце!

Когда я открывал глаза, то уже видел его лицо и улыбку, но понимал, что только выскочу из вагона, как опрометью убегу и надолго об этом забуду.

Он был весь, как чайная упаковка, с челноком швеи, ходячей дуги, как горячие утюги. Он показал свое ремесло — альбом из карельского ящичка, свой диплом строителя — как он строил в Хибинах дачные и утепленные домики, где можно угреться. Беломорину доставал и улыбался, улыбался, лучился, в то время как солнышко сучило ногами свет, прокатываясь колесом по деревьям, обдирая о кору голые коленки.

В училище он был борцом самбо и участвовал в чемпионате Алма-Аты. Первенствовать должен был туземец-китобоец. И вот они стоят в раздевалке и договариваются, как показать настоящую борьбу, чтоб зрители увидели нерв захвата. Вот они покурили и отправились борцевать.

В Омске сатаноид-состав остановился. Я быстро побежал в город, где тетушка Таня кормила меня на скорую руку, и мы просмотрели проспект дореволюционной чахоточной девы — Лидочки, которая словно ходит по этой Лидовке сует и тягот.

Вагон отцепляли, и бежать в уборную до вокзала, и не потерять вагон пришлось ему, путешественнику с Карельского перешейка, и дать деру в Находку. На Московском вокзале все деньги отобрали менты. В Новосибирске проездом к родне, помогать крыть кровлю и ставить печку, за это ему заплатили пять тысяч.

Пять дней его не было. Но он запомнил адрес и объявился утром в полвосьмого, едва мама успела уйти на работу. Позво-

нил, и я подскочил, как вся совейская земля. Мы спустились в утренний магазин. Он купил поллитру Дербента, рассматривая туфли, гарнцы и танкетки — сияло дневное солнышко, обеляя лица белым светом от самых ботинок.

И в квартире моей он сидит, как вырубленный из дерева глазастый смолистый и никотиновый идол.

Миропониманием я интересуюсь, начал он, оглядев книги. И процедил заголовок «Спи-но-за» — намять бы ему спину. Жене с детьми посылал деньги в Находку. Думал уже расставаться, пока были деньги, чуть всю Москву не скупили, в мехах ходила, шоколад жрала, а как дальше, говорить сквозь зубы начала. Все мать — ну, она знахарка у ней была. Мне вот сращивала линию жизни — у меня разорвана была — я горел огнем. Не ходи, говорит, убьют тебя тогда-то. Послушал и в тот день не поехал туда, а там убили моего друга. А она знала день, час и описала место.

А в Находке я был бандюком. Сейчас мне есть там работа — открылась должность, буду менеджером. А тогда — был бандюком.

Раз подрался наш один с чертом. Ночью в субботу поехали на кладбище — мы все без оружия, как уговорено. А они с калашами. Отдайте нам его, говорят, а то здесь останетесь. Они резали и били его, и через полчаса бросили нам. Повезли к маме. Как она горела вся, но выходила, выправила, словно жар вместо крови утекшей в жилы напустила.

А умирала как тяжело и страшно! Словно вошли в нее все болезни, тех, которых когда-то с того света вернула. Сгорела, как свечка, и вся почернела. Да, в Находке я был бандюком.

Я отправился провожать его на вокзал, октябрьский день бил посуду солнц. В гостинице вокзальной, свесившись с яруса в зал ожидания, он бросил сумку в номер, в светлую комнату с цветными подушками.

Когда спустились на площадь, двинулся к палатке с пивом, где сразу нашел себе новых знакомых. Да, и сразу часы переставил. Звали его Валентин.

Больше мы не виделись. Он сказал: приезжай, я тебе оплачу половину дороги — так впустить человека с поезда к себе в дом. Обычно поговорили, пошептались и разбежались. На вот возьми амулет — на нем две стрелы вверх и вниз — полное горение называется, рвет на части, но целым будешь.

Я возвращался назад, деревья вздыбились, как бывшие люди. Я уже не помнил себя и видел гурты домов и телег, в тяжелых шинелях, тревожно косящихся на мечущийся в небе диск.

ЧЕРНЫЙ ЛЕКАРЬ

Казематы ночи упали высоко. Мороз бил лицо. Вызывающее лицо. Забирались на крышу в эти дни и дежурили у антенны. И по короткой черной липовой аллее ходили и думали о Кассиопее. Глотали вино «черный лекарь» — что-то вроде кагора наоборот. И всегда золотились фонарики, и на ногах катались с большой горки, которая перегораживала улицу. Приезжали сестры и большие — девушки старших классов и начальных училищ казались волшебницами. И жрали мандарины.

Мандариновый запах неспавшего двое суток, немытого, тоже знаком. Вот он, почти бредя, проносится вихрем, озаряемый огнями помоек. Но бросится на него маленький лев и сожрет целиком.

Но то — летом, и я не об этом.

Бессонные первые три ночи нового года, омытого с ног до головы тела, сменялись синими, как полог, днями в ожидании рождества, где также ждут волшебства. Вакации заканчивались для многих обмерзанием в сугробе, одурью драк в центре города, куда приезжали первомайские гости. Они падали ровными тенями и волокли кого-то за ноги, сбив с этих ног. Головы их трещали от кумаров и одеревеневших бинтов. Они проносились беспокойно свитой ночного Эллекена, озаряемые луной по небу, а здесь были только их бредущие тени — бессмысленных чертей и бойцов. Русь — ты разбитый нос на морозе.

Один из таких был богородичным фашистом. Он завесил всю стену цветным и синим полотнищем всех святых. Он был избит твоим другом в парке у «Спартака». Остается только давить огарки, гасить гнев и не выходить из себя.

В один из таких дней первой недели нового года очнулся в квартире горделивой и сердобольной Августы, пригревшей его, каныга. Мать выгнала его из дома, рассказывали так. Она сама была ученая, а сын все время пил и уже ничего не понимал. 6-го пришли люди, рассказывал присутствовавший. И сказали, как с арестом. Собирайся. И конвоировали на улицу. Иначе всех бы их перебили.

Ударил мороз сорок градусов — еще до Крещения было. Его нашли замерзшим на станции.

Отец хозяйки распорядился оплатить похороны. Еще через год и неделю он лег в больницу с грыжей и умер от разрыва сердца, потому что был грузен и привык ходить, а не лежать.

Отец дочери был памятлив, смел и силен. Когда-то, связавшись и поссорившись с кем-то в нечестной драке двое на одного, он потом ходил и мстил. Подкарауливал в подъезде и бил, но не до смерти. Если бы он прочитал эти строки, то убил бы меня на месте.

Я мало знал его, но по закаленной неистовой воле он напоминал другого, живого человека.

Тот однажды двое суток убегал в тайге от пожара. Пот не хлестал, а сразу засыхал и испарялся. На второй день, добежав до излучины, они перебрались через большую реку.

Он пережил падение с вертолета с обломанным хвостом. Все переломанные, они были спасены лишь искусством волевого летчика.

Однажды в лесу ему довелось ночевать в лабазе, в котором, отоспавшись и поев вволю, он обнаружил под собой полуистлевшие волосы и скелет эвенкийской женщины. В Финляндии сказали бы, что поел похлебки из Похъелы. То же самое могло быть и с Виталием Луневым, но его не стало.

Я знал других людей, делающих себе жизнь, живших в комнатах, совершавших дальние поездки, их обрядовый строй. В изданных ими книгах можно подробно прочитать о том, как они просыпались, как шли на работу, как выпивали с сахаром утренний чай. Что ели днем и о чем вели беседы. Как они возили снопы книг по всей стране, управляли неводами книжной торговли, чтобы затем описать все эти высившиеся библиотечные полки в огромном здании, вбитом на четыре этажа в землю.

Из окон открывался вид на падающий распадком район, долину реки Каменки, футбольные поля и развязки — дома швейников и чекистов, приземистые клубы и краюхи.

Одного из них я встретил последний раз бредущим с женой через солнце и ветер. Пошел слепой дождь, и у нее промокла шляпка по старинной моде. Он шел углом и косяком мимо паперти церкви и голубых елей, в сквере нарыма, где установлены монументы жертвам атомных катастроф и репрессий. Там, где солнечная поляна и квадрат на асфальте остаются такими же, как и двадцать лет назад, и пребудут такими даже при неимоверном развороте светил.

Он любил говорить одну фразу с русским, а вторую — с грузинским акцентом. Он так и остался бухгалтером вымершей отрасли телеграфных каталогов. Собрал компанию военруков и армейских чинов, которые составляли не списки погибших и

описание воинских кладбищ, а длинные монографии о «науке побеждать». Непримиримая воля его, переходившего на крик, когда он приходил и опровергал собой твое существование, до сих пор планирует и оставляет вырванный столб в просторных коридорах крепости чтения. Когда меня спросили, какие библиотеки я знаю, а это был вопрос на экзамене. Ты всю жизнь должен готовиться к экзамену, а я его провалил, ответив — знаю библиотеку для слепых.

Спускаясь в глубокий погреб архива, я сумел прочитать не только описание того, как жили писатели и ученые, как они ели и о чем разговаривали — все это было и будет в журналах. Нет, в документах, вынутых из-под земли, были одни доносы, за которыми эхом — расстрел.

Он умер прямо на кафедре, во время своего доклада в Якутске — от инфаркта миокарда.

МНЕЖАРКО И ПОПИВАСИКУ

Сторожка была возле девятиэтажки напротив Епархии. Последний этаж был для плясок окурушей. Во время одной из подтанцовок Пурушу чуть не раздвоил мне лоб своим — лишь бы не существовало Максима, которого я позже многократно встречал живым. Необретенная любовь недобро посматривала. Позже он взял свое. Пожарный мундир на нем помогал ловить воров, грабивших старое здание. Однажды люди, сходившие на автобус толпой, прошли в толчее по нему, сломали мизинец, который торчал косо. На нем был перстень древнего царства, но он потерялся, пока Дэнище и Вовка тащили его домой. В ту ночь возле муравейника выпили две батареи портвеша.

Мнежарко под чужим именем сторожил сторожку стройки, ночуя в вагончике. Он все это видел. Демон плодородия аккомпанировал на арфе-самоделке — обломке рояля, воспевая любовные подвиги Пуруши. Больше они не видались. Мы понимали, что бить человека по лицу нельзя.

Мнежарко и Попивасику побратались позже. А тогда пришел пьяный и будоражный Витюша. Он сказал: у Андрея Белого был брат, и он его бил, бил, бил, ясно тебе? И через полчаса, сходив за чаем, повторил: у Валерия Брюсова был брат, и он его бил, бил, бил, ясно тебе? — хочешь докажу — вот печать и роспись.

Мнежарко ставил печати, измазав все пальцы на военной синекуре в округе. Мы с Пурушей пришли к нему в дом, а с Леонидом были и в музыкальном полку, где они щелкали затвором бильярд.

Мы с Пурушей принесли Мнежарко табак Золотое руно — лучшее, что у нас было — в подарок. Но он встретил нас у родителей Прохладно. Кот Фагоцит, который ел приму и еще не разбился, воротил нос. Мы ушли.

С Краучем покостыляли в Трубу, встретив Дису и Мясо (ты Мясо знаешь?). Диса нас отмазал от Мнежарко. Я в первый и последний раз видел Мнежарко в форме, но не при параде. Вы к кому, спросил черноголовый мужик на входе. Мы к Алику. Алик — это я, ответил он.

Мнежарко ворвался к Алику с наганом, так что у того закоротило проводку. Это был последний день подпольного клуба Труба. Сейчас он белый. Но нас по-прежнему туда не пускают.

ЧАГА НЕ СПАСЕТ

Индийские слоны в зоосаде, в незлой осаде гуляют свободно, и жирафки выходят из мусульманских ворот с четырьмя башенками. Желтый сухой лист спланировал, но не рассек лицо. Я видел блудницу ислама с очами зебры, она смотрела на меня подражательно персидских сцен до пленения. Вместо планетария был аквариум — акула, а, может, касатка, размером с большую собаку, плавала там. Плауны-борщевики торчали сухими тычинами, и белый мрамор, а, может, гранит догонял на станции абаканской сон. Глубоко выкупанная сестра разжала на джезве комнатный страх, как цветок папоротника, и в пляске на меня обернулась. Авиатор планировал руками. Мы не знали друг друга, но виделись не в последнюю очередь. На Котовского, где обходили дома, рыгала Ирина. Ее маковка обломилась мне, она не успела успеть к поминкам тети Аллы. Даня, сожженный соломой туберкулезных больниц, и Алеша-чахоточный, сохранивший свое время и вес, подсаживал ребенка на парапет. Ебнется, будет идиотом, но не исключил и другой вариант. Чифиристы прогуливались, селяне пели несусветную глупость. Про постоянные часы, которые все же опаздывают — оставляя полчаса для прощания и встречи — единственное, что осталось от железных дорог, увозящих, навозящих людское бытье.

Я увидел его — укротителя Ариадны, гречанки и гречки, сектантки и сечки. Он обходил весь город, сжигая только последнюю газетку, которую разносил. Он знал всю божескую родословную, но не убивал Радомеса и радугу радуниц. Четыре склянки, четыре стражи минуло, прежде чем утром он явился, не запылился, умытый рассветной росой, повитый бесноватой лавровишней и чащобным мехом панов и вакханов. Он рассказал мне о туринском пианисте, который собирал хуйню против своего отца и делал все против своих ног.

Я ответил, что хозяюшка, ключница, пекарша не знала, как придать холодные ночи черному бакинскому зеркалу и болтливому плясуну нефти́, нафти, финифти и великосветских подушек. Лев умолк и вочеловечился в Роме.

Брошенный с башни лермонтенок-Делон не забывал о ней, которая не разбалтывала все о себе, про свой кошмарище и волевой перелом. Поделом. Он украл у меня из-под пятницы субботу, когда мои глаза не ведали ног, что вели.

В три печурки, воздевая руки огню, возводил хоровод и холод трупарни и венгерки, светлоголовых дев. Он радовался, не-

смотря на раскалившуюся головную железку — где кровь опадает по венам. Веселая лемма рептилии утром. Мы бежали наугад друг от друга, топча бумагу в топчане печи и луковицы литер на конторке, полной жгучих жгутиконосцев и факиров. Мы были двое, которые видели краснохвоста, икаруса, соломенный сургуч и омелу с жалом медуз.

Растопка для холодных бань и кухонь, свежевымытых незабвенных овощей, которые помнили все, вплоть до пропущенной запятой, а потом перешли через пароход игротеки и знали точную эпилепсию скачек и скотобоен. Тот обмакнул себя в реке, которая вымыла ему память дотла. И теперь, полный знания, оброненного с пятого этажа, собирает трохи и крохи. Как мертвому с утерянным чемоданом навстречу, он перешел проспект и рекламку, где поезда ждать, где самолета дожидаться.

Эта встреча заставила колтун сердца топотать медвежачьи, а медовуху уссыкнуться молчком.

Часы стучали и били, и лопали колбы и виски́ Кобленцем, и все ветры по вектору бросили плоть, которая сама обретается вовремя, и небольшая погрешность часов ведь придумана лишь для гуманизму. Поскольку все, что здесь совершается и о чем поется навстречу и в сторону, знает Ка, которого я видел в запрошлую ночь. Чага древесная не лечит раку и падет, срубленная хвостом винтовых лестниц, замертво, но арестует икону божью.

DEUTSCHE LENKA

Колокола воевали весь день, благовествуя каждому, кто не утих в спорах. Замок со статуями выходил во двор и в сад, где они расцветали. Электричество бросило экранировать на каменную сцену так, что лишь портрет одной запрокинутой головы, что я видел бы надолбы в проруби, но недосуг было в летней пробежке по смолистому лесу с полным тезкой Гаршина было бы делать. Так звали нашего физрука по ЛФК, лечебной физкультуре.

Так вот, пара жестов, пара жестов, взмах руки и кивок превратили неизвестную в живое Лотте Леньино воплощение. Я вздрогнул, но не проболтался. Спускаясь в магазин мимо фигуры лица с зеленым веком и черепом, сдутым ветром, я думал, что свет гур словесных навел на все стойбище оленьих племен. Я спустился, чтобы купить часы Егорке.

Они стояли как вода каналов и рек, проплывающая с запрокинутой головой, как мы с сестрой хватали под скатертью пьяную и счастливую песней родню. Их прорезавшиеся глазки помнят и путешествие ко Гробу Господню пешком и соляные копи кристаллических могил. Нужно только свежее дыхание, а не мясо, а не мясо, чтобы воспитать в себе волю вернуть их из того города за виадуком, тоннелем и призраком Маринки, что примерещился мне в оранжевой палатке дяди Льва, куда заползали змеи-тени и жалили в отпрянувший висок, насовсем.

Пришла шахматистка, которую не обыграть, не сдав карт — на которых корова-пеструшка Африки, что снится сухим мухам за рамами во время шествия краснозеленых знамен и полков. Она показала солнечный крест, рассекающий солекопню, и шляпой накрыла несуществующих героинь. Она сфотографировала все кареты камер, из которых был возвратный прыжок. Она объяснила мне, как под солнцем Сатаны спеть о новой встрече равнобедренных четырехугольников, которые разбили дьявольский круг предметов. Морское дыхание дельтообразной руки рассекло надвое полушарие вспышки memory remembered.

14 october — 7 november 2010

ГЛУХОЙ ТЕЛЕФОН

1.

Утром он стеклил окно косым рубцом, вынесенное ночью, когда мать ворвалась в комнату и вцепилась в ногу севшего на шпагат сына. Ночью горели огоньки — цветами на той стороне, и ездила скорая. В холоде сидели до рассвета, записывали на бумажках минута в минуту. В школе нарисовал синего чернильного черта. Это была первая беспамятная ночка, сколько будет их еще.

Сейчас мать на бессонной голове стоит и кричит: мы шли из театра, мы были такими счастливыми. А у тебя губы малиновые пузырятся, и дверь не открыл, и несешь бред.

Николай Иванович в больших плюсовых очках с туеском ездил за клюквой и брусникой. На болотах они поспели к дню его смерти.

Он принес котелок с квасом в храм на Бие. Он спал, завернувшись в накидку под деревом. На его большом лбу выступали капельки пота. Большой завод жил его разработками 20 лет. У него отобрали лабораторию. Он съехал на Фабричную, купил комнату в Доме грузчика. У него украли тетрадки, а он взялся писать новую теорию электродинамики.

Его знали и в библиотеке, куда он ходил изучать и опровергнуть Канта. Из полноватого инженера он превратился в кричащего умалившегося усача в джинсовке. Он лежал один в комнате, он звонил и говорил, что не может встать от боли в спине и что соседи гадят. К нему приходили с работы. Инсульт разбил на правую половину. Жена и дочь решили отобрать и комнату. Его отправили в богадельню, там ведь лучше уход. Он умер, когда поспела клюква, вскоре после своего дня рождения. Все произошло в одну неделю, все это мать рассказывала за 20 минут по телефону, а прошло уже больше десяти лет.

2.

Короткие малиновые, зеленые задушенные живые галстуки, кургузые шляпы и пальто Зельмана. У него еще был Москвич. Но я на нем не ездил. Рубашки старика Зельмана, подаренные

на день рождения. Книжки, одеколоны Шипр из паноптикума, где жили мать и дочь, любящие Маяковского. Поздравления каждый год и обязанность их выслушивать. Полутемная комната, там много еще книг, и галстуков, и духов, две кровати рядом. Полумрак комнаты, где был один раз. Мать и дочь в комнате — на двух кроватях. Старый каменный двухэтажный дом, который раньше был на большой улице, а теперь во дворе. Строгие пожелания на день рождения. Последний раз она позвонила три года назад.

Отказ от жизни. Она узнала, что умирает, легла, накрывшись плащаничкой, и год не вставала. Разговоры с ее сестрой, долетающие по телефону из комнаты мамы — по которым можно было только догадываться, что происходит. Дочь умерла накануне 9 мая, в этот день она была сожжена.

Матери исполнилось сто лет, она, беспомощная, сидит на второй кровати. Лежала, когда поздравляли. Вторая дочь приезжает не каждый день.

3.

У них был Москвич. Артистические занавески. Собака, которую не водили гулять. Один раз был в их комнате, она выступала в электрическом свете при темном бархате. Она кричала уже от болезни, Маргарита Иосифовна. Ее увезли на Красную горку. С мужем соседка не здоровалась. Он покрутил у виска, когда мы поздравляли с победой на Троицу.

Приходил его друг, и звонил к нам, и мы всякий раз не знали, что ответить. Потом приходили добрые родственники в черных чепцах. Вбежала его сестра и сказала: мне кажется, что Паша умер. На 9 дней квартиру опечатали. На следующий день приехала ее дочь, вскрыла печать и поставила дверь. «Мы намусорили на площадке, возьмите конфеты». Собаку забрала служба.

4.

Надя ходила на день рождения по квартирам и носила кутью. Дядя Лёня, похожий на Ельцина, сильно ломился в дверь. Его жену с воловьими глазами увезли умирать в деревню, где умер

уже сын. Друзья Нади кололись в подъезде и загораживали проход. С ними Жанка из соседнего дома. Пойдем к Чечену! Сидели на перилах у подъезда. Зашел туда, на первом этаже шепчутся соседи, а Надя плачет. Чечен Алькатрань забрал гитару, которой сын высадил стекло. Он сам делает цветные стекла.

РАЗГОВОР ДУСИ С ДЕДОМ МОЗАИКИ

Вспомнил и хотел почувствовать обморок, сегодня одна чернавочка рухнулась. А я, да как, четыре раза — как цветок в горшке, падающий на мостовую. Лежал, и собака меня обнюхивала. Лежал, и сейчас помню только, что дышал и был как белый ланцетник, но память здесь мешает — она привносит в нос нашатыря, да падение с тем, каким себя представлял, мешает — падает первоклассник, ногу подвернул, прыгнув на пять ступенек.

Лежал на кровати, закатив глаза и прикрыв веками, вспоминал, силился понять и раскрыть вам, золотце, причину жизни: сознание улетело ведь, а тело лежать осталось. Раз улетело, значит, если земли гумус вышибить из цветочного горшка, то само соцветие, размалеванное чувственными занавесками — оно само по себе — и этому всему научился в книжках. А сам ты — горшочек-вари, бери-бери, да окна все отвори — только эта жичка. Но потом вспомнил то, что в чувствилище край сосудов пропитанных, самый краешек, держала кровь твоя сознание того, которого без, легкий тончайший пучок в себе.

Но ведь если не будет растительного тела с сосудами, то не будет и сознания, и не будет и тебя никогда после смерти, голуба. Вот такая вот будет залупа.

Другой раз дали наркоз, эфир, или как его. И когда пробуждался — коленку оперировали — то, как метро в голове было, из туннеля яркая единица кричала Я: Где: Что. И прибитая, знобящая зенитная боль искажала тот поезда крик. Так, значит, когда выходишь в эфир — в том эсфири глубокие лифты-колодцы — и вакуумная труба, квака-макака тебе по губам. Может, она изнутри на вовне заклепана, каляка-малёха? И по трубам протуберанцы какие темные, может, и перекачивают, и Я-сознание, которое улетает, и, может быть, и черепа́ горшков твоих спаяет.

А то вот бывает искусственный сон, таблетворный, так он синими купами расстилает покрывало почище пенелопского, попан ты мой, и там и синева, с алкоголем смешать если, слетает снегами под солнышком, в которых хрустальные, алмазные аллейки, любимых голоса детские, и сны — эти кисейные барышни — бесплотные, безропотные, неги нагие, бикфордушка-дуся.

А и то в книжках-то не прочитать про лужок свой, где дремлешь в несознанке, пульсируешь. Зато книжки сами, когда рас-

творяются и по распятеренному тебе страницы начинают перелистывать, словно читает тебя, как книгу, кто, не своим, чужим голосом, отворяет тебе жилы и в сезонах летних, осенних, читает тебе и рассказывает, махонюшка, про то, что ты видишь вокруг, белый свет, когда бегаешь, бешеный, бесстрашный в беструсости, да чужой голос читает книжку твою, и сознание твое улетает и прилетает, дурашка ты страдательная, и возносится даже, и нисходит на тебя, невменяемый, и смерть попирает. И сквозит, как память, из всех щелей, и бредет, как осень, и ветром гуляет, да 22-го сентября, прозебриночка ти цекавая моя, зубровушка, мозаюшка?

Так вот, что ты? — обморок, недомерок, обманчивый сон, или природа тобой дышит и мертвого тебя воскресит и по метро прокатит, и Я, и память, и книгу, и голос в этом вот ручье нарзана соберет если тебя воедино?

ГОЛУБОЙ УМЫВАЛЬНИК

В гостинице, где я оказался не помню, как — помню только, что меня долго везли, — я проснулся в умывальной. Остальные комнаты со звукоизоляцией, а умывальная общая — старый голый зеленоватый мужчина в ковбойской шляпе сбил с носа еще более зеленую соплю и поглядел бледными от отсутствия пустыми глазами. Такие же полулюди слонялись в приемной. Я недоумевал, что делаю вместе с ними здесь, и хотел возмутиться. Но фрау в очках, похожая на иеговистку, оглядев меня, принесла извинения и с шумом позвонила. Произошла ошибка, сказала она.

Приехали с цветами. Немолодая семья с дурашливыми, но милыми детьми. Меня повезли на какую-то виллу, обнесенную белой стеной. Стена тянулась долго, около километра. Там раскинулся сад, в котором летали живые голоса птиц. Мне выделили большую светлую комнату с видом на солнце. Я снова рухнул на кровать, чтобы поспать до обеда.

Очнулся на морозной улице. Без шапки, но с сопливым шарфом. Наобум побрел сквозь снег и понял, что не могу найти квартиру, куда мне надо и где лежат мои вещи. Побродив, вышел на длинный проспект. Понял, что сегодня меня убьют, очень ясно это понял.

Безнадежно шел по проспекту. Снег перестал — вокруг никого. Гаснут фонари. Вдруг догоняют «Жигули». Водитель опускает стекло и, словно узнав меня, говорит: садись, поедем.

Поехали. Через сто шагов проезжаем моих убийц, которые напрасно ждут меня. Едем в центр города, сияющий от огней. Выхожу, водитель кивает мне. И нахожу в кармане огромную пачку денег.

ЖУРНАЛЬНЫЙ НОЖ

Публикация стоила ночи любви. С чернокудрой, тогда еще молодой, коротко-стриженой поэтиной, у которой на губах был апрель, а в глазах облачное рядно сомнительной мечтательности. Или с вампиром в фиолетовом пиджаке, самым старым вампиром, которому все никак не настанет час проснуться. После рассказывали, что молодежь ездила к русскому Элтону Джону с бороденкой лизуна. Это был смелый подвиг! Но тогда, кроме вампира и апрелевской заезженной пластинки, был еще выхухоль, с невозмутимостью, как у Черчилля.

Теперь у них у всех на груди красуются пятиконечные ордена, их несут на бархатных подушках, воняет цветами и жабьим дыханием воображаемой мутной речки.

Выспренний мальчик ответил неизвестному партийцу, что стыд ему дороже, и завернул в таверну, где сидели лысый морщинистый ильичок и два его живописно-иконописных друга. Как хорошо они говорили о вечной революции, пили пиво из кружек и не предлагали стелить им, но о публикации речь предпочитали не вести. Под темным абажуром он зарыл щучью косточку подальше за щеку. Прикоснуться к хорошему, истинному так вот запросто, в пивнушке, бывает не с каждым.

Теперь мальчику было далеко за сорок, но молодое лицо и умение оратора позволили ему попасть на бал, который давали великие имена, не выбирающее рамена. Он стоял и запросто разговаривал с красивой, бледной и как будто бы умершей во сне красавицей, как старый друг. Никотиновые глаза, вышина в макушке, одухотворенная речь, вечная молодость скорбных губ, что еще?

В другом кружке коренастый, курчавый, с барственным лоском, бурной реакцией — смело с размаху дать широким жестом по морде — благородно подписывал книги. Он последний раз выехал и быстро заставил себя уважать, стыдиться и робеть. Все так, как будто та страна, о которой пишут журналы, живет. Люди в хаки принесли пузыречки-фитильки спирта, полные заразной жизни, веселья последнего дня. Из окон неслось хоровое пение, неслась Восьмиклассница, которая расхристано превращалась в первоклассницу.

Это пение, веселые публикации, гонорары и есть тот залетейский голос, о котором потом напишет смуглый юноша с прожженным солнечной лупой глазом, провожающий похоронные поезда. Моя жизнь тоже хлестанет резиновым бинтом-

жигой, умерев в аптечной банке — всего через год. А рассудок, который смешливо достает эти бирюльки и причиндалы, будет куксить совсем другие лица.

Пока же я сажусь в автобус и еду в огромную, морозную от фонарей, бессонную, непомерную столицу, сплю на матрасе у друга, вскидываюсь с утра и волшебно живу фонариками, как тогда, в первой любовной олимпиаде. В голове книга обморочной синеглазой аскающей голосом красавицы — там доисторический двор, коммунальная комната и парящие люди — жаркой лихорадкой показывающие свои бесплотные выпаренные утюгом продолжения, дядя Кавка — сделанный не из досок, он зарезан мальчиками. Я узнаю тот город, в котором жил, не помня себя, жадный, жаркий, и снова падаю в менингитное кружение стен. Рыдания закрывают глаза. Но и сейчас главное, что я хочу, — чтобы никотинистка в национальном японском платье аскала бы у меня. Только это.

Пустейший вечный мальчишка, встреченный возле Горницы, шамкает выпавшими зубами и снова велеречиво духарится.

СВЕТЛАЯ СМЕРТЬ

В детских книгах, что читал, феи, принцы, сады, легкие ручьи. Два томика Андерсена — малиновый и зеленый. У тебя только зеленый, малиновый у сестры, так хочется еще и малиновый, мечтаешь отобрать у нее. Не знаешь, что они одинаковые, малиновый и зеленый. Возмущен тем, что не разрешат, пускаешь ей в голову с метра бумеранг крыльев железного синего самолета. Видишь квадраты солнца, забинтованную сестру, и сам холод и жар бросает удар. Такое бывает первое убийство, потом хочешь вернуть квадратные кадры назад, бегут они назад в тебе, горько сетуй, не вернуться назад им.

В детских книгах светлые люди ходят с чуть размытыми гуашевыми и акварельными гупешками и цихлидами — лицами — васильки, маки, одуванчики почти увядшие, без запаха — но светлые ручьи омывают лужайки. Лежишь, лето загривок кошки хватает, машет пыльцой тополевых ладоней, дует пылинки, ловишь, по странице проводишь. Мама, а почему люди в книгах не делают никогда этого, того, что мы делаем.

Деревянный, струганный из щепы, пахнущий сырым воздухом, как подушка, в заветной дальней комнате в большой квартире, где полы с рисунками, фресками, на первом этаже, где книги и скатерти светлые, и большая кровать одна в спальне, и табуреты трехногие, майскими спичками сожженная кухня, и полумрак комнаты, где сидит Бимбо и смотрит в окно. Снова сейчас в эту дальнюю комнату с окнами на двор, где яворы, лавры, тополи — и подземный ход черной лестницы на двор, где автомобиль. Да, там, деревянный стульчак.

И вновь в холодной комнате, сидя в жару, как впервые, вспоминаешь те же мысли, кудреватые мысли, и тоню тела в желтой драпировке штор с бахромой, обмотавшись, шагаешь и сносишь гардины, большой, идешь и смотришь на себя со стороны из-под кепки, искоса, испуга и искуса. Вот опять в холодном поту бьешься, и всякий раз возвращаешься — в единовременное, зимнее, детское.

И, холодной душой овеян, робкий и боязливый, шуток не понимаешь, кажется шутка глумлением над человеком. И шутит взрослый капитан над тобой, и время реет козырьком его светлой головы. Капитан-Смерть веселится, и понимаешь его, видишь его, боевого, вечного на кухне, когда моркова его приготовила морковницу, желтую, как капуска его, приготовила ему капустницу. Вот приходишь ты к нему, и светятся звезды ор-

денские глаз, и знает он про себя тайну, великую тайну смерти. Улыбается, лучится взглядом и стреляет из сломанного игрушечного револьвера по вертящимся фотокарточкам.

И теперь ты не знаешь уже пути в тот город и ту квартиру, где лавры, знаешь, что переехали они, а когда приходишь туда, то видишь их, Капустиных, глядящих в лучистую комнату изо всех щелей, и с фотокарточек, и с солнышка самого. И только пироги и маковки, которые сдобно надо готовить и готовить, и ешь их, и тогда вновь в тебе то сладкоголосое, но немое возбуждение и причастие. Общее, как черные шахматные клетки и белые, а, вернее, желтые клетки на накрытой скатерти, и все вместе, земля и небо.

Все это понимаешь ты в синие гриппозные дни, когда на заснеженном море в квадратные глядишь зеленые проруби — и на белые ослепительные невидимые корабли, затаившиеся до выстрела пушки и шума поезда, в эти папиросные дни, когда оказываешься вновь целым, как книга детская, и со страниц ее глядит на тебя тревожная девочка, говорящая: вдруг солнце не взойдет больше.

Но всходит солнце, пасхальное и апрельское, январское и рождественское, и сестра с двустволкой глаз улыбается тебе, сбивая всех чубатых ястребов и куропаток при подступающем белом дне, в который поминаете вот уже сорок, нет, пятьдесят лет еще более светлую, с револьверами глаз, как у капитана твоего, лучистыми и папиросными, светлую Смерть.

ноябрь—декабрь 2011

Надпись на книге «Чумной Покемарь»

Сбитый падает красный китайский фонарь
С потолка под малярную лестницу
Перед тем как нести околесицу
Со святыми вон покемарь

Мулине заплетенные в волосы
Или куколок вуду нашéй
Белоглазых как светлые помыслы
Пробуждений коротких как будущее

Сокращаешь подстрижкой и зеркалом
Жизнь трофейной машинки бритьем
Словно тряпкой задев дрянной
Кочаны тех сорвиголов

Развеселой зарайской мелодией
Поцелуй двух эфебов зажми
И двух дев провожай хороводами
Что не видели дети земли

И вселяй выселяй эту вешку смерть
В сдохшей похоти перегар
От табачных вин тех что нет вкусней
Просыпайся, чумной покемарь

СОДЕРЖАНИЕ

Володя Москвин

Тетралогия

Шаровая молния, или Квадратная звезда

Поэма

The Automnic Stories

Рассказы

Характерный точный язык, которым написана эта книга, жесткий и одновременно лиричный, говорит о прозаике с абсолютным синтаксическим слухом. По-особому скрупулезный эпитет, смещенный, но точный, формирует уникальную речь, связывающую спорады прерывистого письма в зрелище достоверного.

Николай КОНОНОВ

Проза Іваніва напоминает картины Павла Филонова начала 20-х: сложные многофигурные композиции, одновременно и распадающиеся на мельчайшие частицы, и стянутые в одно целое.

Андрей УРИЦКИЙ

Мы говорим о художественном тексте, а, значит, не должны бояться даже самых чудовищных и разрушительных истин.

Сергей СОКОЛОВСКИЙ


ISBN 978-0-9838762-6-7
90000
9 780983 876267